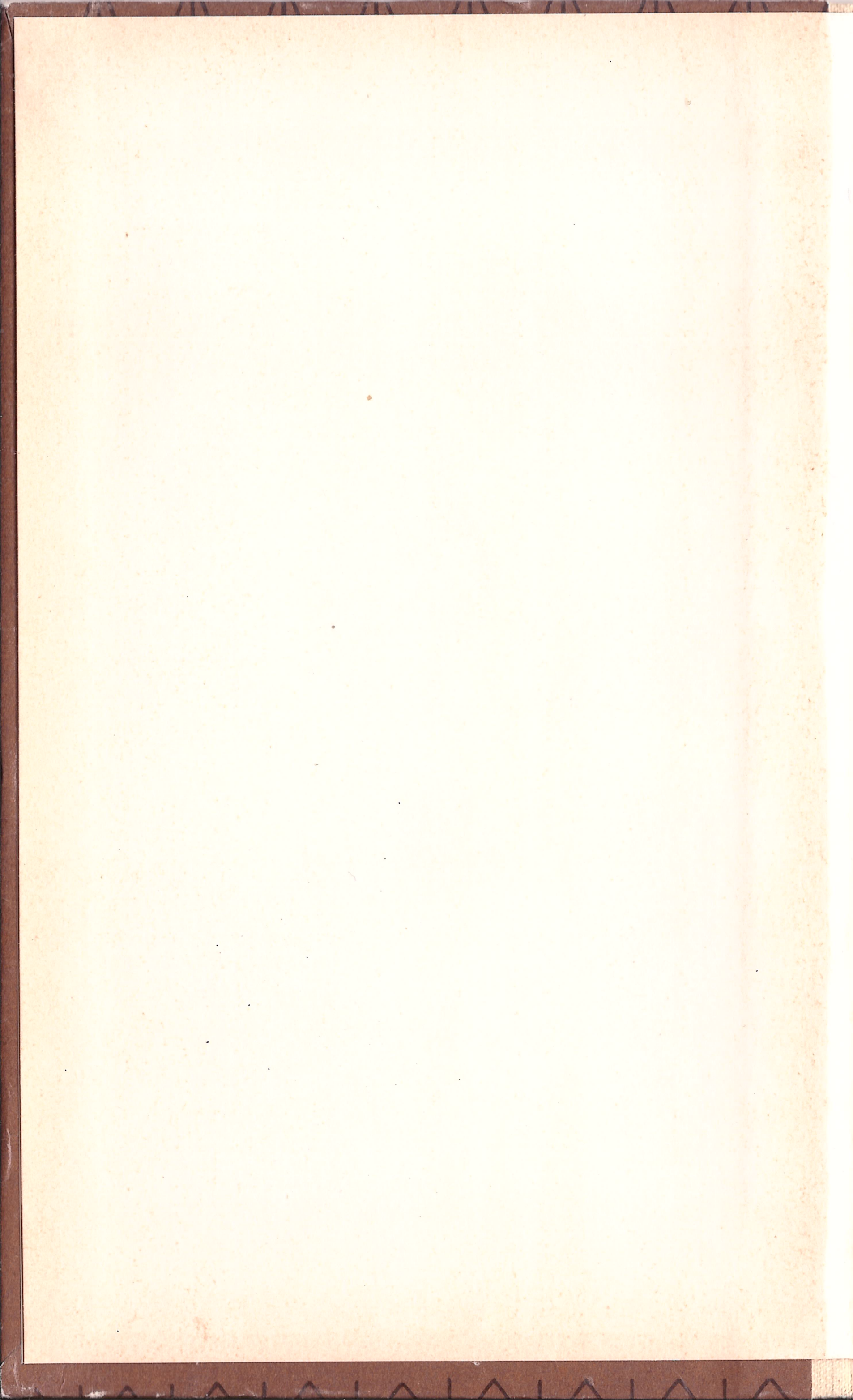
Г. И. УСПЕНСКИЙ

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Г. И. УСПЕНСКИЙ ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ



Г. И. Успенский

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Г. И. Успенский

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Москва «Советская Россия» 1988

Р1
У-77

Составитель, автор предисловия и примечаний
А. П. Ланщиков

Художник И. С. Клейнард

У $\frac{4702010100-193}{М-105(03)88}$ 100—1988 г.

ISBN-5-268-00531-6

Г. И. УСПЕНСКИЙ

I

За Глебом Ивановичем Успенским в нашей литературе справедливо закрепилось звание знатока крестьянских нравов и обычаев, знатока крестьянской жизни пореформенного периода, однако вряд ли справедливо на том основании, что он прекрасно знал деревню, зачислять его, как это иногда практикуется, в разряд «деревенских» или «крестьянских» писателей и уж тем более бытописателей. Как известно, Успенский не оставил после себя ни романов, ни крупных повестей, излюбленными его жанрами были очерк и рассказ, причем писались они, как правило, на документальной основе и «по горячим следам». Чаще всего в результате какой-нибудь поездки писалась серия очерков и рассказов, потом эта серия перерабатывалась, дорабатывалась и в конечном итоге создавался целостный цикл. И одним из интереснейших является цикл «Из деревенского дневника», публикация которого вызвала в свое время бурную полемику.

Действительно, в нашей литературе трудно найти другого писателя, столь много и столь вдумчиво писавшего о деревне. В самом конце своей литературной деятельности, будучи уже тяжело больным человеком, Успенский отправляется в сопровождении сына Александра в Нижний Новгород, где встречается, в частности, и с молодым Короленко, который потом говорил, что Глеб Иванович во время бесед неоднократно повторял: «Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика».

Между тем ни своим происхождением, ни своими детскими и юношескими впечатлениями, что нередко потом определяет главное направление развития таланта художника, Успенский не был прочно связан с деревней. И если говорить о первоначальном направлении его творческих исканий, то оно лежало в стороне от проблем деревенской жизни. Чиновники, мещане и прочий городской люд, жизнь провинциального захолустья — вот главный предмет художественного исследования Успенского в первый период его литературной деятельности. И этот предмет художественного исследования был как раз определен

происхождением писателя и его детскими и юношескими впечатлениями, а что касается деревни, то здесь писателю еще предстоял долгий период знакомства с ней и ее изучения.

Позже Глеб Иванович напишет в своей «Автобиографии». «Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал 61 год»[1], взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из моего личного прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли забыть все это прошлое, истребить в себе внедренные им качества...»

Конечно, здесь можно понять и даже разделить горечь писателя, вызванную разрывом между его теперешними высокими общественными идеалами и той жизнью, что он жил в молодые годы (а жизнь эта проходила в провинциальной чиновничьей среде), одновременно вряд ли все сказанное им в «Автобиографии» в полной мере справедливо. Именно прекрасное знание чиновничьего мира и провинциальной жизни дали Успенскому тот жизненный материал, который и лег в основу его творчества в начальный период писательской деятельности. Если в ранних произведениях Успенскому еще нечего было читателю сказать, зато ему было уже что читателю рассказать. Однако по своей натуре, по своему гражданскому темпераменту Глеб Успенский был не «рассказчиком», а исследователем, потому-то он, вероятно, и отошел так скоро от прекрасно освоенной им темы, от темы, принесшей ему очевидный литературный успех.

Но прежде, чем выяснять причины изменения в направлении творческих поисков писателя, есть смысл обратиться к обстоятельствам его личной жизни и к той общественной атмосфере, в которой развивался его писательский талант и формировались идейно-эстетические взгляды.

II

13 октября 1843 года в городе Туле в доме на Бариновой улице в семье коллежского секретаря казенной Палаты Государственных имуществ Ивана Яковлевича Успенского и его жены Надежды Глебовны (урожденной Соколовой) родился сын, которого в честь деда нарекли Глебом.

Дед будущего писателя по материнской линии — Глеб Фомич Соколов — происходил из духовного звания (его отец был священником в селе Митково Тверской губернии) По окончании Тверской духовной

[1] В 1861 году было отменено крепостное право, и в этом же году Глеб Успенский окончил Черниговскую гимназию, приехал в Петербург и поступил в университет на юридический факультет

семинарии Глеб Фомич Соколов как один из лучших учеников был оставлен при ней преподавать греческий и латинский языки, однако вскоре оставил преподавательское поприще и целиком посвятил себя государственной службе и сделал в общем-то неплохую карьеру. В Туле он занимал должность управляющего Палатой Государственных имуществ, в силу чего был достаточно заметной и влиятельной фигурой в городе

Иван Яковлевич Успенский — отец писателя — тоже происходил из духовного звания (его отец был сельским дьяконом) и тоже блестяще окончил духовную семинарию, но, как и его будущий тесть, духовной карьере предпочел чиновничью. Правда, здесь определенную роль сыграл и Глеб Фомич, сперва пригласивший по рекомендации ректора духовной семинарии ее выпускника учителем к своим детям, а затем, отдав за него одну из своих дочерей, сделал чиновником подведомственного ему учреждения.

В роду Успенских было немало даровитых людей. Достаточно сказать, что двоюродный брат Глеба Ивановича — Николай Васильевич Успенский — стал в те годы известным писателем, а один из братьев отца — Григорий Яковлевич Успенский — был профессором греческого языка в Тульской семинарии. У матери Глеба Ивановича, Надежды Глебовны, было трое братьев (Владимир, Михаил и Дмитрий), и каждый из них был наделен художественным талантом. Так, старший брат, Владимир, считался неплохим живописцем, и одна из его работ (хотя он был самоучкой) демонстрировалась на художественной выставке в Туле Известный композитор К. Лядов отмечал музыкальный талант Михаила, написавшего увертюру к задуманной им опере. Младший брат, Дмитрий, учился в Петербургской консерватории у виртуоза-виолончелиста профессора К. Давыдова и одновременно увлекался изящной словесностью (в свое время его рассказы появились на страницах «Дела», «Будильника» и даже «Современника»). В 1885 году Глеб Успенский писал не без гордости Ф. Ф Павленкову: «Я прошу Вас не забывать, что потребность в литературной работе (спешу и не хочу обдумывать тщательность выражений) была во мне с раннего детства. Из нашей семьи четверо человек печатались в «Современнике» времени Добролюбова...» (Это сам Глеб Иванович, Н. В Успенский, Д. Г. Соколов и В Ф. Соколов.)

Если еще прибавить, что дед по матери (Глеб Фомич) и отец будущего писателя были для своего времени людьми достаточно образованными и к тому же уделяли большое внимание воспитанию детей, то должно создаться впечатление, будто детство и юность Глеба Ивановича протекали в благоприятной для его умственного и духовного развития обстановке.

Действительно, среди родственников Глеба Ивановича было немало даровитых и, возможно, даже талантливых людей, однако ничей талант,

кроме таланта самого Глеба Ивановича, не получил настоящего развития, больше того, он каждому в какой-то мере испортил или осложнил жизнь. Культ службы, исходивший от властного и деспотичного Глеба Фомича, честного в своем служебном рвении чиновника николаевской формации, подавлял волю домочадцев и разрушал все мечты, не связанные с чиновничьей карьерой. Отсюда и неприятие Глебом Успенским всей своей жизни вплоть до «61 года», когда он вступил на трудный, но самостоятельный жизненный путь.

«У ребенка проявляется стремление к живописи, к музыке — чепуха и вздор, который надо вырвать с корнем: ребенок этот должен вырасти чиновником, таким же беспримерным и безответным, как и отец,— в этом высшая цель жизни, в этом заслуга человека и перед богом и перед родиной...»

Эта тирада принадлежит герою рассказа «На старом пепелище»[1], но характер самого героя наделен многими чертами и взглядами деда писателя — Глеба Фомича.

«Дочь хочет выйти замуж за человека, который ей понравился, но этот человек не служит — и браку этому не бывать: ее сам отец выдаст за того, кого он полюбил за исполнительность и за какие-нибудь другие, тоже выгодные для казенного интереса качества...» Это тоже из железных житейских правил деспотичного и жестокого главы семейства Соколовых — Успенских, пусть выражаемых им в других словах и в ином строе речи. «...железною волей этого человека,— пишет там же Успенский,— была раздавлена в самом корне семьи всякая живая самостоятельность, вся жизнь сердца, ума, во имя чего-то неизмеримо далеко отстоящего от скромных требований и желаний живого человека. Личность была до того подавлена в этой семье, что в поколении внуков заметна была даже как бы боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного».

Если говорить о внешней биографии молодого Успенского, то она не богата событиями, детство и юность его прошли в материальном благополучии, и он получил хорошее по тому времени общее образование: до десяти лет обучался на дому, а в 1853 году поступил в первый класс Тульской гимназии «Юный Глеб Иванович,— свидетельствовал его двоюродный брат Н. В. Успенский,— был образцом трудолюбия и прилежания». «Благодаря своим способностям, он был первым учеником, и имя его всегда красовалось на так называемой золотой доске»,— вспоминал об Успенском его сверстник Д. Г. Васин.

Но никакое благополучие внешней жизни не могло заглушить внутренних терзаний чистой и хрупкой души юного Успенского, и даже по

---

[1] Рассказ написан в августе — сентябре 1876 года под впечатлением поездок в Тулу в 1870 и 1874 годах, покинутую Глебом Ивановичем еще в детстве (в 1856 году).

прошествии многих лет он с глубокой болью будет вспоминать годы своего детства: «Я не могу забыть этих томительных зимних вечеров с мертвою тишиною, стуканьем маятника и отдаленным храпом... Что значат эти бесконечные слезы, которые я проливал среди мертвой тишины всеобщего сна и которых не могли унять никакие просьбы, обещания, угрозы, на помощь которым так охотно приходили наши зимние вьюги, стучавшие непривязанной ставней и гудевшие в трубе?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человеческая природа моя протестовала против этой нечеловеческой жизни, которая была кругом меня» («Разоренье»).

Мы не случайно столь подробно остановились на воспоминаниях Глебом Успенским собственного детства и собственной юности. Та атмосфера, в которой рос будущий писатель, весьма характерна для тех, кто в шестидесятые годы займет ведущее место в общественной жизни страны и войдет в историю под именем разночинца.

Дети и внуки священников или чиновников, получившие образование, редко унаследовали от своих отцов их жизненные идеалы и общественные взгляды, и чаще всего их первым идеалом было как раз отрицание идеалов и взглядов отцов.

Каковы же были эти идеалы и взгляды, с отрицанием которых начинали свою самостоятельную общественную жизнь будущие разночинцы?

Разгромив декабризм, новый император Николай I затаил недоверие к «вольному» дворянству и обратил свой взор в сторону покорного сословия чиновников, связав с ним свои державные надежды, и в довольно короткий срок превратил Россию в державу чиновников, регламентирующих не только всю материальную, но также и духовную жизнь страны. (И тут невольно вспоминаются слова Г. Успенского о собственных годах детства и юности, пришедшиеся как раз на николаевскую эпоху.) Недаром потом Николай I говорил, что Россией управляет не он, а чиновники.

Нужно сказать, что наряду с тупыми и невежественными чиновниками было немало чиновников умных, грамотных и даже образованных Примером тому могут служить хотя бы дед и отец Глеба Успенского. Среди чиновников встречались и абсолютно честные люди. Так, один из первых биографов Успенского Н. Рубакин, которого трудно заподозрить в необъективности, писал: «По общим отзывам всех знающих его людей, Глеб Фомич был человек безусловной честности, и его взгляды на казенное добро не имели ничего общего с взглядами на это огромного большинства чиновников».

И несмотря на это, мы читаем у Глеба Успенского: «Все это могло лгать, и притворяться, и изощрять свои способности в том и другом, покуда помощью этого достигалась известная желанная цель. Цель эта при подавленности личности не могла быть ничем другим, как

наживой, деньгами, средствами Нажива, материальное благополучие, в буквальном смысле этого слова, только одно и было действительно настоящее, непритворное жизненное побуждение во всей этой массе лжи. .»

Верноподданничество вместо патриотизма, личное обогащение и карьеризм вместо служения высоким идеалам,— вот то моральное наследие, которое получили молодые люди шестидесятых годов от своих отцов. С отрицания его они и начали свой нравственный и свой гражданский поиск, их нигилизм был реакцией на безыдейность николаевской эпохи, на безыдейность их отцов, очень часто людей сильных и порой достаточно образованных, но лишенных каких бы то ни было духовных интересов.

Вот как виделись молодым людям шестидесятых годов их преуспевшие на государственной службе отцы: «Он понемногу стал «влюбляться»,— писал Глеб Успенский,— в интересы этой могучей власти, интересы широкие, ничуть не напоминающие той действительной духоты жизни, той нищенской правды, в условиях которой ему пришлось родиться... И вот (так как его искренняя любовь к «казенному интересу» была замечена, так как она была действительная любовь) из этого мальчика мало-помалу стал вырабатываться истинный виртуоз, истинный мученик того блага, которое шло сверху... Исполнительность, настойчивость, точность, неустрашимость, даже жестокость какая-то во всем этом — только эти качества дали ему возможность возвыситься из ничтожества до почестей и достигнуть значительного материального обеспечения, причем он с чистой совестью мог сказать, что каждая копейка досталась ему кровью».

Поэтому абсолютное и неизменное отрицание Успенским всей своей жизни до «61 года» была продиктовано не столько личным отношением к собственному прошлому, сколько его рано развившимся общественным взглядом на духовную атмосферу николаевской эпохи — эпохи всевластия чиновников. Салтыков-Щедрин, характеризуя дворянина-помещика и хищника-капиталиста, писал: «Это ублюдки (хищники-капиталисты.— *А. Л.*) крепостного права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное в свою пользу, в форме менее разбойной, но, несомненно, более воровской...»

Последнюю форму (воровскую) можно распространить и на чиновничество николаевской эпохи. «Разбойное» дворянство дало в конце концов тип «кающегося дворянина», осознавшего свою историческую вину перед народом. «Воровское» чиновничество уже во втором или третьем поколении выдвинуло тип «нигилиста-разночинца», отрицающего и обличающего всю современную ему действительность и в первую очередь ту среду, которая его породила. «Кающийся дворянин» осознавал свою историческую вину, а потому так настойчиво всеми своими чувствами и мыслями пытался уйти в прошлое и найти там себе, если

уж не оправдание, то утешение. Отсюда же его стремление найти истину в красоте. «Нигилист-разночинец» никакой вины за собой не чувствовал, он стыдился только унаследованной от отцов действительности и потому беспощадно ее обличал, всеми своими помыслами он устремлялля в будущее, созидателем которого и намеревался стать. А вот для этого уже нужно было выработать положительные идеалы, чем он и не замедлил заняться. Отсюда же его стремление найти красоту в ис тине.

Отрицание было только первоначальной реакцией на действитель ность, жажда созидания толкнула разночинца на поиск положительных идеалов, и он невольно обратил свой взгляд в прошлое.

Будучи отрезанным от своих «дедов», что «землю пахали», одним, а то и двумя поколениями, разночинец быстро восстановил любовь к своим предкам (и следствием того — культ, идеализация народа, беспредельная вера в народ), заменив попервоначалу ею так недостающее в его деятельности самое знание народа (и следствием того — вера в «героя», неудачное «хождение в народ» и так далее). Отрицая государственные порядки, и он постоянно жил государственными интересами, отрицая службу, он полностью посвятил себя служению. «Польза народная» — вот его молитва, которую он творил для укрепления собственного духа и которую он ежедневно и ежечасно претворял в своей деятельности.

«Кающийся дворянин» и «нигилист-разночинец», вступив в свое историческое поприще, одинаково были оторваны от народа, однако этот отрыв имел совершенно разную историю, а потому и восстановление этой связи шло по разным путям и имело впереди разные последствия.

Не имея в виду всего этого, не только невозможно разобраться в сложностях литературного процесса и общественного движения пореформенного периода, но и трудно понять идейную и эстетическую направленность произведений Глеба Ивановича Успенского — безусловно, самого выдающегося представителя разночинной литературы.

III

В 1856 году отца Глеба Ивановича переводят на службу в Чернигов. Здесь, учась в гимназии, юный Успенский по-прежнему увлекается литературой, принимает участие в ученическом журнале «Молодые побеги», зачитывается статьями Добролюбова и Писарева («Современник», «Русское слово»). По окончании гамназии он летом 1861 года едет в Петербург и поступает в университет на юридический факультет, однако студентом он был недолго: в связи со студенческими волнениями университет был закрыт, и 20 декабря 1861 года Успенский в числе других был из него отчислен.

Летом следующего года Успенский навещает родителей в Чернигове, потом едет в Москву и подает прошение в университет, но из-за материальных осложнений ему не было суждено учиться и в Московском университете. Этим же летом он пишет свои первые рассказы: «Михалыч», который в ноябре месяце был опубликован на страницах журнала «Ясная Поляна», издаваемого Львом Николаевичем Толстым, и «Идиллия», опубликованный в том же месяце в «Зрителе». С этого момента и начинается литературная деятельность Глеба Успенского. В 1863 году на страницах еженедельника «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» публикуются его очерки и рассказы: «Под праздник и в праздник», «Народное гулянье во Всесвятском», «Гость», «На бегу», «Летний Сергий у Троицы». Короткое время Успенский работает корректором в газете «Московские ведомости», а осенью переезжает в Петербург и в январе 1864 года пишет в Чернигов родителям: «Меня здесь приняли в разных редакциях отлично. Прошу Вас взять у Кранца *№ 12 Библиотеки для Чтения* (которую советую предложить в палате выписать вместо От⟨*ечественных*⟩*Записок*) и прочитайте там мой рассказ *Старьевщик* (из моск⟨овской⟩ жизни). Я получил за него 50 руб. и теперь, клянусь истинным богом, пришлю свой портрет. Посмотрите также в этой книжке объявление и полюбуйтесь, что Г. И. Успенский наряду с *И. С. Тургеневым*. Мне даже самому смешно.

В № 1 *Русского слова* будет моя статья *Ночью* (из моск⟨овской⟩ жизни). Пишу в «Современник» историю *Григория Яковлевича*».

В этом же году в «Русском слове» появляются «Эскизы чиновничьего быта», «В деревне (Летние сцены)», «Бесприютные», а в художественном альбоме «Северное сияние» — очерки «Воскресенье в деревне», «Сельские сцены», «Побирушки».

Первый литературный успех окрылил молодого Успенского, он много работает и живет уже на свой литературный заработок. «Это было удивительное время,— вспоминал потом Н. В. Шелгунов,— время, когда всякий хотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Эта заманчивая работа тянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых».

Но в этом году семью Успенских постигает большое несчастье: умирает Иван Яковлевич — отец писателя. Глеб Иванович едет в Чернигов, потом хлопочет в Петербурге о пенсии семье, летом следующего года перевозит мать в Тулу. Помимо всех этих забот-хлопот, теперь ему еще приходится из своего небольшого литературного заработка оказывать посильную помощь своим малолетним братьям и сестрам.

В то время Успенскому еще не исполнилось и двадцати двух лет,

но он уже создал себе литературное имя, он был известен не только в литературных кругах (так, например, в том же 1865 году Успенский получил ссуду от Литературного фонда под поручительство Некрасова), но и в среде читающей публики. В 1865 году он начинает сотрудничать в «Искре», «Будильнике» и «Современнике» («Деревенские встречи»).

«Нравы Растеряевой улицы» — самое крупное произведение Успенского раннего периода. Первые четыре главы его были опубликованы в февральской и мартовской книжках «Современника» за 1866 год. 4 апреля Каракозов совершает покушение на Александра II и в результате политической реакции были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово».

«Продолжение этих очерков,— вспоминал потом Успенский,— должно было явиться в сборнике «Луч», изданном редакцией «Русского слова», которое также было прекращено, причем все, что имело «связь» с очерками, напечатанными в «Современнике», надо было уничтожить, обрезать, выкинуть — для того, чтобы «продолжение» имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им «сделана» иная обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале «Женский Вестник», так как тогда (66 г.) почти совершенно не было других литературных журналов».

В дальнейшем Успенский в разных изданиях публикует эти группы очерков как самостоятельные произведения и лишь в первом своем издании «Сочинений» (Сочинения Г. Успенского в издании Ф. Павленкова, 1883, т. I) он объединяет их в одно произведение, о чем в заметке «От автора» пишет: «Нет никакого сомнения, что эти очерки вышли бы рельефнее, полнее и осмысленнее, если бы журнальная жизнь была устойчивее и представители печати могли чувствовать себя поспокойнее».

«Неустойчивость» журнальной жизни той поры отрицательно сказалась не только на судьбе первого крупного произведения молодого Успенского, не в меньшей мере она сказалась и на его собственной судьбе. Публикация «Нравов Растеряевой улицы» принесла Успенскому заслуженный успех, однако материальное положение писателя нисколько не изменилось к лучшему. В этом отношении весьма показательно письмо Успенского к Александру Павловичу Кулакову от 3 ноября 1866 года.

«Александр Павлович! Решительно не нахожу слов, как мне просить у Вас прощения. Я глубоко виноват перед Вами... Вы просите меня уплатить мой долг и напоминаете о моем честном слове. Знаю, тысячу раз знаю, что поступок мой подл в высшей степени, но, ради бога, войдите и в мое положение. Я приехал в Петербург без копейки, и

в тот же день прекратилось издание Современника и Русского слова. вместо 150 руб. ожидаемых,— не получил ни копейки. в четыре месяца я задолжал 250 руб... Я болен, расстроен, упал духом, словом, готов упасть на колени к первому встречному и просить его не оставить меня.. »

Конечно, судить об истинном положении того или иного человека по его письму к «кредитору» не есть самое надежное дело, однако в данном случае Успенский нисколько не сгущал красок. Так, три недели спустя, он пишет в редакцию «Будильника» (Н. А. Степанову): «Ждать до среды,— т е. пять дней,— я решительно не могу. За 617 строк — мне следует (по 5 к. за строчку, как по всей вероят⟨ности⟩ Вам сообщил П⟨етр⟩ Исаич) — 30 руб. 85 коп.»

И потом, на протяжении всей своей жизни, Глеб Успенский будет остро ощущать недостаток в материальных средствах, однако в год публикации «Нравов...» молодой писатель именно в силу «неустойчивости» журнальной жизни попал в отчаянное положение В цитированном уже нами письме к А. П. Кулакову он просит помочь ему устроиться «исправляющим должность учителя хоть русск⟨ого⟩ язык⟨а⟩, хоть истории, впредь до выдержа⟨ния⟩ экзамена».

Не поправила материального положения и вышедшая в том же году первая книжка «Очерков и рассказов» (Спб., 1866). 27 мая следующего года Глеб Успенский сдает экзамен на звание учителя русского языка в уездных училищах и получает место в уездном училище г Епифани (Тульская губерния).

С августа по декабрь Успенский учительствует в Епифани, а потом, по существу, сбегает оттуда в Москву, где устраивается письмоводителем у товарища прокурора А. И. Урусова. (Работа в уездном училище даст ему материал для очерков «Спустя рукава» и «Тише воды, ниже травы».) «Плохо в это время жилось, ужасно плохо!» — вспомнит об этом периоде своей жизни Глеб Успенский

Плохо в то время жилось не одному Успенскому, и материальные трудности тогда были не единственными преградами на пути талантливых литераторов. Вот что писал о том позже сам Успенский: «Одиночество талантливых людей вело их к трактирному оживлению и шуму... Созидание собственной своей новой духовной жизни привело меня к мысли, что мне нечего делать среди этих талантливых страдальцев. Положим, что я хлопочу около какого-нибудь действительно талантливого человека, провожая его домой и усаживая «со скандалом» на извозчика, или обороняя его от «грубого дворника» и уговаривая не делать мордобития; но ведь это уже в двадцатый раз и может надоесть наконец... Положим, что вот и этот знакомый писатель тоже человек огромного дарования; но что же мне-то делать, если я, придя к нему поговорить, вижу, что он «не в себе»

...две-три фразы — и вы видите, что человек в белой горячке. Надобно идти к доктору, тащить его в больницу и лечить...»

Но это нисколько не противоречит словам Шелгунова о том, что в шестидесятые годы для даровитых людей создалась благоприятная обстановка. Действительно, тогда сравнительно легко было добиться успеха, завоевать признание, короче говоря, легко было начинать... Гораздо труднее было развить свой успех, полностью реализовать свои возможности, и тут все упиралось не в одни только материальные трудности. Трудности, конечно, существовали, но все-таки решающую роль играли здесь не они, вернее, не только они.

Реформа 1861 года положила конец крепостническим правовым отношениям, вернув крестьянству (самому многочисленному классу) права гражданства, но она ни в коей мере не разрешила вопроса о справедливом землевладении и не заложила прочного фундамента длительному рациональному землепользованию. Реформа разрешила только один коренной вопрос — крестьянин стал лично свободным человеком; но она же поставила сотни других новых вопросов, от решения которых зависела дальнейшая судьба всех слоев населения, породила сотни новых и неожиданных конфликтов.

Если в дореформенный период передовая общественная мысль жила одним главным вопросом — уничтожением в стране крепостничества, то в пореформенный период ежедневно вставали новые и новые вопросы, требовавшие не только практического решения, но предваряющего эти решения глубокого осмысления. Разночинная литература в шестидесятые годы одновременно переживала и свой расцвет, и свой кризис. Обличительный пафос уже сыграл свою роль, теперь он должен был быть подчинен какой-то положительной идее, а такие идеи еще предстояло выстрадать, и не у каждого на то доставало сил. Отсюда и те многочисленные «питейные драмы», о которых говорит Успенский, и та атмосфера одиночества, в которой так неуютно себя чувствовали многие талантливые люди той поры.

В 1868 году произошло важное литературное событие: журнал «Отечественные записки» полностью перешел в руки Некрасова и стал центром демократической мысли. Это обстоятельство сыграло важную роль и в жизни Глеба Успенского. Достаточно сказать, что на страницах «Отечественных записок» были потом опубликованы самые крупные произведения писателя: «Разоренье» (1869), «Тише воды, ниже травы» (1870), «Наблюдения провинциального лентяя» (1871), «Новые времена и новые заботы» (1873—1878), «Из деревенского дневника» (1877—1880), «Власть земли» (1882). Здесь же Глеб Иванович пусть в разной мере, но сблизился с такими людьми, как М. Е. Салтыков, Г. З. Елисеев, Н. К. Михайловский, С. Н. Кривенко. Журнал явился первым органом народничества, многие идеи которого были близки и Глебу Успенскому.

1868 год для Успенского оказался во многом переломным. Публикацией очерка «Будка» (апрель) начинается его продолжительное сотрудничество с «Отечественными записками», летом того же года он знакомится с Александрой Васильевной Бараевой (учительницей и переводчицей), которая в мае 1870 года становится его женой. Короче говоря, кончается столь тягостный для писателя период бесприютности.

9 апреля 1872 года Успенский вместе с сотрудником «Отечественных записок»» Н. Павловским выезжает за границу и пребывает там до середины июня. Вторую свою заграничную поездку он совершает в 1875 году вместе с женой и сыном Александром. Вернее, жена и сын отъезжают в Париж в сентябре 1874 года, а сам Успенский в виду материальных затруднений смог выехать только в январе следующего года. В Париже он сближается с Тургеневым, знакомится с революционными народниками Г. Лопатиным, Д. Клеменцем, С. Степняком-Кравчинским, а во время поездки в Лондон — с редактором журнала «Вперед» П. Лавровым. В конце августа Успенский возвращается в Россию и в силу материальных затруднений поступает на службу в в Сызранско-Вяземское железнодорожное управление (г. Калуга), которую бросил в конце года.

Весной 1876 года Успенский возвращается к семье в Париж, а в сентябре в связи с начавшимся движением русских добровольцев, поддерживавших сербов в их борьбе против турецкого владычества, отбывает в Сербию. Во второй половине ноября он возвращается в Петербург. Весной и летом следующего года вместе с семьей живет в с. Сопки Новгородской губернии и с октября месяца в «Отечественных записках» начинает публиковать первую часть очерков «Из деревенского дневника».

В последующие годы Глеб Успенский по-прежнему много работает и совершает (порой очень длительные) поездки по родной стране и за границу. Результатом каждой поездки были новые рассказы и очерки, а иногда и целые циклы очерков и рассказов. Так, например, длительное проживание в Самарской губернии дало ему дополнительный материал для работы над циклом «Из деревенского дневника». В результате поездки на юг в 1883 году появился цикл очерков «Из путевых заметок», а поездка на юг и в Константинополь в 1886 году дала «Письма с дороги». Результатом поездки в Болгарию (1887) были очерки «Под впечатлением поездки по Дунаю», а поездки в Сибирь — очерки «Поездки к переселенцам». И так далее...

Нужно заметить, что во все эти чаще всего трудные поездки Успенского звала не потребность в новых впечатлениях, его звали в дорогу новые общественные проблемы.

Безусловно, постоянное сотрудничество в «Отечественных записках», личное знакомство со многими представителями народничества, дружба с Н. К. Михайловским повляли на формирование мировоззре-

ния Глеба Успенского, однако литературная и общественная деятельность самого писателя также не в малой степени способствовала развитию и формированию идей народничества, хотя народником в буквальном толковании этого понятия Успенский никогда не был. Подлинное, глубокое знание народной жизни слишком часто давало ему материал для опровержения народнических теорий и, отличаясь исключительной интеллектуальной честностью и самостоятельностью суждений, он ни когда правду жизни не ставил на службу никаким теориям, что неред ко навлекало на него гнев даже близких ему по духу людей. И на этом вопросе мы должны остановиться особо, потому как за этим стояли не какие-то личные вкусовые расхождения, а глубоко принципиальные мировоззренческие расхождения.

IV

Бывает, конечно, и так, что писателя в какой-то период его творческой деятельности вдруг соблазнит какая-то тема или теория, и он в дальнейшем полностью им себя посвятит. Глеб Успенский не относился к такому типу писателей, его не могли соблазнить никакая тема и никакая теория, его раз и навсегда «соблазнила» жизнь со всеми ее самыми запутанными, самыми острыми и самыми больными вопросами.

Когда мы возражали против того, чтобы зачислять Глеба Успенского в разряд «деревенских» писателей, то имели в виду не недостаточность этого определения для Успенского, а просто его неуместность для характеристики творчества Успенского. Если мы возьмем цикл «Из деревенского дневника», полностью посвященного, казалось бы, проблемам деревни, то с первой же страницы нам откроются причины, побудившие писателя отдать изучению этих проблем многие годы своей жизни.

«Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вниманием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившись в бесплодности своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут, или, вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил... Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно иное, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что́ именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования... Но вообще для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значи-

тельную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир — все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-таки просвещенному, а иное направление деревенского духа может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества!»

Глеб Успенский в отличие от тех, кто идеализировал и абсолютизировал мужика или прогресс, общину или частную инициативу, прокладку железных дорог или восстановление древних обычаев, видел жизнь во взаимосвязи многих явлений, и факты жизни его интересовали не столько сами по себе, сколько как очевидное проявление тех первопричин, что обусловливают ход исторического развития.

В рассказе «Книжка чеков» (1876) Успенский писал: «Освобождение крестьян сразу покончило с этой обоюдной меланхолией барина и мужика. Как только, благодаря этому событию, что-то такое «отошло» от мужиков к господам, от господ к мужикам, тотчас же и в тех и в других появились первые проблески чувства собственности; как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что все это — «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это — «наше».

«Мое» и «наше» — ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати как для души барина, так для души и желудка мужика, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам — и у барина и у мужика».

«Возвращение» разночинца к разбуженному народу и дало толчок к развитию и распространению народнических идей, которые В. И. Ленин свел к следующим основным положениям: 1) «Признание капитализма в России упадком, регрессом». 2) «Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности». 3) «Игнорирование связи «интеллигенции» и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 528).

В 1888 году Г. Плеханов, когда он от народничества перешел к критике народничества, в статье «Гл. И. Успенский» писал: «Но как человек очень наблюдательный и очень умный, он (Г. Успенский.— *А. Л.*) скоро замечает, что существующее у нашего разночинца понятие о «народе» далеко не соответствует действительности. Он высказывает по этому поводу много тяжелых сомнений, которые навлекают на него горячие нападки со стороны правоверных народников. Ему кажется, на-

пример, что старинный, идеализированный народниками склад крестьянской жизни быстро разлагается от вторжения новой силы — денег Отсюда уже недалеко было до того — возмутительного для прямолинейного народника — вывода, что не все хорошо в деревенской общине...»

Но вот при публикации цикла «Из деревенского дневника» Успенскому досталось и от самого Плеханова, когда тот в статье «Об чем спор?» (1878) буквально побивал его Златовратским и Трироговым и заодно же выговаривал «Отечественным запискам» за публикацию этого произведения.

Петр Лавров кинул тогда в адрес Успенского такой упрек: «Публицист в нем постоянно вредит беллетристу»

Вера Фигнер при личной встрече с Успенским бросила ему: «Зачем рисовать деревню такими красками, что никому в нее забраться не захочется и всякий постарается от нее подальше».

Либеральные народники на страницах «Недели» обвиняли Успенского в клевете на народ и в измене народу.

Очень хорошо сформулировал свое отношение ко всей этой критике Глеб Успенский, сказав по поводу упрека Веры Фигнер: «Она требует подай ей мужика, но мужика шоколадного!»

Глеб Успенский не видел в жизни такого «шоколадного» мужика, а придумывать его в угоду различного рода теориям не хотел. Нет, Успенский никогда не клеветал на мужика, не изменял мужику, не отрицал он и принципа общинного землевладения и землепользования, однако он никогда и не закрывал глаз на реальные явления действительности. И он один из первых, кто обратил внимание общественной мысли на проникновение капитализма в деревню и на разлагающее его влияние.

Позже (1894—1895) в труде «Экономическое содержание народничества» В И. Ленин писал: «Раз крестьянин становится товарным производителем (а таковыми стали уже все крестьяне),— то «нравственность» его неизбежно будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится, так как самые условия жизни заставляют ловить этот рубль всяческими торговыми ухищрениями» (В И Ленин. Полн. собр соч., т. 1, с. 392)

Ошибка народников состояла в том, что они и на мужика, и на хищника-капиталиста смотрели чаще всего как на абстракции, вне возможной их эволюции в настоящем и будущем. В произведениях Успенского о деревне как раз и нашли отражение те изменения в сознании и способе существования крестьянства, когда капитализация деревни стала фактом, для одних желательным, для других нежелательным, но настолько очевидным, что не считаться с ним означало не считаться с реальной действительностью. И в связи с капитализацией деревни не только менялась экономическая картина деревенской жиз-

ни, но и происходили заметные сдвиги в психологии самого крестьянина.

Не идеализировал Успенский и интеллигенцию. Вот как, например, он объяснял в письме к Н. К. Михайловскому от 14 марта 1876 года свой уход со службы в управлении Сызрано-Вяземской железной дороги: «Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов,— а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны?»

Результатом службы в управлении железной дороги был рассказ «Неплательщики», опубликованный в четвертом номере «Отечественных записок» за 1876 год, в котором Успенский с горечью писал об участи многих интеллигентов: «Грустно положение человека, у которого бьет седина и который, содрогаясь, что «ушли годы», и вспоминая их, эти безвозвратно исчезнувшие годы, к ужасу своему видит, что ему нельзя отстать от этого «обиняка», к которому его принесла река случайностей жизни. Нельзя потому, что тут по крайней мере «верный» кусок хлеба, именно хлеба, пропитания... То, что с ним случилось, отняло у него охоту ценить свою мысль, свои симпатии, отучило его даже слушаться своей натуры, того, что без его ведома прирождено ему...»

В рассказах «Неплательщики», «Книжка чеков» и других Успенский не случайно уделил такое внимание именно железным дорогам («питательным ветвям»), ибо конец 60-х — начало 70-х годов в России ознаменовались бурным строительством железнодорожных магистралей. Вот что, к примеру, писал по этому поводу весьма далекий от народнических взглядов князь В. П. Мещерский: «Министерство путей сообщения в начале 70-х годов представляло главный пункт, где тогда сосредотачивалась вся вакханалия железнодорожной горячки во всем ее разгаре. Тогда уже произносились имена железнодорожных Монтекристо, вчера нищих, а сегодня миллионеров; никто не мог понять, почему такие люди, как Мекк, Дервиз, Губонин, Башмаков и проч., которые не имели, во-первых, ни гроша денег, а во-вторых, никаких инженерных познаний, брались за концессии как ни в чем не бывало и в два-три года делались миллионерами. Средним числом концессии выдавались по такой цене за версту, что в карман входило около 50 тысяч с версты. А 500—600 верст концессии составляло капиталы в 25—30 млн. рублей. Для сужения района конкурентов концессионеры прибегали, разумеется, к крупным взяткам, и эти-то взятки и были главною причиною крупных, баснословных нажив».

Успенского порой упрекали за то, что он клевещет на мужика, порой ему вменяли в вину то, что он худо относится к интеллигенции,

иногда же доходило до того, что ему бросали совсем дикие упреки. Так, в письме от 8 июня 1889 года к С. Г. Рыбакову он вынужден был писать: «Милостивый государь Сергей Гаврилович! Из письма Вашего я узнал, что Вы и некоторые из Ваших товарищей и случайных знакомых, изучая мои сочинения, пришли к прискорбному выводу, что я как будто бы «проповедую шествие назад, к прежнему мраку, невежеству, грозящему остановкой цивилизации». Оказывается, что такое мнение о моей литературной деятельности имеют даже такие люди, которые пока еще держатся мнения о полезности и о необходимости благ культуры во всем их объеме для народа».

Глубина произведений Глеба Успенского как раз и состояла в том, что их автор на все важнейшие категории общественной жизни (крестьянство, интеллигенция, капитализм, прогресс и т. д.) смотрел не как на изолированные друг от друга абстракции, а как на взаимосвязанные и взаимообусловленные в своем развитии явления, и он не жизнь поверял теориями, подгоняя ее под стройные положения последних, он теории поверял жизнью, отбрасывая в них все то, что соответствовало лишь представлениям их авторов о жизни и не соответствовало правде самой жизни, поиску и изучению которой он отдал весь свой талант, всю свою жизнь и всего самого себя.

В своих произведениях Глеб Успенский дал проникнутую высоким нравственным настроем правдивую в своей развернутости картину народной жизни в пореформенный период со всеми теми ее важнейшими изменениями, которые происходили под влиянием новых явлений жизни и влиянием новых явлений общественной мысли. И в самой трагичности судьбы Глеба Ивановича как бы воплотилась трагедия многих миллионов людей одного из сложнейших периодов развития России. Страдания народные так отозвались в его чуткой и совестливой душе, что привели к трагической гибели самого писателя.

В декабре 1883 года сорокалетний Успенский писал Е. С. Некрасовой: «Со мной какое-то необычайное нервное расстройство, чего никогда не бывало,— право, я иногда думаю, как бы мне не сойти с ума. Что-то вообще со мной ужасно худо, необычайно худо, смертно».

Десять лет еще Успенский сопротивлялся болезни, но силы его оказались небеспредельными. Летом 1892 года он попадает в больницу доктора Фрея в Петербурге, а затем его переводят над наблюдение доктора Б. Синани в колмовскую больницу (близ Новгорода). В 1893 году он еще пытается работать, совершает кратковременные поездки по Новгородской губернии и в Нижний Новгород. В январе 1894 года присутствует на студенческом вечере в зале Дворянского собрания в Петербурге. Но потом опять колмовская больница, Новозна-

менская психиатрическая лечебница под Петербургом (с 18 марта 1900 года), и 24 марта 1902 года после десятилетней мучительнейшей болезни Глеба Ивановича не стало. Смерть последовала от паралича сердца.

27 марта 1902 года он был похоронен на Волковском кладбище в Петербурге Могила его находится недалеко от могил Шелгунова, Костомарова, Надсона и Павленкова, на Литературных мостках.

Анатолий ЛАНЩИКОВ

НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

В г. Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!» и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа. В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все *Заречье* и целую слободу *Чулково*. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост!», говорил один, «огурцом зарезался», отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или *казюка*, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены осо-

бенные клички, например: «стрюцкий» или «точеные ляшки» и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, «кукольница». Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут *сверлильщицы, наждашницы,* женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут *гармонщики, токари, наводильщики* и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича — самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то вперемежку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка — и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня. В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя — нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы,— все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряев-

ского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узна́ем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

— Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

I. ПРОХОР ПОРФИРЫЧ

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынянчила его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особливо неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с барином: низведенная на степень кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у нее было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертыми в нижнем этаже окна-

ми, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготовляя на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства», или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий-мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом, или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи. Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалявшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь — копейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплевывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще, он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына; у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех своих поступках. Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Случись,— говорит он,— пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!» И действительно, в то время, когда руки полицейских (по растеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спи-

ну под струю воды, чтоб не сгореть,— в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

— ...Изволите видеть, столб-от... белый-с?

— Да?

— Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...

И Прохор Порфирыч, поднимая руки вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия. Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым, почернелым стенам. «Черти! право, черти! — слышалось тогда в мастерской: — Ваше дело — пугать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!»... Но если случалось, что Прохор Порфирыч забегал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность, и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы. Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

— Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать — времена-то теперь тугие-с.

— Д-да! — вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

— Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее. Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом — рай!

— Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

— Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада — не с чем взяться!.. Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять,

как есть — первое дело!.. Одно: умей наметить, расчесть!.. Приложился — «навылет». Вот, говорят: «хозяева задавили!» Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем до малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие — как вы полагаете, очувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

— М-мудрено!

— Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пущает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

— Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

— Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шепота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей», и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», шептал он,— и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

— Надоумить! — возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица.— Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать с маху. Скажет он им: «Черти! аль вы очумели?.. Так и так...» и такое и прочее... В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая... «Отбить — отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхо-то,

оно — первое дело — в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсеместного виду: «Ребятушки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова — «водка!»... Порфирыч на этот раз даже засмеялся... Чиновник не знал, что и подумать.

— Водка-с! — ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч.— Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак!.. И пьет он «на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

— Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе — и то сдуру; пакость — и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство[1].

— Перекабыльство? — переспрашивает чиновник.

— Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем — они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку — только пятачком помахивай... Ходи да помахивай — твое!.. Горе мое — не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы мало-мало силен-

---

[1] Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели и т. д.),— очевидно, разговор не дельный; таким образом, «перекабыльство» — то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках.

ки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

— Время-то теперь, Порфирыч,— нерешительно бормотал чиновник: — время, оно...

— Время теперь самое настоящее!.. Только умней наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и, наконец, уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

— Так перекабыльство? — спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя: «Однако этот Прошка — значительная язва будет в скором времени!»...

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в нравах своих собратий (питье водки *на спор,* битье жены *безо время*), что все это

порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться. «Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!» — говорил он, и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

— Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку... И дрались они, братец, не то, чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергевна от сидельцев без памяти — «лучше житья нету», барин говорят: «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал — «иди, говорит, к нам...» Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет — откуда что возьмется... замлел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил — ну все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим... Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней порошинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера... Вся избенка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят — было нас учеников трое — говорю: «Что же, ребятушки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: «Ты, говорит, не говори про это... А лучше того ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу...» — «С ка-

кой с покражи?» — «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это всё воруем с суседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился — поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа... Я их и по ночам вижу...» Хозяина все дома не было. Подошел вечер, Ершишко говорит: «Пора, Проха, на кражу... Перва́ пойдем дров добывать». Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва́ мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь — и пошли таскать... Так что изба эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию — гнать; мы на них пошли; они — дубьем... А Ершишко словно полковой: «Ребята, говорит, не отставай!» Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать — только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают — как есть в лапту... Но Ершонок не мало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапиве — лежит он и шипит: «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил... А этому Ефремову, ундеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, капусту, огурцы... Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слыхал... Целую ночь Ершонок всё мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать: «Вон, говорит, я вижу». Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела... А хозяина все еще не было. Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. «Поглядите-ко, братцы,

не ваш ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул — «наш, говорит, осторожней; за мной!» Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: «За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

«Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое началось ученье... Но маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я братца умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал.— Надо, стало быть, как-никак терпеть!

«Между прочим, к ночи хозяин очувствовался. Хозяйки не было... Подзывает он меня и говорит:

«— Смотри у меня, старайся...

«— Буду! — говорю...

«— То-то!

«И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

«И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

«Ели мы, когда что случится да когда своруешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набежит, вот набежит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка — в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «будьте покойны!» Но подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

«— Ершило! — говорил он: — можешь ты мне эту палку заговорить?..

«— Могу! В лучшем виде!

«— Чтобы ее никакая сила не взяла?..

«— Могу!

«— Ну, заговаривай!

«Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) — не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

«— Готово! — говорит.

«— А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..

«— Я,— говорит Ерш,— в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...

«Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

«— Ах, ты, идолова порода,— закричит Ерш,— что я сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..

«А хозяину главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь проспорил!»

«Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин почнет шастать, искать; найдет — драка! И вся эта битва с женой — «зачем спряталась»!

«Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

«Тут мы к нему, бывало, пристанем:

«— Дяденька, когда ж ученье-то?..

«— Ребятушки,— говорит,— дайте вы, ради господа, мне маленечко в ум войти. Может,— говорит,— хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника. Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу...

«Тут, случается, жена заговорит:

«— Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, заместо того пропил?

«— Милая! супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал...

«— У нас все так-то!..

«И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит.

«— Анюта! — заговорит хозяин,— ради царя небесного, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!

«И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

«И всё мы этой работы дожидаемся, всё бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту всё и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возьмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит — сейчас, бывает, навалят нам замков чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть мелочь... Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

«Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клялся:

«— Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятушки! Всем вам теперича я удовольствие сделаю!..

«Сейчас отпускает жене на расходы целковый; на свечку казанской божией матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

«— Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику!. Ах, как мы, ребятушки, наголодались с вами!..

«Очень я в это время радовался, только Ерш этот шипит:

«— Погоди,— говорит,— не торопись; ты меня только слушай одного!

«И точно. Пошел хозяин в кабак инструменты выручать и нас взял с собой: такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Выручил инструменты. Вина ни-ни!.. Хочем мы уходить, а целовальник так, между делом, и говорит:

«— Игнатыч,— говорит,— что это мы слышали, кабысь у тебя расстройка по работе-то?

«Хозяин ка-ак на него зарычит:

«— Расстрой-ка-а? Из каких же это местов слухи такие?..

«И сейчас он, чтобы кабацкой канпании на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«— Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы в полном комплекте?..

«Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик!..

«— Какая же может у меня быть расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?

«— Ну,— говорил целовальник,— уж и в пропой!

«Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

«Ну, и пошло!..

«Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление:

«— У меня,— говорит,— работы навалено! У меня всегда без остановки! у меня на двадцати станах идет!

«Истинно глазам моим не верю! А дяденька только покрикивал:

«— Д-давай!.. Полно зубы-то полоскать! Расстройка!..

«Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет:

«— Я гррю, васскорродие, на двац-пять-цалковых в сутки... Я гррю, васскорродие... может, по всей имперрии...

«Тут целовальник видит — время позднее, говорит:

«— Голубь! Время, запираю.

«Взял его под мышки и потащил к двери.

«— Я перрвый мастер?..

«— Ты-ы! — говорит целовальник.— Кто ж у нас первый-то?.. Ты и есть!..

«— Масей!..— это хозяин-то наш ему: — признайся, по совести, доказал я тебе свое могущество?..

«— Ты, Игнатыч,— отвечал ему на это целовальник,— так меня ноне уничтожил, так сконфузил... То есть истинно победил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты поди-кось!

«— Я-а-а!..

«— Да уж ты-ы-ы!..

«И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

«— Ребятушки! Видели, как я его победил?..

«— Видели,— говорим.

«Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

«Стали мы ему в трезвый час говорить:

«— Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом божились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще хуже?

«— Ребятушки,— говорит,— знаете, что я вам скажу?

«— Я знаю! — заговорил Ерш...

«— Нет, тебе этого не узнать!.. А вот что я скажу: кажется мне, сколько я зароков на себя ни клади, никогда мне себя не удержать... Потому радости на своем веку только я и видел, когда в лодыжки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью, и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет!.. Окромя лодыжек-то я еще, ребятушки, не единою радостью не радовался... По этому случаю как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минуточку предоставить мне по моему желанию... Так-то!..

«Так мы и жили, а бесперечь хозяин себя чрез свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся, ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть!.. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-ется!.. То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал... Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты, и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытаращить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу. В этом запале нам в мастерскую нос показывать опасно было: «Прррочь, кричит, черти! Так промежду ног и суются! Прочь, расшибу!..»

«Мы разбежимся обнаковенно... Кто где ежимся...

«Кончит работу он беспременно к сроку и все денежки до копеечки пропьет, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадает...

«Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни! Который, думаю, мне теперича год, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит. Где обиды не ждал и не чуял я совсем — втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господи?

«Хотел я сбежать... Ну, только вскорости история одна случилась, и так обошлось... Однова́ смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья.. Все вообче разное имущество... И идут с боков этих возов бабы и всё у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

«— Где тут, ребятишки, солдатка покойница Караулова жила?

«— Я знаю где! — говорит Ерш.

«— Авдотья Кузьминишна?

«— Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!..

«— От нее нам в наследство дом есть...

«— Есть!.. Пойдем!..

«Повел он их на пустошь: там кое-где щепки валяются, и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

«— Вот! — говорит Ерш.— Получите!..

«— А дом-то?.. Где же дом-то?..

«— Дом точно что тут был,— отвечал Ерш: — ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...

«Между прочим, бабы по этой пустоши заметались, как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды.. «Ах-ах-ах, ах-ах-ах... Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу собралось множество, стали все удивляться, где дом: — я, говорит один, только поленце; я, говорит другой, только щепочек чуть-чуть отсюда взял. А тут целый пропал! Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

«— Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом

отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибире, на самом конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в то время на Капказ перегнали; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Капказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре месяце собрались из черкесской земли, да покуда доползли, ан всего три года! Ах, ах, ах, дома нету!..

«И выть!

«Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать,— «из горла вырви, да вороти». Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирал? Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать! Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

«Однова́ пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат — усищи... во! — снимает перед квартальным фуражку и говорит:

«— Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой, извольте посмотреть, нашивка, и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит...

«— Говори, в чем дело!

«— А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо один, Ершом звать...

«— Это я! — сказал Ерш.

«— Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дому воротил... Будь я проклят!

«— А ты, Ефремов,— сказал Ерш,— забыл, как ты меня дубиной охаживал?

«— За то я его, васскородие, точно с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с них, с мальчонков, да и с хозяина-то ихнего требуйте, и мы, видит бог, ни в чем не причинны!

«И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись — кто куда. Куда Ерш девался — так и не знаю.

«Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал. Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-

то совсем не знал никакого: правда, мог кое-как самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уж это такое дело, что и малый ребенок не испортит; потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками денусь?..

«...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод: там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил; а шатался-то я, собственно, потому, что уж оченно было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, изволите видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь — в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами изволите знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу — сам не знаю... «Ах, думал я в то время, ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опоминаться, ребят своих сторониться, ну, все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в неделю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю всё жалованье пропивали. Потому некуда его деть... А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать? На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался — «лучше нет, говорит. Давай вместе».— «Давай...»

«Кой-как да кой-как сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим, полагаю, что от пьянства я уж избавлен... Однако же нет. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиме да нажиме, до-

статочно я свое благородство исказил... Случай такой случился.

«Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надседается... Так он тихости и спокою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на завалинке, все он меня благодарит. Попросит он меня стих какой сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу; и так я, признаться, умею этими стихами человека пробрать, даже невероятно. Я главнее стараюсь жалобными; голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит:

«— Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!

«В ту пору ему кажется, словно он самого себя впервой увидал, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит... Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно — дерево... Я это мог.

«Я его стихом пробираю,— он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

«Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

«Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того — пивца... Дальше да больше — глядь, и шибко подгуляли... На утро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил... Жестоко я этим оскорбился, хоть, признаться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил что было, и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу я к Алехе, на улице встрел, и в досаде на его такой поступок говорю:

«— Ты как смел воровать?

«— Ты сам вор!

«— Врешь — ты!

«— Ка-ак, я вор!

«Кэ-эк я-а е-в-вво-о!..

«На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: «Господи! Что ж это такое?» Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

«— Ты зачем в мой сундук залез?
«— А ты зачем?
«— Нет, ты-то зачем?
«— Нет, зачем ты?..
«Я развернулся... р-раз!
«Потому смертельная мне была обида, что я так себя унизил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который на двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пардону попросит...
«Тут меня Алеха, признаться, помя-ал!..
«После этого Алеха закрутился где-то. Сижу я один дома тверёзый и все раздумываю: «Как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко... Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме? Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а заместо того что он сделает? Господь его знает!
«Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзьев, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень она мне в то время нравилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило — ни боже мой! (мне, я вам доложу, на этот счет верно такое несчастье: чуть мало-мало какое касание... — «нет, ты, говорит женись!»). Так, докладываю вам, в прежнее время хоть с нею... А теперича, даже когда она прибежала ко мне однова́ в мастерскую и почала реветь, будто цирюльник с ней неладно поступил, обманом, то я тотчас же ее из мастерской удалил и дверь захлопнул.
«Да в самом деле? Что я ввяжусь?.. Опять, кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...
«Но все же я ее пожалел!
«Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду, примерно, по переулку, вдруг солдат попадается.
«— Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка? — Да это я только молчанием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдем-кось, скажет, в часть: Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так по глупости своей опасался

тогда... Начинает меня солдат поливать — я все не оборачиваюсь, иду; он того злее — я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь — «вот я, мол, тебе...» Тою же минутою солдат исчезал, ровно сквозь землю проваливался.

«Начал я маленько разгадку понимать!

«Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну, по крайней мере, хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег — с Зуевым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

«— Ах,— говорит,— Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эко дело! А ты,— говорит,— уж и бог знает что... Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать.

«— Нет,— говорю,— шалишь!

«— Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой? Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пойдешь: вот я теперь чуйку пропил, должон я стараться другую выработать.

«— И другую,— говорю,— пропьешь.

«— Может, и другую... Я почем знаю?.. Я вперед ни минуточки из своей жизни угадать не могу...

«Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

«— Куда мое-то пальто девал?

«— Я почем знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать... Эх, Проша!

«Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному! Две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу то есть,— три рубля. С чего тут жить? Ну, кое-как перебивался, платьишко начал заводить, например, манишку, все такое, нельзя! Познакомился с чиновником... Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или ежели случится, то очень редко, по той причине, что окроме уныния завели они другую Сибирь: гитару... Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку-мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верху и начнет его спускать даже до самого низу. Воет струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал. Начал было я в это время Алеху Зу-

ева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, не долго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный, распьяный.

«— Ты! — заорал на меня: — подлекарь! подавай деньги!

«— Как-кие,— говорю,— деньги?

«— Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какие! — передразнивает: — за станок! вон какие!

«Тут я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю. Вижу: малому смерть, но все же я еще ему коленкой в грудь нажал, и как же я его в это время полыскал!.. Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть,— между прочим, кричу на него: говорри!

«— Прроша,— хрипит...— Ппуссcти!

«— Говорри! Анафема!..

«В то время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь... С час места я с ним хлопотал, наконец пустил... Отрезвел он... Помню, стоит этак-то в дверях, картузишком встряхивает...

«— Сейчас драться,— говорит: — нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!

«— Ладно,— говорю,— мне к суду с тобой идти не время!

«— Я почем знаю! «деньги», «получил»... Я почем знаю?

«— Дьявол! кто ж у вас знать-то будет? Че-орт!

«— Я почем знаю... За горло!.. Эко диво какое!

«— Проваливай!

«— Обрадовался!..

«Кой-как ушел он... И, между прочим, скажу, что о своем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь?.. Вздохнул я маленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласен!.. Н-нет-с!.. Мне желательно жить по-людски... С этим я и решил, что в чернонародии — без разговору, ручная расправа, а в благородстве — всякое почтение...»

II. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих *обделывать* свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жилами, жидоморами и проч. По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большею подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги, «отлично бы, хорошо»,— сладко думал он. По ночам ему снились тоже деньги. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых и серых бумажек и говорил: «получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

— Ах, чтоб тебе провалиться! — с досадой вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съежились; опустели трактиры, цыганские певицы напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары. Торговля приутихла всякая: рабочие, наподобие Зуева, шли охотой в солдаты. Шли также и неохотой.

— Ах, теперича бы силенки! Ах бы хоть немножечко!..— тосковал в эту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обделывать свои дела, умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назади, он почему-то поднял воротник, сплюснул шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч делал *первый шаг*.

...Вечером в нижних окнах дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «упокойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпе там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

— Семен Иваныч,— слезливо говорила она: — неизвестно... мне-то?.. хоть что-нибудь?..

— Я вам сто тысяч раз говорю — не знаю!

— Не сердитесь! ради бога, не сердитесь!.. Голубчик!

— Что вы пристаете? Сидите и дожидайтесь!

— Буду, буду, буду! Боже мой! Ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума шмыгнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок с широкой спиной приготовлялся читать псалтырь, переступая в углу тяжелыми сапогами. В виду покойника толковали шепотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но всё «как-то»... к этому присовокуплялось: «ни князи... ни друзи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уже практический вопрос, хотя тоже шепотом:

— А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? Под водовозку?

— Ох, мерина, мерина! — глубоко вздыхал душеприказчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине.— Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

— Блажен му-у-у-у...

— Караул!!! Краул! Стой! – раздалось под окнами.

— Господи Иисусе Христе! Что такое? — зашептала публика, и все бросились на улицу...

— Стой! Стой! Н-нет вврешь! Брат! брат!

Народ, сбежавшийся со свечами, увидел следующую сцену Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепи-

лась и замерла. Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и проч.

— Брат, брат! Краденое!..

— Мадам,— сказал значительно душеприказчик: — пожалуйте прочь!..

Прохор Порфирыч налег на врага узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась оземь. Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

— Как? воровать? — громче всех кричал Порфирыч.— Нет, я тебя не допущу! Извини!..

Узел свалили на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

— Спасибо, спасибо, брат!

— Помилуйте, васскородие,— говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки: — Как же эт-то только возможно? Я — все меры!.. Ка-ак? воровать?.. Нет, это уж оставь!

— Ты тут ее схватил?

— Да тут-с, васскородие, как есть у самых у ворот. Баррское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло — господь с тобой, получай!

— То другое дело!

— Да-с! то совсем другое дело! А то скажите на милость!

— Спасибо! Молодец!

— Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «здесь!»

— Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «А то, скажите на милость, такой поступок... целый узел, неэ-эт!» Потом пошел под сарай, запихнул между дров какой-то сверток, подхваченный в бою, и, возвращаясь оттуда, говорил:

— Каак? воровать? Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

— Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость — всю, всю, всю... Госсподи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

— Мадам! — говорил душеприказчик: — пожалуйте отсюда вон... после таких поступков!

— Н-не пойду!..

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решилась «ни за что на свете» не покидать своего места.

— С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

— Н-не пойду! н-не пойду! — твердила Лизавета Алексеевна, дрожа.

— А! не пойдете...

— Голубчик!

Она бросилась на колени.

— Есть в вас бог! не гоните меня! Ради бога... Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже и Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права: надсматривал и распоряжался. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку-другую водки, вступил с ней в разговор.

— Как в первых домах,— говорил он: — так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

— Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умирали Сушкины, два брата.

— Д-да-с! Потому наш дом тоже, слава богу... Будьте покойны!

— Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

— Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

— Дай бог, а завтра утренничком надыть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

— И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчание.

— Я полагаю,— говорит стряпуха: — кисель-то с клеем запустить?

— И с клеем. Как лучше... как в первых домах.

— А не то, ежели изволите знать, со свечкой для красоты.

— Как в первых домах! И с клеем и со свечкой...

Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскупимся.

Бодрствование во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив братца лечь спать.

— И то! — сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтение псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько подходит к дьячку, засунул одну руку с чем-то под полу, и, придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

— Благодетель!

Дьячок обернулся.

— Ну-ко!

Дьячок сообразил и произнес:

— Вот это благодарю! — тут он нагнулся к уху Порфирыча и зашептал: — Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

— Прочистит!

— Это так! Оно очистку дает! В случае там в нутре что-нибудь...

— Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоньку приподнимается; дьячок говорит:

— О, да много.

— Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

— Сольцы, сольцы!

— Цссс... Сию минуту.

— Гм-м... кхе!

— Готово!

— Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу,— прожевывая, шептал дьячок: — ты по какой части?

— Слесарь.

— А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело — хочешь не хочешь!

Дьячок пожал плечами.

— Смерть!

— Ты думаешь, всё на боку да на боку лежим? Нет, брат!

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Прохор Порфирыч в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом на цыпочках спускается с лестницы и идет через двор к саду. Брешет собака...

— Черной!

Порфирыч посвистывает.

— Как! воровать? — говорит он, возвращаясь из саду и проходя мимо брата.— Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

— О-ох!.. Не сплю! — вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфирыч подсаживается к нему, тоже вздыхает, присовокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шепот Порфирыча:

— Ах ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

— О-ох, господи! — шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

— Я все беспокоюсь,— заговорила она: — как кисель?

— Как в первых домах!

— Опять можно и полосами его пустить, с клюквой, как угодно?

— Как вам угодно, и с клюквой!.. Как в первых домах!

— Я все беспокоюсь! — заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтырь; из отворенного окна на него изредка налетал свежий воздух.

— Ссссс...— раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

— Не мешает! — сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение. Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая. Вдруг где-нибудь, не то вверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршанье. Дьячок снова встрепенулся.

— Я, я, я! — успокоительно шептал из сеней Порфи-

рыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель.— Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начинали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседая. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе... В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая-таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

— Уйду! уйду! уйду... Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! сама! сама!

С такою же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в день похорон, почти в одно и то же время, он распоряжался в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми «вечную память!» и тут же засовывал в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не мог дохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!», и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: «Ссию минуту-с, ссию минуту-с.. Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее под самый князек крыши; в комнате, где так долго умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масляной грязи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные куревом трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион. Порфирыч долго рассматривал вещи, долго молчал, и когда решался, наконец, просунуть в толпу голову и произнести «пятачок-с!», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира)

и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкие орехи и винные ягоды...

— Кушайте, маменька! сделайте милость,— говорил он.

— Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эвтого без сладкого... Изюмцу или бы чего...

— Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь...

— Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

— Надо быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!..— намекал он на душеприказчиков.

— То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не наплели там...

— Авось бог! Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

— А, ты! — сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился.— Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смотрел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

— Вот деньги. Отдай матери.

— Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

— Ну, ступай!

— Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

— Больше ничего; ступай!

— Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги вы изволили отдать-с...

— Как?

— Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте мчлость, извините... барин по бумаге отделили третью часть на сирот; следовательно, пожалуйте нам полностью. На что нам такая безделица? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следовает...

— Ступ-пай! Я тебе говорю!

— Слушаю-с...

И опять-таки стал у двери.

— Ты не уйдешь? — через несколько минут злобно закричал чиновник.

— Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйте деньги-с полностью!

— Вон!

— Я, васскородие, по суду буду искать... Как вам будет угодно!

Грозное молчание...

— Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

— Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозишь! Плевать я на него хотел!

— Как вам будет угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы. Чиновник нагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

— Ты деньги-то не швыряй! — заговорил Порфирыч во все горло.— Ты свою рожу-то береги...

— Дьявол! — послышалось сверху...

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой в кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторщики; в кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полуштофы, валялись орехи, винные ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач. Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

— Брат!.. Бррат! Я доверяю!..

— Проша! — приставала хмельная мать...

— Господи! — умиленно говорил Порфирыч...— Братец!

— Брат!

— Братец! видит бог!

— Брат! Я доверяю! Маннька!.. Брат!..

— Всей душой!.. Боже мой!

— Брат!

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полштоф.

— Брат!

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из дерев-

ни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

— Ну, маменька,— говорил он ей на другой день.— Надо думать!.. Не сегодня-завтра в шею погонят...

— О-ох, надо, надо!

— Я так думаю, домик бы? Деньги, они, не увидишь, разбегутся...

— Уж как ты знаешь!.. Куда мне, я не пойму ничего... Еще изобьют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

— Я так думаю, домик.. Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

– О-ох, давно своего-то не было!..

— То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

– Да я-то нешто зверь какой?.. Ты меня не ограбишь... Не выдашь... Из моего дому не выгонишь...

— Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! — и Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с купцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерял землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

— Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

– Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с! — отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскание дома, наконец нашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старуху все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха — все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но когда он показал ей деньги, старуха заговорила:

— Давай! давай!. Я зарою

– А сама уйдешь?

– Давай... Уйду! уйду!.

Кое-как Порфирыч, наконец, растолковал ей, в чем дело, и дал целковый. Старуха с жадностью схватила

его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась на печь в самый угол...

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он просил у ней позволения сходить на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской кляузник-приказный. Прохор Порфирыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объявил, в чем дело.

— Однако, извините меня,— говорил приказный, внимательно выслушав шепот Порфирыча,— как вы молоды, и какая у вас в душе подлость!

— Что делать! время не такое!..

— В первый раз в таких молодых летах встречаю такую низость...

— А я так думаю, надо бы мне бога благодарить?

— Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекусите... вот обидно что!

— На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

— Это до дела не касающе. Вы остаетесь при вашем свинстве...

— А вы при вашем!..

— А я-с при моем. Посылайте за полштофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне, как молния, мелькала рожа приказного, делавшая какие-то ужимки и гримасы. Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу... Порфирыч почему-то плевал сердито в землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стоило Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откуда-то «ссссс... сссс...» и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три

пальца; Порфирыч также иногда показывал ему в ответ три пальца только в другой комбинации... После таких таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул на столе бумагу, опрокинулся над ней, зачеркал пером и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то, бог знает, как далеко... Приказный показал что-то руками, Порфирыч еще поманил. Тогда приказный направился к палате зигзагами, почему-то миновал палатское крыльцо, потом повернул назад, поплелся по стенке и, снова поровнявшись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду. Порфирыч исчез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч воротился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

— Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то...

— В-всссе! Будьте покойны! Кушайте на здоровье.. Теперь... уж все! уж теперича, маменька, вполне!

— Ну, и слава богу!

— С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!..

Порфирыч вдруг хихикнул.

— Маменька! — сказал он, зажимая рукою рот и фыркая...— А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

— Ах!..— вскрикнула Глафира и обомлела...

Прохор Порфирыч попробовал было сделать серьезную физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Прохор Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

— Маменька,— сказал на это Порфирыч строго: — ежели вы так продолжать будете, я, ей-богу, в полицию не постыжусь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата, нарочно приехавшего из деревни.

— Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму! — заключил свою речь брат и пошел к двери...

— Сейчас самовар готов, братец... — произнес все время молчавший Порфирыч и проводил разгневанного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

— Ну, старушка, ступай с богом...

— Что ты, очумел, что ли?

— Как очумел? дом мой! ступайте с вашим капиталом.

— Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты заикнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Сознав, наконец, себя полным хозяином, Прохор Порфирыч с истинным благоговением произнес:

— Боже! Благодарю тя!..

III. ДЕЛА И ЗНАКОМСТВА

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице. Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась; около нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазал ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник с своей стороны усердно охаживал избу кругом, тщательно выбирая местечко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, досчатых четыреугольников, ярко вылегавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И несмотря на такие старания, изба все-таки напоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхним концом уходили в глубь избы, а нижним выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Про-

хор Порфирыч неутомимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены — «не такое время»; насчет старухи, которую не выжила никакая полиция, было положение «не касаться»: «хочет издохнуть — издыхай, не хочет — как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокое доживать век и не трепаться около печки; Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям — «нечего слоны слонять» попусту; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после Святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил трубку, начал поплевывать по сторонам, запахло махоркой, послышались слова: «фитьфебиль», «чухаус», «каптинармус». За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что, нашей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья — пошел говор, дружба, словом, житье, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями. Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнилы и не так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые достав-

ляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях, болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «последние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самомалейших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адамс и Кольт, есть слово «система», которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в «исцему». Мало того, пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудою кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о *собственном его* хозяйстве

Сени также не пропали даром в них было «положено» спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «при

пас» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел *благородную* жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя, наконец, до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города, куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастьям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

— Присматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шепотом, ибо грозная тень Порфирыча невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полициймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шепотом присовокуплял, как жена его била и ругала. При этом дело происходило так: «Харя!» говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!» — «Рогожа!» — «Чувствительнейше вас благодарю!..» Разлетится, разлетится, по щеке — хлоп! «Сделайте вашу милость, еще...»

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, говорит, тебя, Федя, ни на кого не променяю...» — «О?» — «Провалиться! Потому, я тебя без памяти обожаю...»

— Обрадовался я, признаться,— рассказывал Кривоногов.— «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, по-

шли. Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...» Изволь, говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному, да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?» Я как услыхал — прямо в окно, да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, то есть Прохор Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирал дверь на замок.

— И покорнейше вас благодарю! — говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитою его двужильных трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела. Главною задачею его в эту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, то есть отделять из нее *по возможности* как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплачивать им, если можно, натурою, в «надобное» время. Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценил только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочего рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем. Но для этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Приятный для Прохора Порфирыча субъект пробуждался в понедельник в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщательное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его

к заключению, что это или архиерейская дача, за пять верст от города, или Засека, за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчет местности, бедная голова мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование, дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это самою искреннею и самою страшною клятвою, и только выговаривает себе льготу на нынешний день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствует внешнему виду мастерового: на нем нет ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли новенькие «коневые» сапоги, но почему-то уцелела одна только «жилетка». Мастеровой понимает это событие так: около него возились не воры-разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые, точно так же, как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и такие же полураздетые или раздетые совсем Тот, кто оставил на мастеровом «жилетку», думал так: «Чай, и ему надо похмелиться-то чем-нибудь!»

И пошел искать в другое место

Сожаления о коневых сапогах и чуйке, терзания больной головы, проклятия мало-помалу исчезают в размышлениях над «жилеткой», и в особенности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данило Григорьич

Полная, здоровая фигура Данилы Григорьича уже давным-давно красуется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, исписанный словами какой-то молитвы, он солидно раскланивается с «стоющими» людьми или, понимая смысл понедельника, принимается набивать стойку целыми ворохами *переменок* Под этим именем разумеется всякая *ношебная* рвань, совершенно не годная ни для какого употребления: старые халаты, сто лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и прошедшие огонь и воду, лишившись в житейской битве полы, рукавов, целого квадрата в спине и проч Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельника, которые то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добраться домой

Весело похаживает Данила Григорьич, по временам он запевает какую нибудь духовную песнь· «Господи, по-

милуй...» или идет за перегородку, откуда скоро, вместе с его смехом, слышится захлебывающийся женский смех.

— Грех! — слышно за перегородкой...

— Эва!..— басит Данила Григорьич.

На крыльце кто-то оступился от слишком быстрого вбега, и перед Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим подол ситцевой рубахи, вырастает полуобнаженная и словно на морозе трясущаяся фигура. Данило Григорьич спокойно помещается за стойкой.

— Сделл... милость! — хрипит фигура, подсовывая жилетку, и более ничего не в силах сказать.— Сделл... милость!

— Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета. Данило Григорьич трет его мокрым пальцем, рассматривает на свет, словно фальшивую бумажку.

— Сделл... милость! Ах ты, боже мой! а? — царапая всклокоченную голову, хрипит фигура.— Данило Григорьич! Сделл... милость... Ах тты, боже мой!

Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя пальцем в грудь:

— Только един-ствен-но моя одна доброта!

— Отец!.. Да разве... Ах ты, боже мой!..

Данило Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом полштоф, с тем же ожесточением сует маленький стаканишко, склеенный и сургучом и замазкой, почему потерявший очень много в своем и без того незначительном объеме.

Ужас охватывает мастерового.

— Данило Григорьич! Побойся бога!

— Я говорю, истинно только из одной жалости... Поверь ты мне... Я с тебя бог знает чего не возьму божиться... Для того, что видеть я не могу этого вашего мучения!

— Данило Григорьич! Отец! Да ты что это мне?.. Опять, стало быть, на неделю испорчен? Данило Григорьич!

Целовальник молча ставит полштоф на прежнее место.

— Данило Григорьич! — умоляя, хрипит мастеровой.— Ради самого господа бога... Данило Григорьич!

— Я теб-бе говорю,— хочешь, а не хочешь...

— Сто-сто-стой! Что ты? Сделай милость!.. Ах ты, господи...

— Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не показано... Ну-кось, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотрит на стаканишко с самым жестоким презрением, с горя плюет в сторону и, наконец, пьет...

Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого огурца.

— Нет,— говорит, наконец, мастеровой, немного опомнившись: — Я все гляжу, какова обчистка?..

— Спроворено по закону...

— А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

— Скажи еще за жилетку-то «слава богу»!

— И, ей-богу, скажешь!..

— Еще как скажешь-то...

— Ей-ей... Еще, слава богу, хоть жилетку оставили!.. Ах ты, боже мой!.. а?.. Обчи-и-стка-а... ай-ай-ай... а?.. Кан-ёвые сапоги одни,— душа вон,— пять цалковых, одни!.. Да ведь какой конь-то!..

— Эти, что ль?

Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...

— Он-ни! он-ни! — завопил мастеровой, простирая руки.— Ах, братец ты мой!.. Как есть они самые.

— Ну, теперь не воротишь!..

— Где воротить!.. не воротишь!

— Теперь нет!

— Теперь, избави бог, ни в жисть не вернуть... Они как есть!.. Обчистка!

Мастеровой развел руками.

— То-то и есть: говорил я тебе... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай...

Идет долгое нравоучение.

— И опять же скажу, это на вас от господа бога попущение... Докуда вам маммоне угождать?..— заключает целовальник.

Мастеровой вздыхает и скребет голову...

— Данило Григорьич! — умильно начинает он, голос его принимает какой-то сладкий оттенок.— Сделай милость!.. маленькую!

Данила Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду успевает нарядить посетителя в *переменку* и за плечи ведет к двери.

— Маленькую! отец!

— Ступ-пай! Ступай с богом!

— Полрюмочки!

— Ступай-ступай!
— Как же быть-то?
— Думай!
— Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...
— Дело твое!
— Надо думать!.. Ничего не поделаешь!..

Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув на омертвевшую жену, нетвердыми ногами направляется к кровати, предварительно с размаху налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом люльку с ребенком, висящую тут же на покромках, прицепленных к потолку. Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом прошептать: «разбойник!» — как супруг ее, с каким-то ворчаньем бросившийся ничком на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный этим храпом ребенок вздрагивал ногами и плакал. Оцепененье бедной бабы разрешается долгими слезами и причитаньями... А муж все храпит... Наконец рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро рассказывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же возвращается домой. Прямо под ноги ей бросаются из избы три собаки, с явными признаками молока на морде. Чуя погибель молока, припасенного ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудовищные круги, попадая то в печку, то в стену. Окончательно убитая баба долго не может ничего сообразить и вдруг пускается вдогонку...

В это время муж ее с каким-то истинно артистическим азартом выделывает в дальнем конце улицы удивительные скачки: иногда он словно подплясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-под «переменки».

— Держи, держи!..— голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися и онемевшими ногами: — ах, ах, ах... Разбойник! Грабитель!

Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно останавливал вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза два повернулся с ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг в это время уже поровнялся с храминою Дани-

лы Григорьевича и с разлета всем телом распахнул обе половинки дверей.

Добралась, наконец, и баба. Мужа не было.

— Где муж? — едва переводя дух, закричала она.— Подавай! Слышишь? Сейчас ты мне его подавай, кровопийцу...

— Я с твоим мужем не спал! — категорически ответил Данило Григорьич.— Ты его супруга, ты и должна его при себе сохранять...

— Подавай, я тебе говорю!

Баба вся помертвела от негодования.

— Сссию минутую мне мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..

Целовальник усмехнулся.

— Малаша! — произнес он, направляя слова за перегородку.— Вот баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте?

— Ххи-хи-и-их-хи-хи-хи! — раскатилось за перегородкой.

— Шкура! — заорала баба.— Мне на твои смехи наплевать!.. Твое дело распутничать, а я ребенку мать!

— Чтоб те разорвало!..

— Ах ты!..

— Что за Севастополь такой? — громче всех закричал целовальник.— Ишь, генерал Бебутов какой... мутить сюда пришла? Так я опять же тебе скажу — мужа твоего здесь не было!

— Не было-о?

— Нету! Проваливай с молитвой! К Фомину убежал!

— К Фомину-у?

— К нему. С бог-гом! В окно выскочил.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.

— Все ли взяла? Как бы чего не забыть?..— подтрунивал целовальник.

— «А я вот-он, а я во-о...» — вдруг запел кто-то...

Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение — на чердаке ли, под полом ли, или на улице — решительно разобрать было нельзя. Тем не менее баба бросилась на хохотавшего целовальника.

— Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!

Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять возобновилось.

— Разбойники! Дьяволы! У меня корки нету... Поддав-вай сейчас!..

— А я вот-он, а я во, а я во, а я во,— хооо!..

Смех, гам, слезы...

— Ну, с богом! — заговорил целовальник решительно и повел бабу на лестницу.

— Я на тебя, изверг ты этакой,— доносилось с улицы: — во сто раз наведу, ма-ашенник! Я тебя, живодера этакого, начальством заставлю...

— Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? рожа-а! — резко и внушительно говорил целовальник, высовывая голову на улицу.— В начальстве ты на маковое зерно не смысли-ишь!.. Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падаль!

Баба долго кричала на улице.

Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал дверцы.

— Не торопись! — остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь: — совсем было прищемил!..

— А! Прохор Порфирыч! Доброго здоровья... Виноват, батюшка! С эстими с бабами то есть, не приведи бог... Прошу покорно.

— Ай ушла? — шепотом проговорил мастеровой, приподымая головой крышку маленького погреба, устроенного под полом за стойкой, у подножия Данилы Григорьича.

— Ушла!.. Ну, брат, у тебя ба-аба!

— О-о!.. У меня баба смерть!

Мастеровой выполз из погреба весь в паутине и стал доедать пеклеванку...

— Какую жуть нагнала-а? — спросил он, улыбаясь, у целовальника.

Тот тряхнул головой и обратился к гостю:

— Ну, что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?

— Вашими молитвами.

— Нашими? Дай господи! За тобой двадцать две...

— Ну что ж,— сказал мастеровой: — эко беда какая!

В это время из-за перегородки выползла дородная молодая женщина, с большой грудью, колыхавшейся под белым фартуком, с распотелым свежим лицом и синими глазами; на голове у нее был платок, чуть связанный концами на груди. По дородности, лени и множеству всего красного, навешанного на ней, можно было заклю-

чить, что целовальник «держал при себе бабу» на всякий случай.

Прохор Порфирыч засвидетельствовал ей почтение.

— Что это, Данило Григорьич,— заговорила она:— вы этих баб пущаете... Только одна срамота через это!

— Будьте покойны! — вмешался захмелевшийся мастеровой: — она не посмеет этого. Главное дело,— обратился он к Порфирычу шепотом: — я ей сказал: Алена!.. Я этого не могу, чтобы каждый год дитё!.. чтобы этого не было!.. Мне такое дело нельзя!

— Ну и что же? — спросил целовальник.

— Говорит: не буду! Потому я строго...

— Малань! — ухмыляясь, произнес целовальник.— Вот бы этак-то... а?..

— Вы всё с глупостями.

— Ххе-ххе-ххе!..

Мастеровой тоже засмеялся и прибавил:

— Нет, надо стараться!.. И так голова кругом ходит!

Целовальничья баба отвернулась. Прохор Порфирыч кашлянул и вступил с ней в разговор:

— Ну что же, Малань Иванна, по своем по Каширу тужите?

— Чего ж об нем.... Только что сродственники...

— Да-с... родные?..

— Родные! Только что вот это. Конечно, жалко, ну, все я такой каторги не вижу, когда братец Иван Филиппыч одним мастерством своим меня задушил... Они по кошачьей части... одно погляденье на этакую гадость... тьфу!

— А все деньги!..

— Ну-у уж... гадость какая!

— Данило Григорьич! — шептал мастеровой, колотя себя в грудь.— Перед истинным богом...

— Ты еще мне за стекло должен! Помнишь?..— гудел Данило Григорьич.

— Данило Григорьич!..

— Ну, Малань Иванна! а в нашем городе что же вы? пужаетесь?

— Пужаюсь!

— Пужливы?..

— Страсть, как пужлива... Сейчас вся задрожу!..

— Да, дда, да... Место новое...

— Да и признаться, все другое, все другое... За что ни возьмись... Опять народ горластый...

— П-па каакому же случаю я тебе дам? — восклицает в гневе Данило Григорьич.

— Данило Григорьич! Отец!

— Народ горластый и опять же, чуть мало-мало, сейчас драка! Норовит как бы кого...

— В ухо!.. Это верно! Потому вы нежные?.. — покашиваясь на мастерового, ласково произносит Прохор Порфирыч.

— Нежная!..

— Умру! умру! — заорал мастеровой, упав на колени.

— А, чудак человек! Ну, из-за чего же я...

— Каплю, дьявол, каплю!

— Что? Что такое? — заговорил, нехотя повернув голову к спорящим, Прохор Порфирыч.— В чем расчет?

— Да, ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же я ему могу дать?

— Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за бесценок цвол (ствол ружейный). Цена ему два целковых... Прошу полштоф, а?

— Что же ты, Данило Григорьич! — произнес Порфирыч.

— Ей-ей не могу. Мы тоже с этого живем...

— Покажь! — сказал Порфирыч: — что за цвол?.. У мастерового отлегло от сердца.

— Друг! — заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча: — тебе перед истинным богом поручусь, полпуда пороху сыпь.

— Посмотрим, попытаем.

Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на котором мелом были сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рассматривать.

— Сейчас околеть,— говорил мастеровой: — Дюженцеву делал!.. Еще к той субботе велел... Я было понадеялся, понес ему в субботу-ту, а его, угорелого, дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!.. Ну, оставить-то без него поопасался!..

— Да ко мне в сохранное место и принес! — добавил целовальник: — чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!

Мастеровой засмеялся...

— Оно одно на одно и вышло,— проговорил он: — Дюженцев этот и с рыбою-то совсем пьяный утоп...

— Вот так-то!

— Ах, и цвол же! ежели бы на охотника...

— Это что же такое?..— произнес Порфирыч, отыскав какой-то изъян.

— Это-то? Да друг ты мой!

— Я говорю, это что? Это работа?

— Ну, ей-богу, это самое пустое: чуть-чуть молоточком прищемленно...

— Я говорю, это работа?

— Да ты сейчас ее подпилком! Она ничуть, ничево!

— Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат...

Прохор Порфирыч кладет ствол на стойку, садится на прежнее место и, делая папиросу, говорит бабе:

— Так пужаетесь?

— Пужаюсь! Я все пужжаюсь...

— Ангел! — перебивает мастеровой.— Какая твоя цена? Я на все, только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.

— Да какая моя цена? — солидно и неторопливо говорит Порфирыч: — Данилу Григорьичу, чать, рубль ассигнациями за него надо?..

— Это надо!.. Это беспременно!..

— Вот то-то! Это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобина, на цволу-то, это тоже мне не статья...

— Да я тебе, сейчас умереть...

— Погоди! Ну, пущай я сам как никак ее сровняю, все же набавки я большой не в силах дать...

— Ну, примерно? на глазомер?

— Да примерно, что же!.. Два больших полыхнешь за мое здоровье; больше я не осилю...

— Куда ж это ты бога-то девал?

— Ну, уж это дело наше.

— Ты про бога своими пьяными устами не очень! — прибавляет целовальник.

Настает молчание.

— Так вы, Малань Иванна, пужаетесь все?

— Все пужаюсь. Место новое!

— Это так. Опасно!

— Три! — отчаянно вскрикивает мастеровой.— Чтоб вам всем подавиться...

— Давиться нам нечего,— спокойно произносят целовальник и Порфирыч.

— А что «три»,— прибавляет последний: — это я еще подумаю.

— Тьфу! Чтоб вам!

— Дай-кось цвол-то!

— Ты меня втрое пуще моей му́ки измучил!

Порфирыч снова рассматривает ствол и, наконец, нехотя произносит:

— Дай ему, Данило Григорьич!

— Три?

— Да уж давай три... Что с ним будешь делать... Малый-то дюже тово... захворал «чихоткой»!

Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятачку, обдает всю компанию целым проливнем нецере онной брани и, снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливого толчка, пущенного услужливым целовальником, скатывается с лестницы, считая ступени своим обессилевшим телом. Прохор Порфирыч спокойно прячет в карман доставшийся ему за бесценок ствол и снова обращается к целовальничьей бабе, предварительно вскинув ногу на ногу.

— Так вы, Маланъ Иванна, утверждаете, что главнее по кошачьей части, то есть на родине?..

— По кошачьей! Такие неприятности!

— Конечно! Какое же удовольствие?

Такой образ действия Прохор Порфирыч называет уменьем потрафлять в «надобную минуту», и в понедельник мог им пользоваться в полное удовольствие, употребляя при этом почти одни и те же фразы, ибо общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.

Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отправлялся или домой, унося с собою груду шутя приобретенных вещей, или же шел куда-нибудь в другое небезвыгодное место. Между его знакомыми жил на той стороне мещанин Лубков, который был для Порфирыча выгоден одинаково во все дни недели.

Мещанин Лубков жил в большом ветхом доме, с огромной гнилой крышей. Самая фигура дома давала некоторое понятие о характере хозяина. Гнилые рамы в окнах, прилипнувшие к ним тонкие кисейные занавески мутно-синего цвета, оторванные и болтавшиеся на одной петле ставни, аляповатые подпорки к дому, упиравшиеся одним концом чуть не в середину улицы, а другим в выпятившуюся гнилую стену, все это весьма обстоятельно дополняло беспечную фигуру хозяина. В летнее

время он по целым дням сидел на ступеньках своей лавчонки. Вследствие жары и тучности ноги были босиком, на плечах неизменно присутствовал довольно ветхий халат, значительно пожелтелый от поту и с особенным старанием облипавший выпуклости на тучном хозяйском теле. Такой легкий летний костюм завершался картузом, истрепанным и засаленным с затылка до последней степени. Беспорядок, отпечатывавшийся на доме и на хозяине, отмечал едва ли не в большей степени и все действия его. Сначала он занимался разведением фруктовых дерев; дело тянулось до смерти жены, после чего Лубков вдруг начал для разнообразия торговать говядиной, но, не умея «расчесть», стал давать в долг и проторговался. Кризисы такие Лубков переносил необыкновенно спокойно, и в тот момент, когда, например, торговля говядиной была решительно невозможна, он вел за рога корову на торг, продавал ее, на вырученные деньги покупал водовозку и принимался, не спеша, за водовозничество. Точно с таким же нерасчетом завел он кабак, который сам же и посещал чаще всех, хлебную пекарню и проч., и на всем спокойно прогорел. К довершению своей добродушно-бестолковой жизни он опять женился на молоденькой девушке, имея на плечах пятьдесят лет, и благодаря этому пассажу имел возможность хоть раз в жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сын. Событие было до того неожиданно, что Лубков решился оставить на некоторое время свое любимое местопребывание, крыльцо, направился к жене.

— Наталья Тимофеевна,— сказал он ей, почесывая голову: — это... что же такое будет?

— Убирайся ты отсюда... знаешь куда? много ты тут понимаешь!

— Да и то ничего не разберу...

— Пшол!..

Через минуту Лубков по-прежнему сидел на крыльце. Спокойствие снова осенило его. Раздумывая над случившимся, он улыбался и бормотал:

— К-комиссия...

Шли годы, и нередко ребята, то есть мастеровой народ, имея случай посмеяться над Лубковым, извещали его о близкой прибыли в то время, когда он, казалось, и не подозревал этого.

Несколько лет таких неожиданностей и насмешек сно-

ва нарушили покой Лубкова. Он вторично покинул свое седалище с целью поговорить с женой.

— Наталья Тимофеевна! — сказал он ей: — вы, сделайте милость, осторожнее...

— Нет, ты сперва двадцать раз подавись, да тогда и приходи с разговорами!

— Хоть по крайности сказывайтесь мне... в случае чего...

— Пошел!..

Постигнув наконец, что ему безвинно суждено быть отцом многочисленного семейства, Лубков на шутки ребят отвечал:

— А ты бы, умный человек, помалчивал бы, ей-богу! Во сто бы тысяч раз было превосходнее, ежели бы ты молчком норовил... так-то!

В настоящее время у него по-прежнему существовала лавка, но род промышленности был совершенно непостижим, потому что лавка была почти пуста. В углах висели большие гирлянды паутины, с потолка свешивалась какая-то веревка, которую Лубков собирался снять в течение десяти лет, а на полках помещались следующие предметы: ящики с ржавыми гвоздями, куски железа, шкворень, всякий железный лом и полштоф с водкой. Более ничего в лавке и не было, кроме дивана, покрытого рогожей. На этом диване любила сидеть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сиденья занималась руганьем мужа на все лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная под ругательские речи жены, ленивое почесывание за ухом или в голове, среди самых патетических мест ее, смертельно раздражали разгневанную супругу.

— Демон! — вскрикивала она в ужасе.

Муж встряхивал головой, и сдвинутый на сторону картуз снова сидел на прежнем месте.

Другого ответа не было.

В понедельник в лавке Лубкова было довольно много посетителей и происходило что-то вроде торговли. Дело в том, что потребность опохмелиться загоняла даже к Лубкову целые толпы беднейших подмастерьев, которые, за неимением своего, тащили добро хозяйское: в сапогах или потаенных карманах, приделанных внутри чуйки, тащили они к Лубкову медную «обтирню» или дрязгу, целые вороха всякого сборного железа по копейке или по две за фунт. Все это у него тотчас же

покупали люди понимающие. Иногда и сам Лубков принимался как будто делать дело: он выбирал из сборного железа годные в дело петли, крючки, ключи, откладывал их в особое место и при случае продавал не без выгоды. Иногда в общей массе железного лома попадались какие-нибудь редкостные вещицы, например, замок с фокусом и таинственным механизмом. Ради этих диковинок заходил сюда и Прохор Порфирыч, имея в виду «охотников», которым он сбывал любопытные вещи за хорошую цену, платя Лубкову копейками, на что, впрочем, тот не претендовал.

Лубков, по обыкновению, молча сидел на ступеньках крыльца, когда с ним поровнялся Порфирыч.

— А-а! Батюшка, Прохор Порфирыч! В кои-то веки!..

— Что же это ты в магазине-то своем не сидишь?..

— Да так надо сказать, что приказчики у меня там орудуют...

— Торговля?

— Хе-хxе-хе.

Порфирыч вошел в лавку и, поместившись на диване, принялся делать папироску.

— Подтить маленичка хлебушка искупить,— произнес хозяин, кряхтя поднимаясь с сиденья, и пошел в лавчонку напротив; под парусинным пологом торговал хлебник, на прилавке были навалены булки, калачи, огурцы, и стояла толпа бутылок с квасом, шипевшим от жары. Подойдя к лавчонке, Лубков долго чесал спину, глубоко, по-видимому, вдумываясь и в квасные бутылки, и в огурцы, и в ковриги хлеба. Наконец он коснулся пальцем о белый весовой хлеб и сказал:

— Ну-кося! замахнись на три фунтика!

В то же время в самом «магазине» происходила следующая сцена. Рядом с Прохором Порфирычем на диване поместилась молодая черномазенькая смазливая жена Лубкова, в маленькой шерстяной косынке на плечах, изображавшей красных и черных змей или, пожалуй, пиявок.

— Ты что же, домовой,— говорила она Порфирычу: — когда же ты мне платок-то принесешь?..

— Да ты и без платка выйдешь!

— Ну, это ты вот, на-кось!

— Ей-богу, выйдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу!

— Мужу-то? Лешему-то?

— Н-нет, Евстигнею...

— Прошка! — ошарашив по плечу еще глупее улыбавшегося Порфирыча, воскликнула собеседница: — я тебе тогда, издохнуть! башку прошибу...

— Хе-ххе-хе!

Молчание...

— Прохор! — заговорила опять жена Лубкова.— Если это твой поступок, то я с тобой, со свиньей... Тьфу! Приходи вечером... Черт с тобой!..

— Без платка?

— Возьмешь с тебя, с выжиги...

И она еще раз огрела его по плечу.

Порфирыч улыбался во все лицо.

В это время на пороге показался Лубков; он нес под мышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой конец полы своего халата, которая была наполнена огурцами. Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:

— Какая, братец ты мой, комедия случилась... Алешку Зуева, чать, знаешь?

— Ну?

— Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замотался, опохмелиться нечем. Что будешь делать!.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно бы ворота какие. Посмотрю, посмотрю — ко мне!.. «Алеха!» — «Я».— «Что ты, дурак?» — «Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром...» — «Что такое?» — «Надгробие», говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. «Почитай-кось, говорит, что тут написано?..» Начал я разбирать: «Поммя-ни».— «Ну, вот я и помяну», говорит... Хе-хе-хе!

Смех...

Лубков откусывает пол-огурца.

— Каммедия! — говорит он, усаживаясь снова на крылечке.

Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза...

В обиталище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещица, отрытая в ящике с сборным железом. Все

это делается «спрохвала́», тянется от нечего делать долго, но вместе с тем, благодаря талантам Порфирыча, не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обирания Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще подготовлять себе *надобную* минуту. Уходя от нужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: «Так смотри же, *за тобой* осталось... Помни!» Вообще, особенность Прохора Порфирыча состояла в уменье смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением и с холодным равнодушием и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших *дело*, но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.

Взяв от понедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.

— Что же, ты бы работы поискал,— говорил внушительно Прохор Порфирыч.

— Друг! работы? По моим летам теперича надо бы по-настоящему спокой, а я вон...

Старик как-то пихнул мешок с углем.

— Стало быть, нету,— прибавил он.— Что я знаю? Всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?..

— Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголек-то?

— И — да! братец мой... Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: «Что, старичок, подтибрил?» — «Так точно, говорю, васскородие!..» Так-то! Ничего не поделаешь!

Старик замолчал и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.

— Ты, старина, таких слов остерегайся!

Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: «казючка» (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два

мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.

— Вытащили его? — спрашивал один мещанин другого.

— Вытащили... Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили, шарили... Раз двадцать невода закидывали, нет, да нá поди... А он, что же? какую он штуку удрал!..

— Н-ну?

— Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет — да и полно!

— Вот тоже наше дело,— заговорил солдат с книгой.— Я говорю: вассокородие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне...

— Это к чему же речь ваша клонит? — иронически перебил Порфирыч.

— Чево это?

— В как-ком, говорю, смысле?

Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.

— Он-то, что ль? — заговорил старик.— О-о-о! Он смыслит! Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, богом тоже в наготе рожден. Вона ка-ак!..

Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно набивать табаком свой золотушный нос.

— Он, брат, пон-нимает!..

Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменной стены архиерейского двора. У задних ворот, выходящих на реку, стояло несколько консисторских чиновников в вицмундирах; одни торопливо докуривали папиросы, другие упражнялись в пускании по воде камешков рикошетом и делали при этом самые атлетические позы. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник, в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин. Принеся на алтарь отечества все во время севастопольской кампании, то есть съев сотни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально всматривалась в

лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

— Костенька! — сказала она: — мне скучно!

— А мне черт с тобой! — злобно прорычал собеседник.

— Как вы вспыльчивы!

Скука, жара...

В середине сада, в кругу, обставленном разросшимися акациями, сидит несколько темных личностей, что-то оборванное, разбитое; одни дремлют, прислонившись спиной к дереву, другие лежат на лавке, подставив спину солнцу.

— Посмотрите-ка, голубчики, что он со мной сделал,— говорит какой-то мастеровой и отнимает от локтя огромный газетный лист. Локоть оказывается разбитым, льет кровь.

— Хло-обысну-л! — говорит кто-то.

— А? И за что же, голубчики вы мои, он меня этак-то изувечил, как вы полагаете, а? Прросто удивление! Вхожу я к нему и только два словечка всего и сказал-то: одолжи, говорю, мне, Тимофеюшко, на копеечку хренку! Только всего и сказал-то, а? и заместо того что же?

Все удивились. Прохор Порфирыч понял, что у Тимофеюшки, наверное, теперь расшиблены оба локтя. Он закурил папироску и вышел из сада.

Пошли длинные безмолвные улицы, длинные заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

— Держи! держи! — раздавалось вдруг, и на перекрестке мелькала фигура улепетывавшего от жены мастерового.

«Понедельничают еще!..» — думал Прохор Порфирыч.

Наставал отдых. Под защитою «двужильных» трудов Кривоногова Прохор Порфирыч имел возможность иногда ничего не делать целую неделю, вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно в кабаке, непьющему мастеровому решительно некуда деть. (Так было двадцать лет назад.) Представленный самому себе, он чувствует себя очень неловко: что-то, глубоко задавленное трудом, в эту пору как будто начинает оживать, чего-то хочется, какие-то странные мысли залетают в голову и, застывая в форме неразрешенного вопроса, еще более тяготят малого: дело оканчивается или сном, или кабаками.

Прохор Порфирыч в свободное время принимался посещать знакомых и таким образом избегал обоих несчастий. Зеленый, довольно объемистый сундук его мог указать еще другую пользу знакомств: наполнявшие его разного рода, длины и вида брюки и сюртуки были подарки за ту или другую услугу от разных знакомых. Правда, все эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Прохор Порфирыч умел скрыть эти недостатки не только от глаз посторонних, но, можно сказать наверное, и от самого себя; он был уверен и мог уверить кого угодно из растеряевцев, что это вот, например, сукно аглицкое, этот жилет французского покроя, а такого сукна с искрой, которым покрыто пальто, теперь нигде отыскать невозможно. Знакомился Прохор Порфирыч только с благородными, потому что сам он тоже благородный, и еще потому, что благородный человек не скажет: «угости», а, напротив, угостит сам.

Иногда он был до того глупо доволен своими «благородными» знакомствами, что, казалось, даже терял некоторую долю расчетливости, чего, в сущности, никак бы не могло быть.

После обеда, когда Кривоногов лег в сенях отдохнуть, Прохор Порфирыч тщательно украсил себя чем мог, запасся коротенькою сломанною тросточкою, подарок растеряевского живописца, и не спеша отправился попить чайку и посидеть к чиновнику Богоборцеву.

Знакомство с этим чиновником завязалось благодаря кахетинской курице, забежавшей к Порфирычу и доставленной им в целости хозяину, то есть Богоборцеву. Кроме непреодолимой страсти к курам, Богоборцев имел множество особенностей, совершенно выделявших его из класса «чиновников». Его не интересовали канцелярские тайны и чиновнические разговоры столько, сколько конная, оранье прасолов и цыган; любимым зрелищем его была драка, которую он всемерно старался «подгвазживать», то есть раззадоривать. Любил слушать двухорные концерты и с глубоким вниманием смотрел, как гоняют «сквозь строй», и проч. Книги он не читал ни одной, хотя был уверен, что духовные книги неизмеримо выше светских, но все-таки не читал и духовных. Относительно политики полагал, что «все наши». В двенадцатом году *мы* всех взяли. На поляков сердился и советовал их уничтожить. Насчет внутреннего устройства собственной персоны он не имел никакого понятия; знал, что в

человеке есть сердце, «душа», живот, но в каком порядке размещены эти предметы: душа, живот и сердце,— объяснить не мог. Среди сменяющихся поколений, или так называемой «реки времен», господин Богоборцев представлял собою скалу, о которую разбиваются всякие «направления», «плоды реформ», «отрадные явления» и явления, над которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже в провинции, не имело сил хоть на волосок оттянуть его от любимого окошка, где по вечерам Богоборцев неизменно присутствовал и при этом обыкновенно пел весьма нежным голосом:

— «Вво-об-облаце ле-эхце-э...»

От жары в квартире Богоборцева были заперты ставни. Раскаленный, отвратительный воздух наполнял сени. Прохор Порфирыч вошел в горницу. Хозяин сидел в полуосвещенной комнате около стола и доедал обед.

— А! Приятель! — радостно сказал он.

— Здравствуйте, Егор Матвеич! Кушайте!

Хозяин отодвинул блюдо и почувствовал, что сыт по горло.

— Ффу, батюшки...

— Жарко-с! — говорил Порфирыч, отирая лицо платком...

— Беда! — сказал хозяин.

Начался вялый разговор, поминутно прекращавшийся за отсутствием всяких новостей. Обоюдные усилия хозяина и гостя завязать разговор были напрасны. Наконец ударили к вечерне.

— Э-э-э! — радостно произнес хозяин.— Самоварчик пора. Авдоть! Авдотья-а!..

Ответа не было.

— Что она, никак оглохла?

Хозяин вышел в другую комнату, потом в сени. Порфирыч сел посвободнее, оглянул комнату — на стенах висели рамки с разными редкостями: птица, сделанная из настоящих перьев, наклеенных на бумагу; «отче наш», написанный в виде креста, с копьями по бокам; «верую», в виде пылающего сердца. Только такого рода редкостные вещи интересовали Богоборцева в области искусств. Во всей комнате была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно. Не понимая ее содержания, Богоборцев был глубоко уверен, что теперь таких картин уже нет нигде. Как любителю редкостей, Прохор Порфирыч часто «всучивал» Богобор-

цеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые у Лубкова.

Хозяин возвратился с прежним упорным желанием завязать разговор. Прохор Порфирыч, ужаснувшись предстоявшей каторги, прямо ударил в любимую тему хозяина.

— Как куры, Егор Матвеич? — спросил он.

— Что, брат! Горе мое с этими курами! Главное дело, негде держать!

— Это неловко-с!

Хозяин вынимал из шкафа чайную посуду.

— Курице надобен простор,— говорил он: — а я ее в бане морю... Коли хочешь, пройдемся?

Гость и хозяин пошли. Егор Матвеич прошел двор, нагнувшись под веревкой, протянутой для белья, вошел в сад и направился к бане.

— Негде им разойтись-то! — оборачиваясь, говорил он: — вот!.. Выпусти — украдут!

В темной бане бродило по полу с писком и криком несколько породистых кур и множество цыплят; все это население загомозилось при виде хозяина. Цыплята начали пищать почти не переставая. Один цыпленок забрался на бочку со щелоком и поминутно взмахивал крыльями, опасаясь опрокинуться в пропасть.

— Эко у вас, Егор Матвеич, кочет-то богатый!

— Горлопан-то? о-о-о! он у меня беда. Ка-агда глаза-то продерет, почнет голосить, смерть!.. Кочет бедовый!.. Вот кахетинки меня сконфузили... Цыпляки как есть все зачичкались.

Хозяин подхватил одного цыпленка с полу и вынес к свету.

— Вот. Погляди-кось!

Цыпленок еле раскрывал глаза и чуть-чуть издавал плаксивые звуки.

— С чего же это они?

— Скука! со скуки... тоска!.. взаперти, выпустить боюсь, народ, сам знаешь, какой?

— Это что!..

— Вот то-то! Ну, и грустит!..

Хозяин пустил цыпленка, отворил передбанник и показал породистую индюшку.

— Вот тоже охота у Филипп Львовича! — проговорил Порфирыч, но вдруг был поражен неожиданной переменою, происшедшей в хозяине.

На лице его выразилось презрение. Филипп Львович был тоже охотник и, стало быть, соперник.

— Много вы с твоим Филипп Львовичем в охоте смыслите?.. О-о-хота! Много вы постигаете в охоте-то!..— покраснев, в гневе произнес хозяин.

— Егор Матвеич! — испуганно проговорил совершенно струсивший Порфирыч.— Я это истинно, перед богом упомянул, то есть так...

— Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось! У Филипп Львовича охота!..

— Егор Матвеич! Богом вам божусь, я даже сам *обезживотел* со смеху, когда этот Филипп Львович сказал: «У меня, говорит, охота»... Ей-ей... Так и покатился! Собственно, только для этого и упомянул!

— У него охота!

— Ей-богу... Просто обезживотел! У меня, говорит, охота!.. Так я и покатился!.. Ей-ей!

Прохор Порфирыч оробел.

— Знает ли он,— продолжал хозяин: — что такое охота? Настоящая охота, гляди сюда...

Хозяин для примера взял в руки цыпленка и заговорил с расстановкой, отделяя каждое слово:

— Первое дело порода: это ведь он ни шиша не постигает. Потому, есть курица голландская, и есть курица шампанская...

— Это веррно!

— Погоди! Это рраз! Ежели, храни бог греха, повалят ублюдки, это для охотника что?

Порфирыч молча и испуганно смотрел на хозяина.

— Видишь, вон щепка валяется? Вот что это для охотника!

— Трудно! — сказал Порфирыч, не найдя другого слова.

— Второе дело! — продолжал хозяин: — шампанская курица бурдастая, из сибе король... бурде — во! Понял?

Порфирыч кашлянул и переступил с ноги на ногу...

— Филипп Львович! Чижа паленого смыслит он! Опять, индюшка: ежели в случае ее по башке: тюк! она летит торчмя головой! Но аглицкий петух имеет свой расчет: он сперва клюет землю...

— Егор Матвеич! — вопиял Прохор Порфирыч, чувствуя только, что он виноват: — перед богом, я это упомянул только ради смеху, сейчас умереть! какая же может быть у него охота?

— Болван он! Вот ему цена!

Хозяин бросил цыпленка и вышел.

— Я так и покатился! — говорил Порфирыч, следуя за ним.

Богоборцев не отвечал, хотя и успокоился.

В комнате на столе уже кипел самовар.

Началось долгое и дружное чаепитие.

Через несколько времени Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» Калачову. Прежде нежели войти во двор, он тщательно осмотрел свой костюм, спрятал под жилет концы галстука, растопыренного в разные стороны, «для красоты», и несколько раз откашлянулся. Все это делалось на том основании, что генерал Калачов считался извергом и зверем во всей Растеряевой улице; чиновники пробирались мимо его окон с какою-то поспешностью, ибо им казалось, что генерал «уже вылупил глазищи» и хочет изругать не на живот, а на смерть. Словом, все, от чиновника и семинариста до мастерового, или боялись, или презирали его, но ругали положительно все. Растеряевой улице было известно, что он скоро в гроб вгонит жену, измучил детей и проч. Порфирыч, спасенный генералом от рекрутства, считал обязанностию задаром чинить ему садовые ножницы, разные столярные инструменты и был тоже убежден в его зверстве. Приведя в порядок свой костюм, он осторожно входил в калитку; представление о генерале разных ужасов почему-то подкреплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметенного, этими надписями, начертанными мелом на сырых углах и гласившими: «не сметь» и проч.

Порфирыч встретил генерала на дворе: он торопливо шел из сада с большими ножницами.

— А! — сказал генерал.— Милости просим! — и скрылся в дом.

Порфирыч зашел зачем-то в кухню и потом робко пробрался в комнату.

В маленькой комнатке, с старинною, но чистою и блестевшею мебелью, сидело семейство генерала: около яркого кипевшего самовара сидела дочь с бледным болезненным лицом и равнодушным взглядом; рядом с ней брат, молодой человек, с изморенным лицом, боязливым взглядом и сгорбленной спиной; он как будто прятался

за самовар и нагибал голову к самой чашке. У окна, завернувшись в заячью шубку, грелась на солнце жена генерала, протянув ноги на стул. Лицо ее действительно было полно грусти, болезни и скорби. Она постоянно вздыхала и говорила: «О-ох, господи батюшка!»

При появлении Порфирыча все сказали ему «здравствуй».

— Садись, Проша! — сказал генерал, помещавшийся по другую сторону самовара.

Порфирыч кашлянул и сел. Настала мертвая тишина. Стучали часы, бойко кипел самовар. От самовара и от солнца, ударявшего прямо в окна, в комнате делалось душно. Генерал большой костлявой рукой вытирал огромный запотевший лоб с торчавшими по бокам седыми косицами.

Гробовое молчание. Сын все больше и больше прячется за самовар. Ему понадобилась ложка.

— Ма... Маш...— шепчет он чуть слышно.

— Мм? — спрашивает девушка.

Следуют знаки руками.

— Ло... Лож...

— Что там? — громко спрашивает генерал.

Все замирает. Сын начинает опрометью хлебать чай.

— Нет, это Сеня...— тихо говорит дочь.

Сеня в ужасе вытаращивает на сестру глаза.

— Что ему? — допытывается генерал.— Что тебе?

— Нет-с... это...

— Ты что-то говорил?

— Нет... я...

— А?

— Ничего!..

Сеня высовывает сестре язык.

— Что ж ты нам шепчешь?

— Скат-ти-на! — пригнувшись к самому столу, шепчет Сеня, посылая это приветствие сестре.

Снова мертвое молчание.

Порфирыч как-то и сам привык бояться этого громкого и твердого голоса генерала, если бы даже он говорил самые обыкновенные вещи. В мертвой тишине Порфирыч чуял ежеминутно бурю. Такую же бурю чуяли все.

Генерал начал тереть лоб, словно собираясь что-то сказать, но нерешительность и тревога, вовсе не соответствовавшие его энергическому лицу, останавливали его.

— Пашенька! — наконец мягко произнес он.

Жена вздрогнула; дети тоже.

— Там в саду у нас... вербочка. Она так разрослась, и я думаю... что ее необходимо... срубить...

Жена отчаянно махнула рукой.

— Я знаю, ты ее любишь... но...

— Руби! — нервно и почти визгливо перервала жена.

— Ты, ради бога, не сердись понапрасну... Мне самому ее смертельно жаль... Но я хотел тебе сказать...

— Что мне говорить? — напрягая всю силу горла, заговорила взволнованная жена. — Зарубил одно, захотел!

— Ради бога! Не захотел! Пойми же ты хоть раз в жизни, что я ничего не хочу!.. *Необходимо* срубить... Она задушила у нас две вишни...

Грозное молчание. Жена вся дрожит от новой прихоти мужа, потому что вербочка — ее любимое деревцо.

Прохор Порфирыч подался к двери.

Через несколько времени генерал начал было опять:

— Итак, мой друг, я... принужден...

— Всех руби! — завизжала и закашлялась жена. — Всех режь!..

— Фу т-ты!

Блюдечко с горячим чаем полетело на стол; генерал быстро вышел, хлопнув дверью.

Порфирыч пятился. Жена генерала была близка к истерике, дети были парализованы зверством родителя и сидели с вытаращенными глазами. Тяжесть свинца висела надо всеми.

А «генерал» между тем заперся в своем мастеровом кабинете и, утирая большим костлявым кулаком слезы, думал: «Господи!.. за что же! за что же это?.. Отчего?» — спрашивал, наконец, он вслух... И все-таки он не знал этого «отчего». Надо всем домом, надо всей семьей генерала царило какое-то «недоразумение», вследствие которого всякое искреннее и, главное, действительно благое намерение его, будучи приведено в исполнение, приносило существеннейший вред. В те роковые минуты, когда он допытывался, отчего он безвинно стал врагом своей семьи, он припоминал множество подобных нынешней сцен и ужасался... Горе его в том, что, зная «свою правду», он не знал правды растеряевской... Когда он перед венцом говорил будущей жене: «ты должна быть откровенна и не утаивать от меня ничего, иначе я прогоню тебя или уйду сам», он не знал, что на такую,

в устах жениха необычайную фразу последует следующий комментарий, переданный задушевной приятельнице: «признайся, говорит, зарычал на меня ровно зверь... прогоню, говорит...» Он не знал, что слова его, всегда требовавшие смысла от растеряевской бессмыслицы, еще более бессмыслили ее. Страх, который почувствовала жена генерала перед громким голосом и густыми бровями мужа, она как-то бестолково передала детям. Если, например, случалось, сидела она с ребенком и вертела перед ним блюдечком, то при звуках мужниных шагов считала какою-то обязанностью украдкой бросать блюдце и вертеть ложкой. «Ты что-то бросила?» — говорил муж. «Господи! вовсе я ничего не бросала».— «Я видел, что ты бросила что-то! Зачем же ты утаиваешь? Отчего ты не хочешь сказать мне?» — «Господи, да вовсе я ничего не бросала!» — «Я сам видел». Муж, рассерженный ложью, сердито хлопал дверью. «Господи,— рассказывала жена приятельнице,— пришел, наорал, накричал, изругал... как какую самую последнюю... и за что? Ей-богу, только что вот этак-то блюдцем с Сеней играла... Господи, пошли ты мне смерть». Дети, устрашенные ужасом сцен, происходивших при появлении родителя, привыкли видеть в нем лютого зверя и врага матери. От «папеньки» старались прятаться, потихоньку думать, потихоньку делать и проч.

Так и пошло дело. Страх въедался в детей, рос, рос; бестолковщина растеряевских нравов, намеревавшихся идти по прадедовским следам не думавши, запуталась в постоянных понуканиях жить сколько-нибудь рассуждая. Растеряева улица, для того чтобы существовать так, как существует она теперь, требовала полной неподвижности во всем: на то она и «Растеряева» улица. Поставленная годами в трудные и горькие обстоятельства, сама она позабыла, что такое счастье. Честному, разумному счастью здесь места не было.

Не имея охоты оставаться в чайной, Порфирыч потихоньку спустился вниз, где были устроены две комнаты для детей. У маленького продолговатого окна стояла дочь генерала с лицом, убитым какою-то тупою ненавистью. Яркое вечернее небо так приветно сияло перед ней, и чем больше прелести прибавлялось в нем, тем тупее, злее делалось лицо девушки, потому что бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивала эту, посылаемую небом, ласку.

— Семен! — нетерпеливо и раздраженно заговорила она: — отдай мою книгу... я читаю... Отдай!

Семен лежа держал в руках книгу, бегал глазами по строкам и не видел ничего, подавленный тою же, висевшею надо всем домом, тупою тоской...

— Отдай мою книгу-у! Семен!

Книга с шумом летит в угол.

— Свинья!

— Скатина!..

Прохор Порфирыч потихоньку поднялся с дивана и ушел. На дворе он увидел генерала, который вытащил из сада и молча бросил под сарай срубленную вербу.

Очутившись за воротами, Порфирыч вздохнул свободнее, снова выпустил и растопырил концы галстука и весело тронулся в путь, намереваясь сделать еще один визит, столько же веселый, сколько и необходимый в видах расчета.

Стоял душный летний вечер; скромные обыватели переулков, по которым шел он, не зажигали огней и все «высыпали» за ворота или высунулись в окна, полураздетые от духоты. В открытое окно из неосвещенной комнаты доносились звуки гитары, и кто-то пел:

Н-не ад-дной ли мы природы
С ттабой, Фе-ня, раждены?

Становилось темнее и свежее.

Прохор Порфирыч стоял под окном маленького домика, выходившего окнами на площадь, носившую название «плац-парада»: обыкновенно здесь происходят разного рода военные упражнения гарнизонных солдат; окно, с большим косяком кумачу в виде занавески, было открыто. Перед ним сидела девица с папироской и с необыкновенно аляповатой грудью, подпиравшей в подбородок. Распространяя вокруг себя удушливый запах душистого мыла и розового масла, девица едва касалась губами папироски и пискливо говорила Порфирычу:

— Вы бы его привели сюда.

— Пом-милуйте, Таиса Семеновна! Тогда для них не будет этого, так сказать, рвения... Капитон Иваныч не такой человек. Им много будет приятнее, когда ежели в случае, тайно!

Девица улыбнулась.

— Именно правда! — подтвердила изнутри комнат «тетенька».— Для мужчины первое дело, не подавай виду! Особливо из купеческого сословия, он готов, кажется, себя заложить.

— Да как же-с! дело известное! Он в ту пору, то есть в случае интерес... Он тут голову прошибет, а уж доберется. По этому случаю, Таиса Семеновна, вы с Капитон Иванычем обойдитесь строго!.. «Эт-то что такое? Как вы осмеливаетесь?», а потом маленичко сдайтесь: «А конечно, мол, я точно без памяти от вашей красоты...» Ну, и прочее...

— Именно правда! — прибавила тетка.— Дай тебе господи за это всякого счастия!.. Как ты нам от души, так и мы тебе.

— Я истинно только из одного, что вижу я вашу доброту...

— И господь тебя не оставит... Это все зачтется.

— Я так думаю!

Тетенька удалилась в другую комнату; Прохор Порфирыч облокотился на подоконник и покуривал папироску, пуская дым в сторону, для чего всякий раз поворачивал голову назад. Разговор принял более умозрительное направление: толковали о том, кто вероломнее. Девица доказывала против «мускова полу», Порфирыч выводил начистоту «женскую часть».

В другой комнате послышалось бульканье наливаемой жидкости.

— Тетенька! — сказала девица.— Хоть бы вы чуточку подождали... Ну, приедет кто?..

— Я каплю одну. Да опять и так думаю, пожалуй, что никто и не приедет, время постное.

Заскрипела кровать; тетенька легла спать.

— О-о, господи-батюшка,— шептала она, изредка икая...— сохрани и помилуй нас!

В это время к дому с грохотом подкатила пролетка, и с нее свалилось на землю три человека.

Послышалось непонятное мычанье.

— Тетенька! гости! — вскрикнула девица, подлетая к зеркалу и оправляя волоса.— Запирайте ставни.

IV. СУББОТА

В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает: в домах идет суетня с мытьем полов и обметаньем потолков, молотки на фабрике валяют

с особенной торопливостью, на улице заметно более движения. Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка подрумяненная густым колокольным звоном да огромными пирогами, густо намасленными маслом. У генерала Калачова топят баню вскладчину — кто дрова, кто воду; вследствие этого через улицу бегают девки, кучера, солдаты с водоносами, ушатами. В бане, по причине стечения множества субъектов обоего пола, идут веселые разговоры. Между вкладчиками, людьми благородными, вследствие разных «амбиций» происходят стычки за первенство обладания баней прямо после выхода генерала. Случаются поэтому ссоры.

Часов с шести вечера оживление еще приметней. Вместе с трезвоном колоколов поднимается стук дрожек и пролеток, развозящих по церквам православных христиан. Торопливо возвращаются с фабрик работницы, женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изредка они останавливаются, становят ногу на тумбу и поправляются с своей ношей, подталкивая ее коленом. На фабриках идут расчеты.

В огромной комнате с низкими сводами столпился рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут расчета. И странное дело: как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах, столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда, наконец, настает самая минута расчета и хозяин принимается громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ежатся к задней стене; иные, закрывая глаза и заслонившись расчетной книжкой, каким-то испуганным шепотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: «Самойл Иваныч!.. ради господа бога! Сичас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..» Другие, рассматривая книжки один у одного, фыркают и исчезают в толпе.

— Пожалуйте лащет! — произносит мальчишка лет десяти, в синей рубахе, босиком, с растопыренными волосами.

Хозяин удивленно взглядывает на него через очки и обращается к приказчику:

— Это что ж такое? Откуда он?

— Да я, признаться, Самойл Иваныч,— говорит приказчик, тронув шею и складывая руки назади: — признаться сказать, в эфтим не могу вас удостоверить... то есть откуда он взялся.

— Давно ли он?

— Да боле, пожалуй, недели... Эт-та, ежели изволите вспомнить, на прошедшей неделе хлеб у нас ссыпали... Ну, я обнакновенно в сарае-с! хлопоты... Вижу, стоит посередь двора вот этот самый кавалер... Я, признаться, крикнул ему: «будет, мол, тебе башку-то чесать, иди помогай!..» Н-ну, он и стал... Дали ему потом в кухне поесть... Так вот и того... кое-что помочи дает-с...

— Пожалуйте лащет! — настоятельно повторил мальчик.

— Тебя кто это научил расчету-то просить?

— Большие научили...

— Большие? Ну, это они для смеху.

В толпе смеются, мальчишка молчит...

— Мать-то есть у тебя? — спросил хозяин.

— Нету, я теткин.

— Стало быть, от тетки родился?

Раздался дружный смех толпы, и сам хозяин весело закряхтел от своего смешного вопроса. Мальчишка в первый раз задумался над своим происхождением.

— Что ж ты у тетки-то делал?

— Побирались...

— Где ж она теперь?

— Она упала... ушиблась, в больницу увезли...

Все молчали.

— Как же теперича его считать? — спросил хозяин у приказчика.

— Да так, я полагаю, считать, что, собственно, приблудный-с... на этом счету его и оставить... Бог с ним — пущай... Куда ему?

Хозяин подумал.

— Все, я чай, приставу надо сказаться?

— Н-н-ет-с!.. Я так полагаю, господь с ним... Пущай его. Все что-нибудь в хозяйстве поможет... Бог даст, вырастет, получит свое понятие, тогда уже его дело-с... а может, и еще кто из «своих» сыщется.

Хозяин дал мальчугану гривенник. Тот бросился ему

в ноги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться: лбом, локтями, коленками...

Толпы рабочих, выходя из ворот фабрики, разделялись на партии: одни шли прямо в кабак, другие сначала в баню и потом в кабак. Бани полны народом; вся река покрыта телами купающихся; в купальнях идет гам, крик, хохот; народу тьма, от большинства отдает водкой; все это норовит забраться «под самый перемет» купальни и оттуда нырнуть в воду. Берег реки около бань запружен купающимися. Черные фигуры мастеровых торопливо срывают с плеч чуйки, рубашки; слышен говор, смех.

— Ну-ко, господи благослови! — говорит мастеровой и с разбегу летит в воду, откинув напряжением ноги большой кусок земли от берега; вытянутыми вперед руками он врезывается в воду почти вертикально — и исчезает, взболтнув ногами...

— Нырок! — говорит кто-то...

Мастеровой выныряет среди реки и принимается отмеривать саженями, взмахивая головой в сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшие лицо волосы.

Дальше за банями, где берег уложен высокими стенами навоза, в мутных лужах полощутся мещанские девицы, опасаясь на аршин отделиться от берега, так как платье их может быть ежеминутно похищено разного рода юношами. Какая-то смелая баба, с головой, обвязанной платком, решается выплыть из лужи на реку.

— Ха-а, ха-а, ха-а! — грозно вскрикивает мастеровой и пускается за ней вдогонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба в испуге поворачивается назад, взбивая ногами целые фонтаны.

На Большой улице с шумом железных засовов запираются лавки; мастеровые с работами рыщут от одной лавки к другой. Новые времена, отозвавшиеся в торговле, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «христа ради!»

В ярко освещенной лавке стальных изделий сидит на диване молодой хозяйский сын в пестрых брюках; у прилавка, с ящиками разных стальных мелочей, стоит приказчик. Тут же, в качестве посетителя, присутствует лакей, держа под мышкой целый узел разного оружия.

— Так уж я так барину и передам-с, — говорит он.

— Так и скажи,— говорит хозяин.

— Конечно, мне какое дело, мне приказано: скажи, говорит, ему (вам-то), что у меня этого оружия в избытке... Я так вам и передаю... хоть достоверно понимаю, что у них этого избытку не токмо в оружии...

Лакей шепчет.

— То-то и есть! — говорит хозяин.

— Верите ли? — многозначительно произносит лакей, скрестив руки.

— Ихнее дело прошло-о!

— Это как есть!.. Я теперь вижу, к чему идет-с... Теперь попрет купечество... вот-с! Оно теперича еще не очувствовалось как следует. Дай ему обглядеться, ббеда! Оно теперь робеет... Вот я вам скажу,— один купец купил у нашего барина коляску... а ездить-то боится... Еще робеют-с!

— Капитон Иваныч! — громко произносит мастеровой, появляясь на пороге лавки.— Отец! Что же мне, околевать, что ли, на улице-то?

— Черти! Что у меня, бык, что ли, с позволения сказать, отелился? Из-за чего я должен разоряться? Ну, купи ты у меня! Видел товару-то? Ну, купи!

— Куда ж это деваться мне теперь?

Хозяин молчал.

— Толкнись к Шишкину... Аль уж, в самом деле, у меня монетный завод? Только и прут, что ко мне... Ступай!

Мастеровой уходит, отчаянно тряхнув головой...

В отворенные двери лавки видно еще несколько мрачных фигур, медленно лавирующих мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «Как тут быть, а?», «Дух вон,— хлеба не на что купить». «Ну, время!..»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товар его завернут в платок и засунут в рукав, а рукав, в свою очередь, засунут в карман, так что все-таки Прохор Порфирыч ничуть не теряет благородного вида. Неумелые в современных разговорах мастеровые обступают его со всех сторон; слышны просьбы, какие-то клятвы, «за что ни отдать».

— Я, ребята, обещания вам не даю,— говорит чрез несколько времени Порфирыч,— а попытать попытаю.

— Отец!

— Погодите, друзья; сами вы разочтите, какая в этом деле нужна словесность... раз! Окроме того, должен я

под него, ирода, подводить махину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дело это, приятели, нелегкое... По этому случаю я уж с вас, ангелы, по полтинничку получу...

— Гряби! Хоть бы мало-мало... Палтинник! Гряби смело!

— То-то... Ну-кось, вали сюда!

Пять пистолетов падают в расставленный платок.

— Ну,— говорит, улыбаясь, Порфирыч: — творите молитву!

И чинно входит в лавку...

— Мое почтение! — провозглашает хозяин.

— Все ли в добром здоровье? — произносит Порфирыч, почтительно снимая картуз.

Хозяин почему-то таинственно прищуривает один глаз. Порфирыч утвердительно кивает головой. Между ними, очевидно, какое-то тайное дело.

— Так уж вы так вашему барину и доложите, что, мол, у нас у самих товару некуда девать... Опять же, это ихнее оружие не по нас, нам в теперешнее время нужна вещь грошовая, ярмарочная.

— Это само собой...

— Вот что-с! Нам теперича нужна вещь, лишь бы кое-как сляпана... Убьешь — хорошо; не убьешь — еще того лучше: зачем бить?

— Именно, правда ваша! — подтвердил лакей.— Я так вам докладываю: мое дело — исполняй: приказано сказать «от избытка», я исполняю, но достоверно знаю, что не токма...

Следует шептание: хозяин поддакивает, издавая какие-то звуки вроде: «гм... гм...» или: «д-да! во-от!» и проч.

— До приятного свидания,— заключает лакей.

— Будьте здоровы!

Лакей уходит. Лицо Порфирыча превращается в радостную улыбку...

— Ну? — спрашивает строго и любезно хозяин, отводя его в сторону.

— Готово-с!

— Врешь, мошенник!

— Сейчас умереть!.. Я вам, Капитон Иваныч, такую девицу разыскал, истинно пшено! Провалиться!

— Прохор! Я тебя убью!

— Как вам угодно! Это именно уж сам бог вам помогает...

— Ежели ты в случае врешь,— сейчас умереть, так и разнесу!

— Что угодно! Я ей, Капитон Иваныч, так говорю: Таинька! Вы их любите? Вас то есть!..

— Ну?

— «Даже, говорит, до бесчувствия влюблена...» А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостоверить Капитона Иваныча в полном размере...

— Ну?

— «Мне, говорит, стыдно; пущай, говорит, они меня сами вовлекут...»

— Первое дело!

— Н-ну-с; по этому случаю завтрашнего числа назначено вам быть в рощу... там дело ваше! Главная причина, маменька их очень строга, а насчет Таисы — вполне готова! Можно сказать одно: влюблена!

— А ежели врешь?

— Как вам угодно! Я подвел дело. Теперь трафьте сами...

— Я натрафлю!.. Верно ты говоришь?

— Издохнуть на месте! У меня, слава богу, одна спина-то...

Приятное молчание.

— Ну, Капитон Иваныч,— затягивает Прохор Порфирыч: — с вас тоже магарычу надо будет получить...

В дверях мелькают нетерпеливые фигуры рабочих. Порфирыч грозит кулаком; фигуры исчезают.

— Какой же это магарыч тебе? любопытно!

— Я много не прошу... Нам бы только как-никак перебиться... На вас вся надежда...

Порфирыч не торопясь вытаскивает свой револьвер.

— Ах т-ты, идол эдакой, подо что подвел! Небось опять красную?

— Да уж что делать!

— Клади! Погоди, я тебя и сам подсижу!

— А вот эти рублика по четыре, что ли...

Следует развязывание узла.

— Неси-неси-неси-и-и-и!..

— Капитон Иваныч! Что ж это вы говорите?.. Ради субботы-то хоть снизойдите! Ведь посмотрите вы на эту лузгу, издыхают! А вам все годится... Четыре целковых! он в работе шесть стоит... Это я вам истинную правду говорю... Капитон Иваныч?..

— Клади! Пес с тобой!

Прохор Порфирыч получает деньги и, отделив себе что следует и даже что вовсе не следует, собирается уйти.

— Погоди,— говорит хозяин: — мы с тобой, того...

— Слушаю-с, я сию минуту...

Радостно приветствуют своего избавителя неумелые люди. И потом так рассуждают:

— Экой у этого Прохора ум, братцы мои!

— Чего это?

— Я говорю, у Прохора ума: страсть!

— О-о! У него ума страсть!

Мастеровые медленно разбредаются в разные стороны.

— Прощай!

— Прощай! до свидания... Ты куда?

— Домой. А ты?

— Я-то? Я, брат, домой... довольно!

Но медленность в походке, остановки и размышления над трехрублевой бумажкой, совершающиеся на каждых двух шагах, весьма ясно рисуют борьбу добра и зла, происходящую в душе мастеровых. При этом добро является в фигуре развалённой избы, в которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупицы радости, настоятельно необходимой в настоящую минуту; а зло — в форме кабака, где означенная бумажка может сделать чудеса.

Мастеровой делает еще два медленных шага, зло преодолевает, шаги принимают совершенно обратное направление... и скоро только что расставшиеся приятели с громким смехом встречаются у стойки кабака «Канавки».

К ночи над городом нависла большая туча, и пошел тихий теплый летний дождь... Улицы были совершенно пустынны; нигде ни огонька; ярко горели только кабаки и харчевни. В «Канавке» были растворены окна; из них, вместе с криками и звоном стекла, лились на улицу яркие полосы света и удушливый воздух, раскаленный плитою, на которой клокотали пятикопеечные пироги и селянки; в отдаленной комнате неистово играла шарманка, и огромный бубен ежеминутно и как-то тяжело охал под напором ядреного пальца севастопольского героя. Ближе, среди хохота, раздававшегося с неудержимою силою,

по временам шло пение. Какой-то тощий портной, оцивилизовавший свой почти прародительский костюм разорванным до воротника сюртуком, пел песенку про *вольника*[1], приправляя ее некоторыми жестами. Прежде всего он сделал грустную физиономию, изображая собой старуху, мать вольника, прижал руку к щеке и, всхлипывая, тянул:

Да и что-о же ты, ди-и-тятко...
Будешь тама наси-и-ти?..

Тут певец вдруг встрепенулся и с отчаянным ухарством и присядкой торопливо запел:

Мма-минька — сертучки,— ох!
Сударынька — сертучки,— ох!

Пусс-кай сертучки-и!..
Ну что ж? сертучки-и!
Носить буд-ду серртучки-и!

Прохор Порфирыч, щедро упитанный Капитоном Иванычем, нетвердыми шагами возвращался домой и, вследствие непроходимой грязи, растворившейся в Растеряевой улице, поминутно поскользался на глинистой тропинке и хватался рукой за забор.

— Эт-то кто такой?..— вскрикнул он, натыкаясь на что-то живое...

— Да что, друг, шапки никак не сыщу...

— Кто ты такой?

— Я, брат, не здешний. Никак, провалиться, не сыщу этого демона, шапки...

— Что же ты, леший, безо время шатаешься?

— Ды все, друг, теплого места ищу, которое ежели бы место, иной раз, сухое...

— Смотри, не попади в теплое-то!

— Я сам, братец, так полагаю... Надо быть, попадешь... во-во-во... Ах ты, анафема! вот она, шельма... ишь! Запотела!

Раздается хлясканье об забор мокрой шапкой...

Прохор Порфирыч пробирается далее... Усилившийся, но такой же тихий дождик чуть-чуть шумит в листьях дерев.

Совсем темно.

---

[1] Человек, охотой идущий в солдаты.

У одних ворот возится с лошадью пьяный извозчик; в темноте он растерял вожжи; лошадь переступила через оглоблю и, подаваясь назад, подвернула передние колеса под дырявые и изломанные дрожки, которые вследствие этого свалились набок.

— Тпрр... Тпр! — ласково говорит извозчик, засев по колено в грязь и отыскивая во тьме лошадиную морду.— Тпрррю... Трр... Нич-чего!.. Трр... Милая!

Прохор Порфирыч, видя беспомощное положение хмельного человека, хотел было сначала посоветовать ему: постучись, мол. Хотел потом сам постучаться, но раздумал... «Шут их возьми!» И заключил размышлениями о том, какой человек свинья, ибо завсегда рад облопаться и насчет водки не имеет меры...

Извозчик все копошился в грязи. Лошадь поминутно шлепала в грязь переступившею ногою. Дрожки скрипели.

В непроницаемо темных сенях избы Прохора Порфирыча стояла Глафира и подмастерье. От Кривоногова отдавало вином.

— ...Это разве возможно,— шептал он над самым ухом Глафиры: — извольте послушать. «Хочу в маскарад, ты пьяница, немытая мочалка, вонючая рогожа».— «Я?» — «Ты...» — «Изволь! Ступай с богом».— «В лучшем костюме!» — «Сделайте вашу милость...» — «Я благородная! ты харя!» — «Как вам будет угодно: на бал — на бал, харя — харя! как ваша душа желает...» Дверью хлоп, ушла... Потом, того, слышу, с офицерами... Доброго здоровья!.. Это как же?

Вопросительное молчание. Глафира вздыхает.

— Или,— говорит Кривоногов снова: — как вам покажется... Повенчались мы с ней; все как следует: гости, шанпанское (околеть, было-с!). Отходим в спальню: как есть муж и жена... Я... Ну, она же, например: «Прочь отсюда... тварь!..» Благородно? Или как по-вашему?..

Опять молчание.

— Ну, и валялся, как пес, у порога... «Вон отсюда!» И уйдешь в кухню... Это жизнь?

Шум дождя начинал слышаться яснее среди безмолвия улицы. Около повалившихся дрожек и спутавшейся лошади возился другой извозчик, уже сам хозяин квартиры и лошади, с фонарем в руках. Он сердито дергал лошадь за узду и злобно кричал: «Ног-гу! н-но!» Слышалось ярое хлясканье кнутом об лошадиную морду.

Лошадь билась. Извозчик торопливо и сердито бормотал:

— Прр-апоица!.. Мало ты учен?.. Жживотное! Н-но!

И снова свист кнута...

— Кум! — глухо говорил пьяный извозчик, скрывшись где-то в темноте.

— Право, ненасытная утроба!.. Как ни бьется, как ни бьется, а уж к ночи готов! Па-адлец ты эдакой!..

— Кум! — сонно бормотал пьяный.

Извозчик с фонарем молча возился около дрожек. Сальный огарок в фонаре разливал тусклый свет на небольшое расстояние кругом, отчего три большие осины, кучей столпившиеся за забором и слегка освещенные снизу, уходили в темноту своими вершинами и казались бесконечными.

Отворив окно, Прохор Порфирыч присел к окну с папироской; хмельная голова его клонилась на грудь. С крыши лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадушку.

— Господи! — шептал Порфирыч.— Сохрани и помилуй рррa-ба твоего!

Лил дождь.

— Ка-арра-у-у-ул! — бушевало где-то далеко.

V. ИДУТ ДНИ И ГОДЫ

«...Горе по горю»,— говорит пословица, а стало быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия изменяются сообразно временам года: вот отошли ясные, свежие, осенние дни, поднялись со всех концов неба сизые тучи, заморосил нескончаемый осенний дождь — подошла глубокая осень. Растворилась грязь, настала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска. Ежатся голуби под князьком крыши, пряча носы в перья, и встряхивают в студеных просонках мокрыми крыльями. Ежатся обыватели и устами старух говорят: «Господи! хоть бы зима поскорей!..»

Но вот начались крепкие утренние заморозки; подошел Варварин день, и повалил пухлый, рыхлый снег. В одну неделю покрыл он и улицу, и крыши, и верхушки заборов нежным и рыхлым снежным пологом, из-под которого, словно лица мертвецов из-под савана, смотрят черные, гнилые, полуразрушенные растеряевские лачужки. Ударил мороз, повисли на крышах сосульки, по-

неслись ледянки, зашумела метель и завыла по-волчьи в развалившейся трубе.

— Эка стыдь, эка стыдь! — твердят старухи, кутаясь на холодной печи.— И когда это только весна придет!..

А тут, глядь-поглядь, и весна: вдоль всей улицы с шумом несутся потоки, унося с собою, в какую-то неизвестную сторону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушения не производит, однако, того мертвящего впечатления, какое бывает осенью. Теплые, блестящие, греющие лучи солнца, воздух, окрашенный золотом этих небесных лучей, зовут жить. Без умолку трещат воробьи, громко, хоть и устало, каркают отощалые вороны; насильно выпихнутая из закуты корова, еле передвигая ноги, выползла на средину улицы; да так и закоченела под благодатными солнечными лучами; по целым часам не ворохнется она ни одним членом; впалые бока ее, подставленные солнцу, чуть колышутся едва приметным дыханием; глаза тупо смотрят в одну точку. Иногда, разогретая теплом солнечных лучей, она медленно подгибает колени и валится боком на теплую и мокрую землю, испустив глубокий вздох. Галки и вороны бодро разгуливают по ее дымящейся спине, поклевывая в нее острыми носами, но счастливое в эту минуту животное не замечает обиды.

Подошла страстная неделя. Громко загудел звучный колокол, а игривый ветер разнес эти звуки по окрестности.

В эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идут все теплей и ярче. В яркой зелени дерев исчезли черные вороньи гнезда; под заборами и посреди улицы пролегли извилистые, крепко протоптанные тропинки; солнце начинает припекать.

— Вот и лето! — говорит обыватель, и сказать по совести, говорит не без тайного ужаса, потому что впереди, в неизвестном количестве будущих годов, видится ему то же тоскливое ожидание проливных дождей, вьюг и метелей.

И опять все то же!

То же и в жизни. Правда, между постоянной борьбой с нуждой и ежеминутными отдыхами от нее в кабаке в наших нравах бывают минуты, когда несчастным растеряевцам удается «отчунеть», то есть когда в отуманенные головы гостем вступает здравый рассудок, но

область, над которою хозяйничает этот рассудок, так мала, что об ней можно говорить только между прочим, хотя, по-видимому, рассудку есть над чем поработать: в эти минуты весь мир божий, от понимания тайн и красот которого растеряевец почти отвык, является множеством неразрешаемых вопросов. В эту пору ново все, что ни попадается на глаза. Между тем крошечные минуты «отчунения» — плохой помощник в таком множестве запутанных дел... Убитый обыватель наш в ужасе успевает только схватиться за свою разбитую голову и, не устояв под напором нахлынувшей на него тоски, спешит снова успокоиться в том же властительном кабаке. Не обладая способностью изображать всю трагичность этих коротких минут, я, тем не менее, буду продолжать мой рассказ о Растеряевой улице, удерживаясь *по возможности* в области деяний, совершающихся в трезвом уме и здравом рассудке, хотя и не ручаюсь за то, что желание это может быть осуществлено. Трудно не «пить» в Растеряевой улице. Впрочем, мы познакомимся и не с пьяницами только.

Оставим на время Прохора Порфирыча,— он живет так, как жил и прежде,— и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных» личностях. Первое место между ними, без сомнения, принадлежит растеряевскому «и иных мест», то есть иных переулков и закоулков «растеряевской окру́ги», известному врачу, или, как он сам себя называет, «медику» — Ивану Алексееву Хрипушину. О нем мы теперь и поведем речь.

VI. «МЕДИК» ХРИПУШИН

Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в растеряевской окру́ге (и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Будучи человеком талантливым, он не только умел избежать общей участи наших доморощенных талантов, то есть одиночества и беззащитности, но, напротив, постоянно внушал к себе уважение и даже страх. В объяснение этого должно сказать и то, что он ни в чем не следовал примеру наших доморощенных талантов: он не выдумывал perpetuum mobile, не ломал головы над устройством какой-нибудь хитрой машины, из-за которой забываются жена и дети и которая оказывается уже выду-

манною. Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще: ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке.

Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одною из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. Отроду никто не видывал более убийственного лица. Представьте себе большую круглую, как глобус, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени крепкими и глазами, сверкавшими таким металлическим блеском, что при взгляде на него непременно являлось в воображении что-то железное, литое, что-то вроде пушки, даже заряженной пушки. Эта кованая физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький,как пуговица, нос и выпуклости щек были разрисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии завершался огненного цвета усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи.

Все другие достоинства Хрипушина терялись перед громадностию впечатления его физиономии и служили только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась, между прочим, и медицина, которая никогда бы не получила у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин.

Все, что только способно произвести такой эффект, какой производит на детей сказка о жар-птице, все было тщательно собрано им и в разное время заявлено пациентам: рассказаны были случаи с лягушкой, засевшей какими-то судьбами под череп одной купчихи и искусно вырезанной оттуда доктором-мужиком, и т. п. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента, было всегда так велико, что никакая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ивана Алексеича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне до-

стойна его таланта. Он начинал, по обыкновению, сыздалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексеич, с прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дело и снова на средине фразы восклицал:

— Да вы, Иван Иваныч, лучше всего вот как... Вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать — всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку?.. Ей-богу! Всё авось почитаете...

— Ну что ж, сделай милость!

Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил:

— И во сто раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная и (прибавлял он шепотом) строго запрещена.

— Э-э?

— Да-с! Следят-с, и даже весьма опасно... так что ежели в случае чего, боже избави...

— Бог с ней с книгой! — говорил, махнув рукой, пациент,— попадешься еще... Ну ее! Не носи!

— Как вам будет угодно!

— Нет, нет!

— Ну, как угодно... До приятного свидания!

Таким образом Хрипушин выходил сух из воды.

Между множеством черт, усиливавших влияние Ивана Алексеича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, иронически и зло подтрунивая над своею солдатскою шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и неимоверные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеич знал решительно все; но полное торжество высокопросвещенного человека Иван Алексеевич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главною те-

мою для этих состязаний было священное писание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовию вспоминает свою семинарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герминевтику, гомилетику и проч. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаний; они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только: «альфа, вита, гамма», а из герминевтики и из гомилетики только одни названия наук... С такими учеными Хрипушин мог справляться сразу, несмотря на то, что, при всей скудости оставшихся знаний, они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особливо под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистового оранья песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника, Хрипушин нарочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех:

— Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

— Иван Алексеич! Позвольте!..

— Не могу! Опровергну!

— Пей!

Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли споить никакие попойки, говорил уже один, и непременно тоном победителя.

— Эх, вы! — говорил он, покачиваясь над бесчувственными собратиями,— спорить! Да имеешь ли ты столько ума, чучело?

На пациентов женского пола, с которыми ни о каких науках говорить было невозможно, Хрипушин действовал более осязательною таинственностью. Так, входя, он имел обыкновение бросать фуражку в угол и затем с мрачной физиономией говорил:

— Здравия желаю!

— Иван Алексеич! зачем вы шапку бросаете?..

— Оставьте без внимания,— мрачно говорил Хрипушин.— Это мое дело... Как ваше здоровье?

— Иван Алексеич, батюшка, возьми шапку на окно: право, душа не на месте!

— Сделайте ваше одолжение, не заботьтесь! это дело мое-с... и взять я ее оттуда не могу... Успокойтесь!

К довершению ужаса, Иван Алексеич, знавший, что пациентка следит с напряженным вниманием за каждым движением его, начинал пристально смотреть своими огромными глазами в угол, шевелил усами, едва заметно качал головой и принимался грозить пальцем...

— Батюшка! Голубчик! — вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукав...— Оставь! Брось... Ради христа! не мучь!

— Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-с?

— Будет, будет, ради христа!..

— Не беспокойтесь! — улыбаясь, говорил Хрипушин.— Вреда никакого нету... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вот что... вы позвольте мне хоть двадцать пять копеек: сварю я вам одну специю...

Но как при такой неисходной таинственности, окружавшей непроницаемым мраком происхождение Хрипушина и историю его жизни, как, повторяю, при всем этом не возбудить подозрения хотя бы просто-напросто «в беспаспортности» и не попасть вследствие этого в квартал? Хрипушин глубоко понимал это и для охранения своей особы от беспокойств и лишений, причиняемых кварталом, сумел заставить полюбить себя, как родню, необыкновенно умную, но загнанную и заброшенную силу, которую не понимает никто, которую всякий может обидеть и засадить в острог. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих попов. С целью достигнуть этой любви, Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописанный фурор... С каким удивительным искусством передал он подвиги солдата Кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии! Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат, для того чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала,— без конца! В обыкновенное, мирное время Иван Алексеич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные. В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили сто миллионов тому, кто «с одного маху» нарисует вот эдакую штуку... И что же! Ни один из народов не мог этого сделать... Взялись «наши» — и в одну минуту! От миллионов наши, конечно, отказались и попросили полштоф вина и фунт паюсной икры. По-

том, благодаря Хрипушину, растеряевцам было известно, что те же англичане предложили двести миллионов тому, кто год пролежит на одном месте; наши опять взялись — и пролежали втрое более назначенного англичанами срока... Рассказы в таком роде тянулись до тех пор, пока слушатели-пациенты вполне не убеждались в превосходстве нашего народа над всеми народами мира. Когда это было достигнуто, Хрипушин тотчас же принимал унылый вид и с грустью говорил:

— А как у нас этаких-то людей ценят? стыдно подумать! стыд! срам!..

И затем начинались доказательства: тут упоминалось и о трех денежках в сутки, и об участи изобретателей разных секретов, о механиках-самоучках и т. п. Затем Хрипушин находил удобным выдвинуть на сцену, наконец, и себя:

— Да, вот,— кротко говорил он,— хоть бы и мое дело... Слава богу, пятнадцать али больше годов пользую публику и никогда от нее неудовольствия не видал, а между прочим, позвольте вас спросить, какое же я себе награждение вижу?.. Шинелишка-то эта да фуражка? — это, что ль? Да ведь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича, случается, иной раз не евши сутки двое проходишь; ну, а как старость-то придет, тогда как?

При этом Хрипушин вынимал из обшлага рукава скомканный в кулак и изодранный клетчатый платок, торопливо утирал нос и слегка касался глаз, на которых показывались слезы. Благодаря частому морганью заблиставших слезами глаз и в особенности благодаря скомканному, рваному клетчатому платку, Хрипушин приобретал полное сочувствие публики.

— А случись доктор какой-нибудь, будь на моем месте немец? И людей бы морил и миллионщиком бы сделался!

— Это верно! — подтверждали слушатели.

— Да уж я вам говорю! А что же он, будьте так добры, особенного-то имеет? Знаем-то мы, пожалуй, и почище его кое-что... Ну, а еще-то чем берет? Н-нет-с, у нас своих не ценят ни в грош! Немцы-с! ученые-с! как можно, чтобы, мол, какой-нибудь Иван Хрипушин с ним поравнялся!.. А Иван-то Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался... А как вы полагаете?.. Да я вот что скажу: насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел...

Рассказав несколько действительно изумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал:

— А ну-кось, немец-то?.. Что он тут выдумает? Язык смотреть? Э-ге, брат!.. Окроме языка еще много чего есть... Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку... Язык! Нет, ты попробуй этак-то, когда тебе ничего не показывают, тогда я с тобой поговорю!

Хрипушин выпивал вторично и прибавлял:

— А наш брат все без хлеба, все середь улицы валяется!..

Таким образом, при помощи своих познаний, Иван Алексеич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверены, а с раскольницей-женой, от которой ему не было житья ни днем, ни ночью. Можно не ошибаясь сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиною того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию. В доме супруги он делался агнцем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитить свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.

Ко всему этому мне остается прибавить немного. Костюм Хрипушина был: солдатская старая шинель, с разнокалиберными пуговицами и воротником, затянутым до невозможности. На голове он носил фуражку, внутри которой помещался платок. Насчет способа лечения должно сказать, что Иван Алексеич избирал средства преимущественно радикальные: у одного чиновника, например, с детства сидел в ухе кусок грифеля,— Иван Алексеич предложил ему стать вверх ногами. Один из пациентов его надорвал живот,— Хрипушин брал больного на плечи и, держа за ноги, встряхивал несколько раз. Вообще деятельность Хрипушина была велика и разнообразна, и количество знакомых большое.

VII. ХРИПУШИН ИЩЕТ РЮМОЧКИ

Идет Хрипушин по глухому Томилинскому переулку, одному из бесчисленных переулков «растеряевской окру́ги», и раздумывает, где бы ему выпить рюмочку и закусить икоркой? Кругом стоит полуденная тишина и зной. Где-то, в отдалении, среди густых фруктовых садов скрипят одним кольцом качели; в стороне слышится удар лодыжкой в забор, и вслед за тем детский голос кричит: «плоцка!», «шестёр!» Звук шагов, раздавшийся под окном у мастерской сапожника, заставил хозяина, сидевшего за работой, поднять голову и засвидетельствовать Ивану Алексеичу почтение.

— Здравствуй, здравствуй, друг! — говорил Хрипушин, трогая фуражку: — как бог носит?

— Ничего, Иван Алексеич! Помаленьку... День без хлеба, два дни так... Хе-хе-хе!

— Доброе дело! Ну, будьте здоровы!

— Счастливо!

Сапожник снова принимается за работу и, тихонько попевая, продергивает обеими руками дратву, постукивает о каблук молотком и поплевывает куда надо, а Хрипушин продолжает свое шествие. За несколько шагов до мелочной лавки он снова принужден снимать фуражку, так как хозяин, завидев Хрипушина, оставил свой зеленый стул, помещавшийся на высоком лавочном крыльце, и раскланивался с ним, держа шапку на отлете. После обоюдного приветствия Иван Алексеич, по обыкновению, спрашивает: «как здоровье?» Хозяин поблагодарит, объявляя, что всё слава богу.

Так идет прогулка Хрипушина в ожидании практики. Но вот, наконец, и самая «практика».

— Иван Алексеич! — раздалось над самым ухом Хрипушина.

В маленькое ветхое окно выглянула физиономия старушки-чиновницы Претерпеевой. Старушка кивала головой по направлению вовнутрь комнаты и шепотом говорила:

— Зайди, зайди, отец мой!..

— Здравия желаю! — почтительно произносит Хрипушин, столь же почтительно наклоняя набок обнаженную голову.

— Зайди, батюшка, дело есть!.. Одно только словечко сказать...

— С великим удовольствием!

Хрипушин вступил на маленький топкий двор, нагибаясь в низенькой двери, пролез в сени и, наконец, очутился в горнице. Везде на ходу замечал он признаки расстроенного хозяйства, нерадения, неряшливости, везде на глаза его попадались вещи сломанные, разбитые, опрокинутые, грязь, немытые полы и лужи. «Парадная» комната, куда он вошел, веяла тою же пустынностью и отсутствием заботливости; шкаф, предназначенный для посуды, был пуст — на верхней полке болталась позеленевшая медная ложка, на нижней помещались тарелки с иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушин застал в расстройстве и негодовании. Четыре дочери Претерпеевых, одетые весьма небрежно, ходили надувшись друг на друга. Самая старшая из них, обладавшая, кроме невзрачного платья, еще каким-то невероятным коком на самом лбу, наткнулась на Ивана Алексеича в передней и сердитым голосом сказала ему:

— Ах, мусье Хрипушин, ради самого бога, хоть вы усовестите их!.. Это, наконец, невыносимо! Сил нет!

— Что же такое-с?

— Да тятенька!

Девица вспыхнула и с сердцем толкнула дверь в кухню.

Иван Алексеич, почуяв общую беду, медленно вошел в комнату и осторожно присел на стул около стола.

— Посмотри-кось сюда, отец,— шептала старушка, поднимая из-за стула пустой графин, на дне которого торчал перечный стручок.— Вот эдаких-то три уж!.. а? день-деньской, день-деньской, без роздыху! Эка жизнь! Господи!

Хрипушин молчал и соображал.

— Намедни,— продолжала старушка, нацеживая из другой посуды рюмку водки,— намедни три раза из должности присылали, управляющий спрашивал,— не мог! Ну, без чувств, как есть, и людей не узнает! а? Эка жизнь! Выкушай, Иван Алексеич... Как же быть-то, отец?.. Нет ли чего-нибудь?

Старушка умоляющими глазами смотрела на Хрипушина. Тот вздыхал, кряхтел и прожевывал закуску. Где-то, за перегородкой, слышался невнятный бред спящего человека и злой, нетерпеливый шепот сестер: «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» — «Вот еще новости!» —

«Марья! отдай! я закричу!» — «Очень нужно!» — «У, бесстыжая!» Хрипушин все кряхтел и соображал. В комнату быстро вошла старшая дочь, шлепая стоптанными башмаками; в руках у нее был медный изломанный кувшин с водой; не обращая внимания на плескавшуюся из кувшина воду, она с сердцем толкала коленями стулья около окон, с сердцем тыкала пальцем в засохшую землю запыленной ерани и с таким же ожесточением затопляла забытый цветок водою.

— Да из-за чего вы изволите беспокоиться? — решился проговорить Хрипушин.— Все, слава богу, благополучно!

— О, ну вас, ради бога!

Слезы быстро наполнили ее глаза, и она бросилась в дверь, стукнув кувшином о притолоку.

— Обеспокоены! — заметил Хрипушин.

— Да, батюшка! — слезно заговорила старушка.— Какое же тут может быть спокойствие!.. Кажется, дрожим, дрожим!.. Опять, пуще всего в том досада, ничего не говорит...

— Молчит?

— Молчит и молчит!.. Что ни думали, что ни делали, ничего!..

— Болезнь трудная!

— Ммм...— послышалось за перегородкой...— Н-неввоззможно!

— Как запущена! — прищуривая глаз, прошептал Хрипушин и покачал головой.

— Запущена? — плача повторила старушка.

— И весьма запущена!

— Батюшка!..

— Н-невозможж!..— опять раздалось за перегородкой.

В разных углах дома раздалось всхлипыванье.

— Покой-с! Покой дайте больному! — останавливал Хрипушин рыдавшую старушку.

— Видите? — срыву проговорила старшая дочь, на мгновение появляясь в дверях; глаза ее были красны.— Видите? — продолжала она, указывая рукой на перегородку.

Хрипушин изумленно смотрел на нее. Девушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлестнув пружинами кринолина об стену.

Настало тягостное молчание. За перегородкой не

слышно было никаких звуков; слезы исчезли, но общее негодование и грусть говорили, что беда еще не миновалась.

— Так как же, батюшка? — спросила, наконец, старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

— Да надобно, Авдотья Карповна, подумать-с... Что вы-то печалитесь?

— Ох, отец мой!..

— Вы должны показывать собой пример! Вы — мать! Через ваше уныние, может, еще более у Артамона Ильича недугов прибавляется?.. Это нельзя-с!.. Да кроме того, с божией помощию, сварим мы кой-какую специю: может, оно и полегчает...

— Специю или что-нибудь, что знаешь, батюшка! а не то свози ты его к бабке в Добрую Гору... Многим старушка помочи дала... Сделай милость!.. Век, кажется, за тебя буду бога молить...

— И это можно... Только не унывайте и не ропщите... А насчет старухи как вам будет угодно: могу и за ней съездить и Артамон Ильича свозить...

— Свози! свози ты его, благодетель наш...

— Извольте, извольте-с... Только не будет ли у вас мелочи сколько-нибудь... На первое время...

VIII. СЕМЕЙСТВО ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Лет двадцать тому назад семейство Претерпеевых представляло картину совершенно другого рода. В то время Артамон Ильич и Авдотья Карповна только что перебирались, после брака, на житье в эту Томилинскую улицу. Артамон Ильич, длинный сухопарый чиновник, подновивший женитьбою свою тридцативосьмилетнюю физиономию, отличался высокою кротостью и вполне подчинялся жене. Авдотья Карповна была маленькая черноволосая свежая женщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, нужной в хозяйстве, она не пропускала без внимания и делала все это без крику, без брани, с лицом постоянно веселым. Впоследствии, когда, наконец, супруги поселились в своем маленьком новом домике, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамону Ильичу решительно нечего было делать. Авдотья Карповна не уставая шныряла из кухни в комнату, из комнаты в погребицу, шила, вытирала стекла, выгоняла мух, сдувала пыль

и проч. Артамон Ильич благоговел перед женой и тосковал, не имея возможности хоть чем-нибудь содействовать успеху собственного благосостояния.

Счастье самое полное царило в жилище Претерпеевых. Авдотья Карповна старалась, из угождения к мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамон Ильич, не зная, чем угодить жене, безмолвствовал, не пил ни капли водки, не спал после обеда и не носил халатов. Любовь его к Авдотье Карповне, согревшей его сердце, долго стывшее в холостой жизни, была беспредельна. Артамон Ильич, впрочем, не мог с достаточною экспрессиею выразить эту любовь: лицо его оставалось по-прежнему спокойным, даже несколько холодным, и о признательности своей он не говорил жене ни единого слова; тем не менее супруги боготворили друг друга.

Шли годы. У Претерпеевых явились дети, из которых остались живы только четыре дочери. Но и увеличение семейства не было еще в силах поколебать совершенно правдивое боготворение, питаемое супругами друг к другу. Явились новые расходы; Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молоком и творогом. На огороде был разведен картофель, и осенью открыта продажа всех овощей. Все шло как нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась с нуждами семейства; Артамону Ильичу оставалось по-прежнему быть спокойным и благоговеть. Он так и делал, потому что, когда однажды, в видах соблюдения расходов, он попробовал было отказаться от нового казинетового сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сделала ему внушение, но кроме сюртука сшила ему новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мере того как подрастали дочери, отказывала себе во всем: она по годам трепалась в двух старых ситцевых платьях и носила шаль, которую за негодностью не хотела надевать даже ее бабушка. Вследствие этих сбережений в комнате дочерей появилось четыре новых сундука для приданого, и в них уже покоилось по нескольку трубок хорошего полотна.

Этими урезываниями собственных нужд в пользу будущего приданого заботы Авдотьи Карповны о дочерях не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желает отдать старшую дочь Олимпиаду в пансион. Артамон Ильич давно уже догадывался об этом желании

супруги и, по правде сказать, боялся его. Разные одинокие размышления привели его к убеждению, что «образованность» не принесет его дочерям ничего, кроме погибели. Он обдумал это во всех подробностях, и поэтому что ж мудреного, что, когда жена обратилась к нему за советом, сердце его екнуло. Где возьмет он силы победить этот умоляющий взгляд супруги? Разве хватит у него духа разбить так давно лелеянную ею мечту?

— Как же ты думаешь? — спрашивала убитым голосом Авдотья Карповна, испугавшаяся бледного лица мужа.— Али уж не отдавать? — прибавила она с замирающим сердцем.

— Нет! Нет! — воскликнул Артамон Ильич.— Отчего же?

И Олимпиаду отдали в пансион.

В первый раз Артамон Ильич допустил в своих отношениях с Авдотьей Карповной неправду, и душа его была возмущена. Неспокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она подглядела бледность на лице мужа в то время, когда дело шло о пансионе, и со страхом подумала: «Неспроста это!» Почудилось ей, что Артамону Ильичу вовсе не хотелось учить дочь.

«А если он не хотел этого,— думала Авдотья Карповна,— стало быть, имел основательные резоны. Артамон Ильич не такой человек, чтобы сдуру что сделать...»

Когда эти соображения залетели в голову Авдотьи Карповны, она в первый раз почувствовала перед мужем какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь увидеть доказательства собственного промаха. Устроив дочь в «пансион», она с особенною внимательностью принялась следить за каждым движением Артамона Ильича, за каждым изменением физиономии мужа. Прошло много лет; сотни куличей и сдобных булок было поднесено начальницам Олимпиады в день их тезоименитств и в высокоторжественные праздники; дочь перевели уже в последний класс, а Артамон Ильич по-прежнему безмолвствовал, по-прежнему не спал после обеда и не пил водки. Все было как должно. Раз даже, когда сама Авдотья Карповна чуяла беду неминучую, Артамон Ильич ни на волос не изменил своей тихости: Олимпиада явилась с просьбою свозить ее в театр.

— Все бывают,— кисло говорила она,— а я нет! Я хочу в театр!

Артамон Ильич молча сделал дочери удовольствие.

Как Авдотья Карповна пристально ни смотрела на мужа, в эту минуту она ничего не заметила и порешила было совсем успокоиться, как случилась новая история. За несколько месяцев до выпуска Олимпиада обратилась к родителям с предложением распустить на всех ее платьях складки. Просьба эта была произнесена таким капризным тоном образованной барышни, с такими энергическими надуваниями губ, что Авдотья Карповна помертвела. К довершению испуга ее Артамон Ильич, преспокойно сидевший у окна, при последних словах дочери повернул голову и посмотрел на нее пристальным взглядом.

Складки была распороты, Олимпиада удовлетворена, Артамон Ильич неизменен, но в жизни супругов не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствовавшая свой промах перед мужем, понимавшая, что у Артамона Ильича на душе не сладко, приписывала его муку себе, всеми мерами старалась сделать ему угодное и делала все поэтому против собственной своей воли, которую она ставила ни во что и не верила ей. Таким образом, благодаря дочери, супруги незаметно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царила прежде. В каждом последующем их действии присутствие «конфуза» делало несообразности, каких они никогда и ожидать не могли. Предметом этих несообразностей была все та же Олимпиада, которую все более и более начинала одолевать «образованность».

При каждом требовании ее Авдотья Карповна, из угождения мужу и большею частью против собственного желания, восклицала:

— Как это можно!

— Нет! нет! — прерывал Артамон Ильич, пораженный в самое сердце несообразным желанием дочери: — что ты, Авдотья Карповна? Отчего же и не сделать ей удовольствия? Худого нет...

И удовольствие делалось с общего согласия. Наивные супруги начали конфузиться друг друга и хотели взаимным угождением прикрыть свою наготу, словно листком. Благодаря этой добродушной стыдливости все требования «образованности», проявлявшиеся в Олимпиаде, удовлетворялись вполне. Этому, кроме того, много способствовала безграничная любовь к дочери, которую они не решались огорчить. Таким образом, Олимпиада Артамоновна, смертельно тосковавшая в доме родителей, все

время по окончании курса проводила в одном «барском» семействе, где была ее подруга по пансиону. Артамон Ильич знал, что семейство это принадлежит к числу разорявшихся дворян, еле дышащих на последние крохи, но все-таки сам провожал дочь свою туда на вечера «с танцами», так как разорявшееся семейство, при малейшей возможности вздохнуть, тотчас же задавало балы и разные затеи. Балы эти и другие прихоти Олимпиады Артамоновны повели за собой невероятные для супругов расходы. Явилась надобность в платьях, лентах. Целые дни в доме Претерпеевых шла кройка материй и шитье нарядов; растеряевская портниха, или, как ее здесь называют, «модница», имела здесь полный простор для свой деятельности. Все это вконец измучило обоих супругов. Артамон Ильич потерял всякое соображение, Авдотья Карповна — всякую расторопность; она как-то осовела и целые дни еле передвигала ноги, будто только что вышла из жаркой бани. В таком парализованном состоянии супруги опростоволосились до того, что, по желанию Олимпиады Артамоновны, устроили в своем крошечном жилище званый вечер, ибо этого требовало «приличие», как справедливо заметила дочь. Услыхав предложение о бале, Авдотья Карповна подумала про себя, что в самом деле надо же отплатить господам за их радушие к дочери, но под влиянием побледневшего лица Артамона Ильича воскликнула:

— Что ты! Что ты! Где нам балы задавать... Вот еще, господи!

— Нет, нет! — восклицал Артамон Ильич, посоловевший от этой затеи...— Отчего же? Мы, слава богу, не нищие!

И, в доказательство своих слов, он бросился в лавку за покупками, дрожа всем телом.

— Вот как у вас нонче, Артамон Ильич! — сказал ему лавочник.— Бал!

— Голубчик! — почти со слезами прервал его Артамон Ильич.— Не говори!

Во все время «бала» Артамон Ильич и Авдотья Карповна походили на каких-то истуканов с оловянными глазами; Артамон Ильич дошел даже до того, что когда кто-то из молодых людей пожелал закурить папироску и попросил огонька, он не двинулся с места и страшно испугался. Но когда забренчало фортепиано и начались танцы, Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавале-

ров и в их поступках он заметил что-то нехорошее; он видел, как кавалер, взявший Олимпиаду на польку, подмигивал соседу и старался половчее обхватить талию своей дамы; он видел, как в ответ на это другой кавалер многозначительно покашливал и слегка поддакивал ему утвердительным кивком головы. Иногда Артамон Ильич, словно в забывчивости, делал шаг по направлению к танцующим, чтобы остановить дочь, повисшую на руке кавалера, но мысль, что эти кавалеры и все эти благородные барышни будут смеяться потом над Олимпиадой, останавливала его, и он снова тащился в угол. В другой раз он инстинктивно отправился в сад, куда перед тем скрылась Олимпиада с кавалером. Но едва он сделал шаг, едва услышал издали веселый разговор дочери, как ноги его почему-то не пошли дальше. Как он проклинал этого негодного кавалера!.. Наконец, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?», Артамон Ильич бросился к беседке и хотел оборвать кавалера, но почему-то только кашлянул и поспешил уйти.

Рано ли, поздно ли, а все эти увеселения кончились. Олимпиаде Артамоновне пришлось жить исключительно в доме родительском, и она действительно страшно скучала. Гнев ее возбуждало все, начиная от захолустья, где жили они, до кривого зеркала, в котором самое ангельское лицо превращалось в лицо сатаны. Кроме того, Олимпиаду Артамоновну мучило то, что после разлуки с «высшим» обществом ей решительно негде было показать себя и своих нарядов: единственный пункт, где собиралось общество, была церковь, но кого же приходилось ей встречать здесь: мастеровых, сапожников, мещан, чиновников с запахом водки и с небритыми бородами. Она одна по целым дням сидела дома, и ей не с кем было слова сказать...

— Отвращение! — с сердцем говорила она.

Артамон Ильич безмолвствовал.

Прошло три года; подросли другие три дочери, образование которых было возложено на Олимпиаду Артамоновну и которые, вследствие этого, не знали ровно ничего; они позаимствовали у сестры только манеру надувать губы, весьма выразительно говорить: «атвращение», и начали выступать против родителей с собственными протестами, пользуясь тем, что протесты сестры переносят родители беспрекословно. По примеру сестры, они

роптали насчет складок и т. п. Авдотья Карповна, не считая их образованными, пробовала было прикрикнуть на них.

— Вы-то что? вам-то какого еще рожна недостает? — сердилась она.

— Маменька! Это что такое? — вступалась Олимпиада.— Так только на горничных можно кричать... Мы не горничные!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты, таким образом, повалились на стариков градом со всех сторон... Года через два-три они уже сводились, к счастию, на одно только требование «жениха». В недовольных физиономиях дочерей родители явственно читали это требование: даже Олимпиада Артамоновна, кажется, не прочь была в настоящую минуту от посещений хотя бы и растеряевского кавалера.

— Ну, Артамон Ильич,— сказала, наконец, как-то Авдотья Карповна мужу.— Тащи женихов, ваших-то палатских!

— С великим, матушка моя, удовольствием! — обрадовавшись, отвечал Артамон Ильич.

Никогда супруги не были так радостны и веселы... Но радость их была недолга.

По всей «растеряевщине», во всем соседстве Претерпеевых, про них шла уже *молва*. Томилинские дамы были обижены неприглашением на балы, томилинские кавалеры — пренебрежением к ним, по случаю знакомства с петербургскими и высокоблагородными, а главным образом вследствие того, что им не удалось отведать тех дорогих вин, которые года два тому назад покупались для благородных гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первых, узнало от лавочника, что три целковых, должные за стеариновые свечи, до сих пор не заплачены Претерпеевыми, и, во-вторых, когда увидело самого Артамона Ильича, с особенным рвением желающего завлечь к себе нашу томилинскую молодежь.

— Ай!.. подошло! — радостно подмигивая друг другу, говорили чиновники и перемигивались.

— Что же это у вас господа-то помещики петербургские не бывают? — спрашивали они, подсмеиваясь над Артамоном Ильичом.

— Уехавши-с... Давным-давно-с...

— Гм... Уехали!.. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такие завсегда тоскливые?..

— Ах, господи Иисусе Христе! — вскричал Артамон Ильич.— Чего тоскливые? Да господь ее знает!

— Господь! — поддакивали чиновники и подмигивали одним глазом.

Таких «кавалеров» Артамон Ильич завлек в свое жилище только тогда, когда обещал угостить вишневкой и на закуску подать маринованных пискарей. Кавалеры, наконец, начали посещать Претерпеевых. Но, господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди! Обезображенные бедностью и одиночеством, они словно дикие звери смотрели на постороннего человека. Один вид искаженных физиономий, эти грязные манишки с торчащими из-за галстука тесемками, эти вечно испуганные лица, редко прилипнувшие на висках и на лбу волосы — все это в совокупности могло возбудить отвращение не только в Олимпиаде Артамоновне, но и вообще в человеке, не выносящем неопрятности. Ни один из них не умел сказать путного слова, то есть просто-напросто кавалеры эти не говорили ничего: об чем им было говорить с такой барышней, как Олимпиада Артамоновна, которая говорит по-французски, играет на фортепиано и в разговоре употребляет слова вроде: «афрапировало» и проч. и проч.? Они чувствовали себя несколько свободными только тогда, когда Артамон Ильич просил их выпить водочки; тут они делались истинными артистами, потому что искусство глотания рюмок было доведено ими до высшей степени совершенства. Тут они на взгляд Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками»... Отвращению ее не было пределов. Вслед за ней томилинских кавалеров забраковали и другие сестры. Артамон Ильич хотел было вразумить дочерей, что иначе и быть не может, хотел было заговорить, но увидав, что Авдотья Карповна сочувствует дочерям, стал поддакивать жене и предложил отказать кавалерам.

— Как это можно! — возразила Авдотья Карповна, по обыкновению против собственного желания.

— Нет, нет! — в свою очередь возражал ей муж.— Нельзя... Великая неволя с этакими пьяницами!

Кавалеры томилинские были изгнаны. Тут-то они показали себя во всем блеске. Застенчивость и конфуз, одолевшие их при Олимпиаде Артамоновне, заменились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые люди. Без ругательств они не могли пройти мимо ее окна и старались, чтобы она непременно слышала их

слова. В церкви, на улице указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Целые истории пущены были в публику про претерпеевскую барышню: рассказывали, что не дальше как третьего дня у Претерпеевых был помещик Арапников, наделавший в прошлом году шуму своим кутежом с актрисой, и будто бы подарил ей брошку. Некоторые «дамы» рассказывали, что они сами своими глазами видели эту брошку. Другие прибавляли, что Олимпиада была уже вместе с матерью в гостях у Арапникова, и ссылались, в подтверждение этих слов, на извозчика Гришку, который будто бы из гостей привез одну мать. Томилинская скука подхватила на удочку эти новости и целые дни трубила о претерпеевской барышне. Везде, где только ни показывался Артамон Ильич, с ним, не церемонясь, начинали разговор о его дочерях... Артамон Ильич так упал духом, так был убит всем этим, что, думая восстановить истину, пытался вступать с клеветниками в горячий спор и, не одолев, почти со слезами начинал умолять.

— Неправда! — говорил он,— всё лгут! Как не грех перед богом?

— Мы, брат, знаем! — отвечали ему.

— Да не верьте вы, христа ради! Какой это такой и Арапников есть на свете, мы его и в глаза не видали. Я — отец! я знаю!

— Ничего ты не знаешь, хоть ты и отец! А спросикось ты извозчика Гришку, он тебе кое-что порасскажет.

— Господи! — произносил с отчаянием растерзанный Артамон Ильич и умолял только об одном: не рассказывать этих слухов больше никому...

Но этими муками на улице и в канцелярии мучения его не исчерпывались. Дома мучило его сожаление своих дочерей, своей жены и вид нищеты. Дочери знали, чтó про них толкуют томилинцы; были обижены ими и поэтому злы... Как на корень зла, негодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который решительно ничего не умеет сделать, даже женихов для дочерей не мог отыскать и пригласил каких-то тряпичников, которые врут про них без умолку всякие нелепости. К довершению картины общего расстройства в семействе Артамон Ильич заметил вражду между самими сестрами: они поминутно ссорились между собою за ленту, за булавку и причину непосещения их молодыми

людьми приписывали Олимпиаде в той же мере, как и отцу. «На тебя никто не угодит! — говорили они ей...— Графа тебе, что ли, нужно? Бешеная!» Артамон Ильич видел, как с каждым днем под влиянием тоски и злобы увядали свежесть и красота его дочерей. Видел, как Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрела на него как на дурака, не умевшего остановить ее вовремя; видел, как его любимица-дочь ходила в изорванных платьях, в стоптанных башмаках, наконец, чуял злобу и негодование, паривщее над всем его домом; понял, что все пропало, все лезло врозь, и желание их с женой сделать жизнь детей лучше не удалось, и вот он сразу запил, а через год-другой сделался просто-таки «горьким пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончания. Она сжалилась над Артамоном Ильичом. Всякий, кто от скуки сплетничал про его семью, спешил помочь ему, если видел, что Артамон Ильич упал на тротуаре и не может подняться.

— Артамон Ильич! Батюшка! Что с вами? Вставайте, сделайте милость! — говорил испуганный сосед...— Пожалуйте вашу руку, я вам подсоблю.

— Не стою! Н-не стою! — кричал Артамон Ильич.— Н-не стоит дураку помогать... Дурак! Дурак я!

— Вставайте скорей, бог с вами! увидят люди,— что хорошего...

Артамон Ильич не соглашался. Если же соседу и удавалось вымолить его согласие, то и после того возни с ним было еще много.

— Вставайте, вставайте! — говорил сосед.

— Н-нет, поз-звольте! — вырывая руку из руки соседа, лепетал Артамон Ильич...— Кто вы? В первый раз в жизни вижу вас!..

— Будет вам, ради бога!

— Н-нет, позвольте!.. И решаетесь оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодетель мой?..

— Сосед! Сосед ваш... Иванов... Вставайте!.. Дайте руку...

— Извольте-с!.. встану!..

Сосед начинал подымать Артамона Ильича, полагая, что, наконец, все кончено, как вдруг Артамон Ильич вырывал назад свою руку, снова падал на тротуар и бормотал, стаскивая с головы шапку:

— Н-нет, позвольте... Я перекрещусь!.. Бога я побла-

годарю... за вас!.. Он! он, батюшка... владыко, послал...

И Артамон Ильич нетвердою рукою крестил свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамон Ильич был молчалив и, явившись в нетрезвом виде, старался забиться куда-нибудь в угол, в чулан, на погребицу, и при появлении сюда кого-нибудь из семьи закрывал глаза, притворяясь спящим. Никогда от него не могли добиться слова. Недуг Артамона Ильича вконец расстроил семью. Разоренье дошло до высшего предела. На службе держали его только из жалости и грозились выгнать, если дела пойдут в таком виде «впредь». К бесчисленным заботам Авдотьи Карповны прибавилась забота и о муже. Она ничего не жалела, лишь бы поставить его на ноги; знахарки и разные умные люди шептали над ним, отчитывали по «черной книге», поили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушин, неоднократно пользовавший Артамона Ильича, оправдывал неуспех лечения тем, что ему никогда Авдотья Карповна не давала докончить его как следует; непременно поторопятся, позовут другого, и все, что сделал он, Хрипушин, пропадает ни за что. Такие оправдания поддерживали в Авдотье Карповне веру в знаменитого медика, и она решилась еще раз обратиться к нему...

После свидания, изображенного в первой сцене, Хрипушин дня через два подъехал к дому Претерпеевых на телеге. Артамон Ильич только что проснулся и был трезв. Когда ему объяснили причину приезда Хрипушина, он тотчас же согласился с женой насчет познаний бабы-знахарки и не сомневался в собственном исцелении, хотя вполне знал, что никакая Добрая Гора и никакой Хрипушин не сделают ни на волос пользы.

Артамона Ильича усадили в телегу; рядом с ним сел Хрипушин. На перекрестке медик и пациент перекрестились, пожелали себе успеха и повернули за угол... Вослед им долго смотрела из окна Авдотья Карповна...

Выехав в поле, Хрипушин почувствовал, что ему совестно перед Артамоном Ильичом, лицо которого ясно показывало, что он ни на волос не верит волхвованиям старух и Хрипушина, а едет лечиться единственно из угождения семье.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчание. Артамон Ильич заговорил первый.

— Это ты лечить меня, Алексеич, собираешься? — сказал он с горькой улыбкой.

— Да надо бы, Артамон Ильич,— смешавшись, заговорил Хрипушин...— Надо бы вам... того... попользовать вас...

— Э-э, голубчик! — перебил пациент.— Друг! — присовокупил он, касаясь плеча извозчика.— Повороти-ка ты лучше всего налево... Вон туда!..

Слева от дороги торчал кабак.

Возница стал поворачивать. Хрипушин безмолвствовал.

Артамон Ильич проснулся в траве около кабака на другой день ввечеру. Хрипушин, успевший во время припадка своего пациента дать несколько благих советов целовальничихе и ее старухе свекрови, стал торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвым. Скоро они собрались и поехали.

— Хоть по крайности, ежели уж излечить вас нельзя,— въезжая в Томилинскую улицу, говорил Хрипушин,— по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдите.

— Фигуру-то я... я соблюду! — согласился пациент.

После общих надежд на благополучие, надежд, особенно ревностно подтверждаемых самим Артамоном Ильичом, на столе в горнице закипел самовар, и Авдотья Карповна вступила с Хрипушиным в самый дружеский разговор. Артамон Ильич вышел пройтись в сад. Здесь он прилег на скамейке в беседке и долго-долго рыдал.

В соседнем саду слышался веселый смех, и скоро в беседке, отделенной от Артамона Ильича забором, послышалось бряканье чашек, шипенье самовара и, наконец, разговоры.

— Чем же мне угощать вас, господа? — говорил сосед Иванов, оказавший вчера Артамону Ильичу помощь на улице.

— Что за угощение! — отвечали любезно гости, и один из них тотчас же прибавил, понизив голос:

— Соседки у вас, Семен Семеныч,— вот это разве...

— А, понравились? Хотите, посватаю?..

— Неужели же возможно?

— Это уж наше дело?.. Хотите?..

— Брюнетка особенно недурна... Вот бы!..

— Э-э-э! — перебил хозяин,— вот вы куда! Олимпиаду! Нет-с, уж на этот счет — извините! Эту я для себя берегу.

— Подлецы вы, канальи, мерзавцы! — во всю мочь гаркнул Артамон Ильич и опрометью бросился из сада на двор, со двора на улицу...

И Хрипушин и Авдотья Карповна восседали за самоваром и продолжали дружескую беседу. Хрипушин истощил, наконец, все аргументы, которые подтверждали его убеждение в окончательном исцелении Артамона Ильича; в заключение своей беседы он уже взялся за шапку и хотел было упомянуть — «нет ли, мол, у вас, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи...», как неожиданно под окнами послышался знакомый голос Артамона Ильича.

— Н-невоз-зможно!.. — бормотал он, стукнувшись плечом в ставню.

Хрипушин, завидев беду, незаметно юркнул вон из комнаты и скрылся.

IX. ОСИРОТЕЛАЯ СЕМЬЯ

Артамон Ильич Претерпеев умер; горький недуг, охвативший его в последнее время, скоро свел бедного чиновника в могилу. Авдотья Карповна, казалось, совершенно ослабевшая от несчастий и расстройств семьи, после смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла в себя и поняла, что теперь только от нее зависит все; нищета, исчезновение последних средств к существованию, общее несочувствие или какое-то враждебное отношение к семье Претерпеевых всех знакомых и соседей — все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бедная женщина вся впала в какой-то припадок хлопотливости и суетни; целые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечах ее был надет какой-то невероятно ветхий люстриновый салоп, сгнивший у подола и носивший на спине радугообразные, линялые полосы; ветхая, запыленная и искалеченная шляпка, засаленное прошение, крепко прижатое к груди,— жалостью и тоскою веяли на встречного человека, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, в которых нельзя было приметить ничего, кроме тупого страха, заставляли встречного сомневаться в твердости ее рассудка. Целые дни убогую фи-

гуру Авдотьи Карповны можно было видеть то на том, то на другом перекрестке, то на том, то на другом крыльце канцелярии или палаты. Каждый день во всех передних знатных и сильных особ Авдотья Карповна успевала десятки раз упасть на колени, хватать вельможные ноги и получать утешительный ответ: «Все, что только от меня зависит...» и проч. Помощь и работу дали ей такие же горемыки, понимавшие размеры печалей Авдотьи Карповны, или богатые купцы, старающиеся успокоить свою совесть с помощью черствых кусков кулебяки и позеленелых екатерининских пятикопеечников.

Целый день такой неустанной гоньбы по городу, молений, просьб и слез доставлял Авдотье Карповне возможность не сидеть вечером без огарка сальной свечки и не мучиться без чаю и сахару более трех дней. Вечером, иногда очень поздно, возвращалась она в Томилинскую улицу и, запыхавшись, выкладывала перед семьей добычу с общественной благотворительности. Нищета и ужас положения были так велики, что ни одна из дочерей Авдотьи Карповны не решалась пустить в ход доморощенной критики и с покорностью пожевывала засохшую, черствую купеческую кулебяку или принималась за шитье и штопанье белья казенных рабочих или вообще за какую-нибудь другую, не совсем сообразную с званием их работу. В эту пору даже Олимпиада Артамоновна не решалась уже более уснащать речь свою французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленым огурцом вместо обеда или шить какую-нибудь слишком пикантную часть мужского туалета, она решалась подумать, что такое занятие способно ее унизить. Труд в то время считался делом унизительным.

Так и пошли дела Претерпеевых.

Месяцев через семь-восемь после смерти Артамона Ильича все позабыли о существовании семьи Претерпеевых. Хрипушин, знавший по слухам о печальном положении их, не находил особенно приятным для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кроме того, он решительно не надеялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно был уверен, что когда-то хлебосольная хозяйка эта не найдет возможным теперь нацедить ему даже малую пропорцию увеселительного напитка. Хрипушин поэтому и не заглядывал к Претерпеевым, по

крайней мере, с полгода и, по всей вероятности, не заглянул бы сюда никогда, если бы к этому времени в нашей улице не зачуялись признаки нового времени. Хрипушин ощутил их на убыли пациентов, на проявлениях какой-то недоверчивости в них и на весьма ощутительной скудости угощения. Не раз с горечью запускал он растопыренную пятерню под фуражку и, царапая свою голову, решительно недоумевал: где бы найти тихое пристанище, то есть приличную порцию очищенного и ошалелую от скуки пациентку.

— И что ж это за время! — вскрикивал он, хлопая себя по бедрам и в ужасе выбегая на улицу после неудачного визита.— И где же это видано? В какой земле? Чтобы ежели, например, ты пользуешь человека, и как есть всей душой, а он тебе только всего, что: «будьте здоровы!» И где же это самое благородство? Ну хоть бы же он насмех, хоть бы он мне в рожу-то плюнул: на, мол, полрюмки, сполосни свое сердце... А то... Ах!..

И Хрипушин снова в ужасе хлопал о свои бедра, качал головой, ахал и почти бегом пускался куда глаза глядят, на «авось»...

Раз, в припадке отчаяния, вследствие отсутствия всякой возможности где-нибудь выудить выпивку, Иван Алексеевич решился на последнее средство: зайти к Претерпеевым. Не без внутреннего волнения подходил он к знакомому домику, чувствуя всю тягость картины, которая ожидает его там. Каково же было его удивление, когда вместо печалей и воздыханий он встретил в семействе Претерпеевых всеобщую радость. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина с радостными восклицаниями: «Слава богу!», «Слава тебе, господи!» Все хватали его то за один, то за другой рукав, тащили каждый в свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно приятное происшествие, и чуть даже не целовали. Авдотья Карповна, захлебываясь от восторга и дрожа всем телом, пробилась, наконец, сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стул дорогого гостя.

— Погодите! погодите! — умоляла она дочерей, усаживаясь рядом с Хрипушиным.— Дайте вы мне хоть словечко... хоть словечко!..

— Иван Алексеич! нет, посмотрите, что... Мусье Хрипушин! — трещали, не переставая, дочери.— Позвольте, маменька, дайте я расскажу!

— Дайте вы мне, христа ради, хоть одно-то словечко!

— Позвольте, барышни, в самом деле! — вмешался Хрипушин.— Позвольте маменьке... Ах ты, боже мой! а? Слава богу! Слава богу!.. Рад! Ей-ей, рад!..

— Так рады, так рады!..— голосили все...

— Посмотри-кось, какое дело-то! — говорила Авдотья Карповна.— Изволишь видеть, отец мой... Пошли мы к обедне...

— Авдотья Карповна! — перебил Хрипушин,— одну минуту! Нет ли, христа ради, какой росинки! Верите ли, все нутро изожгло! Ах бы в ножки вам поклонился!

К общей радости, графин с перечным стручком оказался не безнадежно пустым. Хрипушин, торопившись слушать интересный рассказ хозяйки, впопыхах проглотил три довольно объемистых рюмки, крякнул, черкнул ладонью по мокрым усам и торопливо произнес:

— Ну-те-с, матушка, благодетельница?

Авдотья Карповна развела руками и как бы в недоумении начала:

— И не знаю, как это тебе рассказать-то!.. И не знаю, как мне бога благодарить!.. Видишь, отец мой: пошли, говорю, мы к обедне... Месяца полтора тому будет... Стоим у сторонки этак кучкой, ровно бы прокаженные какие: молимся так-то, дескать, когда это господь-то по нас пошлет? Унываем мы таким манером, а Лимпиада все что-то на сторону поглядывает... «Что ты это, говорю, шепотом, все на сторону поглядываешь?..» — «Да, говорит, вон посмотрите, какой-то, говорит, мужчина на нас покашивается...» Оглянулась я: точно, стоит мужчина, и нет-нет да на нас глазом и замахнет... все покашивается...

— Покашивается? — глубокомысленно спросил Хрипушин.

— Все покашивается!

— Гм... да-да-да... Ну-с?

— Хорошо! Выходим из церкви, идем домой и, между прочим, нет-нет да обернемся назад, глядь — и он обернулся!..

— Цссс...

— Что за чудо? думаем. Что ему от нас? Думаем себе: верно, так что-нибудь. Однако же прошла неделя, идем к обедне, глядь: опять он!.. И опять он все это как быдто бы...

— Покашивается? — перебил Хрипушин.

— Да-да! Все как быдто бы глазом норовит.

— Что ж? Слава богу! — в умилении произнес медик.— Олимпиада Артамоновна! Как вы полагаете?..— продолжал он, ядовито прищурив глаз.

— Вот глупости!

— Отчего ж? Пущай его! ничего... Слава богу! Ей-ей! Ну-с, матушка, Авдотья Карповна?..

— Ну, друг сердечный, так это дело и пошло... Где мы, глядь — и он торчит!

— Вот тут самое интересное!..— сказала Олимпиада не без иронии.

— Погоди, не перебивай... Дай ты мне договорить!

— Дайте, барышня, маменьке вашей договорить... Ну-с?

— Ну, хорошо!.. Так все это и идет... Раз сидим мы так... дома сидим... скучаем... вдруг подъезжает мужик. «Здесь, говорит, такие-то живут?» — «Здесь...» — «Прислано вам, говорит, вон капуста... в день ангела...» (точно, Стеша была именинница). «Кто прислал?» — «Не приказано говорить...» Пытали, пытали — нет!.. Так мы растрогались, даже заплакали, право!

Хрипушин глубоко вздохнул.

— Ревем,— со слезами продолжала Авдотья Карповна,— и думаем: где это такой благодетель есть?.. За что нам господь милость свою посылает?.. Немного погодя, глядь, воз картофелю... фунт чаю... сахару... и все неизвестно от кого!.. Целковых, поди, на пять он, батюшка, нам всякой провизии презентовал! Каково это?

Хрипушин долго молчал, опустив голову вниз...

— Слава богу! — произнес он, пожав плечами и вздохнув.— Слава богу!

— Думаю я так, что беспременно *он* это посылает.

— Это который все покашивается-то?

— Да? — вопросительно произнесла Авдотья Карповна.

— Больше некому! — заключил медик.— Больше некому! Он... Олимпиада Артамоновна?.. Как вы полагаете?..

— Будет вам, пожалуйста!

— Хе-хе-хе!.. Он, он-с!.. Что ж? Слава богу!..

— Сколько мы ни разведывали,— начала снова Авдотья Карповна,— никто не знает... Наконец, вчера принесла от него баба ногу телятины... Стали мы ее молить-просить; сначалу-то не подавалась... ну, а потом, видит наше умиление, сказала: чиновник, вишь, Толоконников...

— Белокурый?..— встрепенулся Хрипушин.

— Вот! вот! — заговорили все разом,— всхохлаченный такой!

— Знаю!..— стукнув рукой об стол, закричал Хрипушин.— Знаю!

— Лицо этакое еще суровое...

— Знаю!.. знаю!.. Теперь я понимаю... А? Ай да Семен Иванович! Покашивается! Каков? Проберу!.. Проберу!.. вот как... хе-хе-хе... Каков? Позвольте-ко мне полрюмочки!.. Каково? Молодец!..

Хрипушин, пользуясь общим восторгом, успел опорожнить графин и собрался тотчас же отправиться к Толоконникову для пробрания последнего сообразно его проступкам.

— Проберу-с! — подмигивая и обращаясь к Олимпиаде Артамоновне, говорил Хрипушин.— Проберу-у! Нельзя!.. Как можно? Нет!

Авдотья Карповна убедительно просила медика передать этому благодетелю самую безграничную благодарность. Хрипушин обещался примерно наказать преступника и дал слово притащить его в будущее воскресенье к Претерпеевым, дабы сама Олимпиада Артамоновна распорядилась с кавалером, как только ей будет угодно.

Уходя, Хрипушин, вследствие неустойчивости ног, налетел плечом на притолоку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился к Олимпиаде Артамоновне.

— Барышня! — сказал он нетвердым языком,— как вы полагаете?.. Покашивается-то?.. э-э? хе-хе-хе...

X. ЖИЗНЬ И «НДРАВ» ТОЛОКОННИКОВА[1]

Семен Иванович Толоконников принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской окру́ги», и, следовательно, сердца «наших» дам и в особенности их сундуки с приданым были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел от роду около тридцати шести лет, был с виду угрюм, богомолен и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки... Такие качества его, по-видимому, могли бы сулить томилинским дамам полное счастие и благоденствие, между тем на деле выходило не то, так что слово «небезопасны» я упот-

---

[1] Под фамилией «Толоконников» здесь изображено то же самое лицо, которое в очерке «Дела и знакомства» носит фамилию Богоборцева.

ребил с полным основанием. Прошлое Семена Ивановича до минуты поступления его на службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат, и здесь к его мизантропии, начинавшей проглядывать в отрывистых ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым был он окружен, заставило его подумать о себе: у него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не насмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не подготовили его к чиновнической жизни, к чиновническим интересам, и «выбиться в люди», отомстить путем чиновническим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над этим предметом, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так, как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастию Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кишат рои опротивевших ему чиновников. Семен Иванович занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту. Семен Иваныч целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь

была неописуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толоконникову истинное удовольствие и незаметно навело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более или менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступления Семена Ивановича в должность прошло уже более пятнадцати лет, а он по-прежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства; посмотрите, чего-чего только нету у него: в шкафу, в верхней половине, все полки заставлены посудой, которой хватит на пятьдесят человек: тут и вилки дюжинами, и ложки, и чашки, и проч., и проч.,— все подобрано под одну масть, «под кадриль», как выражается Семен Иванович. Нижняя часть шкафа, то есть комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов; попадаются даже принадлежности женского туалета, и тоже всё дюжинами, всё новенькое, нетронутое... По стенам лепятся сундуки; откройте их и загляните туда: платье и летнее и зимнее наложено целыми ворохами, моль бродит по нем, потому что Семен Иванович никогда еще не решался надеть и носить этого нового платья,— все ему чуется, что в нем самом или вокруг него нет чего-то такого, что бы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие, и ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «С чего такого, подумают люди, вырядился?» — полагал Семен Иванович, и платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня... Хотите вы папирос, Семен Иванович тотчас же предложит вам их во множестве сортов, легких, крепких, хоть сам никогда не выкурил ни одной папиросы. Хотите вы выпить водки или вина, Семен Иванович мгновенно представит вам и то и другое, хотя сам никогда не брал капли в рот. Словом, все, «что только вашей душе угодно», все найдется у Семена Ивановича; все это лежит недвижимо, наготовлено на пятьдесят «персон», ждет кого-то. И все никого нет, все героя моего одолевает тоска по чем-то, все он нет-нет да прикупит, для собственного утешения, новый подсвечник или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке. Людей знакомых, вообще

хоть какого-нибудь человеческого общества, у него нет Каким-то чудом избежал он пьянства[1] и поэтому никак не мог заводить знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновнической мелкоты только и держится (двадцать лет назад было так) на выпивании, похмелье и опять выпивании. Из них могли рассчитывать на его знакомство только люди престарелые, прослужившие двойные служебные сроки, непьющие и ропщущие, как и Семен Иванович, на весь божий мир, или, напротив, новички чиновничьего мира, юноши неопытные и тоже страдающие. Семен Иванович мог даже первенствовать между теми и другими; но он знал, что никуда не годные старцы и неоперившиеся юноши не составляют людей «настоящих», самостоятельных, к которым бы Семену Ивановичу хотелось принадлежать. Из таких людей, в ряду его знакомых, был только один купец, который хотя и допускал его откушать чайку, но особенной важности особе его не придавал. Надо было еще чего-то...

Мало-помалу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Услыхав какой-нибудь подобный этому рассказ кухарки или горничной, Семен Иванович тотчас приравнивал себя к строгому барину и находил громадную разницу... «Небось,— думал он,— моя Авдотья этак-то не задрожит!..»

И Семен Иванович вздыхал...

За слишком долгое отсутствие всех приятных ощущений, какие доставляет жизнь, Семен Иванович, в вознаграждение своих долгих страданий в одиночестве, начал требовать с какою-то болезненною жадностью самого безграничного уважения. Разговоры кухарок про строгих

---

[1] Его спасала «охота», любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям и т д. См. гл. III

господ, хорошие отзывы о «других», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества,— все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жаждать власти хоть над курами. Таким образом, из Семена Ивановича выходил давно знакомый нам отечественный самодур. Постороннему наблюдателю это казалось совершенно ясным, но сам Семен Иванович очень смутно постигал, чего ему хочется. Самодурство как-то уродливо копошилось в нем.

Вот сидит он один в своей комнате; он только что воротился от всенощной; кругом комнаты у потолка и особенно в углу ярко горит множество лампад; в комнате душно, пахнет деревянным маслом и тишина. Семен Иванович отпил чай; благоговейное ли мерцание лампад или торжественная тишина действует на него, только он упорно молчит; изредка, среди безмолвия, раздается едва слышное пение: «услыши, господи, молитву-у мо-ою...» и потом глубокий-глубокий вздох... Снова тишина, снова пение: «ду-ушу мою к молению...» и снова еще более глубокий вздох...

— Господи, господи! — наконец громко произносит Семен Иванович.

Входит старуха-кухарка. При всей привязанности к женскому полу Семен Иванович никогда не мог осуществить своей мечты — нанять молодую бабу; делалось это, конечно, по тем же самым причинам, по каким он не мог носить нового платья. Кухарка, кряхтя и охая, направляется к столу.

— Что ты?

— Самовар убрать.

Семен Иванович чувствует потребность добыть из кухарки хоть какую-нибудь крупицу утехи своему наболевшему самолюбию.

— Возьми,— говорит он кротко, и потом прибавляет не без негодования: — то-то, брат Авдотья, у нас всё так! Барин-то когда чай отпил, а ты только, господи благослови, трогаешься за самоваром.

— Нешто у меня сто рук-то?.. Небось не одно дело...

— Молчи! — раздражительно, но неторопливо произнес хозяин.— Ма-алчи! Ты про дела говорить не смей... Ты...

— С чаво ж такое не говорить-то? Экося дело какое!

— Не говорри, Авдотья! Слышишь или нет?

Семен Иванович грозно приподымается с дивана; Авдотья отступает, прижав к груди самовар.

— У тебя дела? — продолжает хозяин.— А где же это ты рожу-то нажевала? пришла как щепка, а теперь эво рыло-то... все это от делов?.. Ах ты, бессовестная тварь!.. У тебя дела!

— Ну, пошел мутить!

— Нет, погоди... Стой! Я говорю, где ты нажевала рожу?

— Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался? — вскрикивает в свою очередь кухарка.— Каки-таки вишь дела! Мало, что ль, делов-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семен Иванович, побагровевший и готовый на отчаянную брань, вдруг почувствовал, что фраза кухарки насчет изобилия добра пролила в его сердце нечто беспредельно отрадное; он утих и молча опустился на диван.

— У тебя,— продолжает в том же воинственном тоне кухарка,— эва что всего понапихано!.. Где ни повернись... Ровно бы помещик какой живешь, а я небось одна... Каки-таки дела... Эва-а!

— Ах, дура! — кротко говорит хозяин,— сравнила с помещиком!

— А то что же? У иного помещика еще и этого-то нету... А у тебя погляди-кось! Все убери да подмети.

— Ах, дура, дура! — сладко произносит хозяин.

— Вот те дура!.. Чтó платья, чтó белья, чтó чего!.. Все напасено, незнамо про кого только... Тебе с меня взять нечего, я человек старый... кабы жену взял, тогда и взыскивай с нее! Да и в ту пору с твоим богатырством еще не управишься... А то — одна! Нету делов!

Семен Иванович безмолвствует. Кухарка направляется к двери.

— Погоди! — нежно произносит герой.

— Чего еще?

— Постой... Так, говоришь... помещик... Я-то?

— Да помещик и есть...

— Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

— Обнакновенно много всего... чтó одёжи, чтó чего!

— Д-да!.. Слава богу!..

Семен Иванович вздыхает. Авдотья ждет нового вопроса.

— Идти, что ль?

— Погоди минуточку...

— Чего годить-то?.. У меня небось есть где хороводиться...

— Погоди же, господи!.. Позволь!

Настает продолжительное молчание. Авдотья ждет. Семен Иванович совершенно растаял от удовольствия, которое доставила ему Авдотья.

— Так ты, Авдотья, говоришь: я вроде как помещик?..

— О, да что это, дитё какое разыскалось! Мне ведь...

— Постой, Авдотья! погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходе кухарки мысли Семена Ивановича начали принимать самые разнообразные направления; сначала он, поддаваясь новому ощущению, воспроизведенному словами кухарки, горячо благодаря бога за его милости, шептал: «слава богу», «слава тебе, господи» и вздыхал. Свет лампад весьма гармонировал с настроением души моего героя. Затем наболевшее и наголодавшееся самолюбие его начало требовать какого-нибудь нового удовольствия. Семен Иваныч, успевши убедиться, что он, благодаря бога, ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса... «За что? — думал Семен Иваныч.— Что я, хуже, что ль, кого? Слава богу, кажется? Нет, погоди!..» При этом он нетерпеливо вскакивал с дивана и тотчас же садился опять. Разгневанная мысль его мгновенно вспоминает все оскорбления, которые он хоть когда-нибудь получал: Семен Иваныч вспыхивал и решал тотчас же на ком-нибудь сорвать кровную обиду. В жару негодования он вспоминает все ту же свою кухарку Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «погоди», «постой».

— Авдотья! — гаркнул он, с сердцем распахнув дверь в кухню.— Поди сюда!

— Это еще чего, вот...

— Не разговаривать! Я эти разговоры-то слыхал... Пошла сюда!

Семен Иваныч ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услыхав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что де-

ло разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои. Хозяин в волнении сидел на диване, нетерпеливо болтал ногой и, увидав кухарку, заговорил с ожесточением:

— Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? а?

— Господи помилуй! Слава богу, и так слышу...

— Нет, я говорю, когда ты будешь слушать?..

Авдотья не нашлась, что отвечать...

— А? — продолжал хозяин.— Я тебе что сегодня утром сказал?

— Мало чего ты говорил? У тебя нешто мало приказу-то?..

— Нет, что я сказал?..

— Что сказал, то и сделала... И нечего орать попусту...

— Мол-лчи! Что я сказал?

— Нечего молчать. Говорю, коли спрашиваешь. Сказал: отнести сапог в починку — отнесла... Приказал тарелки перемыть — вон они...

Семен Иванович еще с бо́льшим волнением принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежнего.

— Мало ли,— бормотала испуганная Авдотья...— Вон, сказал, огурцы пере...

— Чт-то я сказал?! — не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана.

Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью...

— Вон! долой с места! — кричал Семен Иванович, но Авдотья не слыхала его.

Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волоса, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения. Но она не являлась. Хозяин каждую минуту порывался в кухню для того, чтобы объяснить строптивой рабыне ее вину, но долгое время не решался этого сделать. Авдотья между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумалась над тем, что такое сказывал ей хозяин? Перемывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего заслуживающего гнева не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза.

— Гляди! — грозно произнес барин.

Кухарка подняла голову: перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину.

— Вот я что сказал! — говорил гневно барин. — Я сказал, — продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки, — я сказал: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

— В чулан! — крикнул хозяин, и в то же мгновение на голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка, а с потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью.

— Ах ты подлая! — с сердцем заключила кухарка, ногою отбросив кошку в угол...

XI. СЕМЕН ИВАНОВИЧ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА

Иногда, впрочем, судьба посылала пищу его голодной душе в формах более или менее скромных, не столь бушующих. В эти минуты угрюмое лицо Семена Ивановича освещалось весьма добродушной улыбкой, и герой мой являлся в новом свете. Вот он высунулся в окно и со вздохом поглядывает по сторонам. У ворот, в двух шагах от него, сидит хозяйская кухарка Прасковья в новом «каленом» коленкоровом сарафане и в цветной косынке на черных, как смоль, волосах и холодно посматривает своими большими карими глазами на двух молодцов, красующихся у ворот постоялого двора. Молодцы эти — кучера каких-то приезжих господ; они расфранчены, как только возможно: плисовые поддевки, красные рубахи, сапоги с красной сафьянной օторочкой; на голове шляпы с павлиньими перьями. Молодцы эти лукаво посматривают на Прасковью и, чтобы заслужить в ее мнении, стараются блеснуть чем-нибудь; они покрикивают на ямщиков соседнего постоялого двора, запрещают им курить папиросы, а сами ни за что не соглашаются погасить своих трубок. Ничто, однако, не привлекало к ним внимания Прасковьи. Семен Иванович, наблюдавший из окна над ухарством кучеров, попробовал сам попытать счастья и не без робости произнес:

— Прасковья! а Прасковья!

Кухарка оглянулась.

— Здорово!

— Здравствуй!

Семен Иванович радовался, что так благополучно началось.

— Что же, Прасковья, муж-то у тебя дома?

— На войне!

— А-а... Его, поди, уж убили?

— Когда бы господь дал!

— Вот как?.. Ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю: жив он или нет.

— О?

— Ей-богу... у меня заведены этакие книги... что угодно... Ты вот что: ты зайди ко мне в комнату, на минуточку...

— Чего еще?

— Ей-богу... Ты чего боишься? Слава богу, я не какой-нибудь! Мы бы с тобою вместе поглядели в книге-то... а? Прасковья?..

— Где такая книга?

Семен Иванович показал ей в окно какую-то книгу.

— Видишь? Тут все: кто убит, кто ранен... все... Прасковья?..

— Ну-кося погляди: Иван из Яковлевского...

— Да ты иди сюда...

— Эва!

— Вот захотела: на улице разговаривать... Ты иди сюда!..

Кухарка подозрительно посмотрела кругом и потом нерешительно произнесла:

— Ну, гляди: обманешь, не жить тебе...

— Иди! Иди!

Кухарка медленно поднялась с сиденья и пошла. Каким победным и сияющим взглядом посмотрел Семен Иванович на соседских кучеров!

XII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЗНАКОМИТСЯ С СЕМЕЙСТВОМ ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Иваныча по тем же причинам, по каким слова кухарки, величавшей его помещиком и богатырем, доставляли ему высокое наслаждение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят надлежащее действие: одна из дочерей Авдотьи Карповны тоже начинает поглядывать на него; затем

между дочерью и матерью происходит какое-то шептанье, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорят о нем. Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся: после посылки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посылки сахару, чаю и проч. окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых; после того, как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги и когда Авдотья известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благотворителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытье: сама Олимпиада Артамоновна, известная в растеряевской палестине за девицу высокопросвещенную и гордую, и та, по словам Авдотьи, пылала к нему беспредельным благоговением. Чего же еще?

Семен Иванович был истинно счастлив. В один вечер прилив доброты и снисходительности к человечеству в нем был так велик, что все живые существа того дома, где жил он, были изумлены не на шутку: Семен Иваныч отпускал каламбуры, шутил, вместо двух кусков сахару отпустил Авдотье целую горсть, без счету. В довершение восторга Семена Ивановича церемонная Прасковья решилась, наконец, напиться у него чаю, после которого и хозяин и гостья уселись играть в карты. В комнате громко раздавались слова: «ходи!», «сдавай!», «держись, иду пятеркой».

— Нет, когда ты меня полюбишь? — говорил Семен Иванович, с треском выкладывая перед Прасковьей козырную тройку; Прасковья крыла тройку и в свою очередь выкладывала перед хозяином «хлюст», прибавляя:

— А этого?

— Нет, когда ты меня полюбишь? — продолжал хозяин, торопливо «принимая» карты.

Эта приятная минута, сулившая, судя по развеселившемуся лицу бабы, полное упрочение дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на пороге комнаты появилась фигура Хрипушина.

— А, друг-приятель! — радостно воскликнул Семен Иваныч.

Но Хрипушин, не отвечая на приветствие, остановился в дверях, развел руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорил:

— Не похвалю! Каково, Семен-то Иваныч? а?.. Не ожидал!.. ай-ай-ай!..

Семен Иваныч смеялся.

— Да какую еще приятную компаньонку себе раздобыл!.. ах ты, боже мой... Не ожидал!.. Где такую бабочку, Семен Иваныч?..

Прасковья тотчас же исчезла из комнаты, шаркая по полу босыми ногами. Хрипушин засмеялся ей вслед.

— Ну, садись!

— Ох, да уж, видно, придется у вас, Семен Иваныч, отдохнуть...

Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво посматривал на него.

— Ты чего таращишься-то? — спросил игриво хозяин.

— Будто не знаете?.. Про энтих-то? про томилинских-то? ничего слухов нет?..

Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул.

— Про каких? — словно ничего не понимая, переспросил Толоконников.— Про кого?.. Какие?..

— А воз капусты-то?.. «Неизвестно кто»?..

— О-о-о! вон куда!.. Будет тебе! Водочки не хочешь ли?

— Нет-с, позвольте! водочки само собой, а это дело своим чередом!.. Еще не все-с!

— Будет, будет! Оставь! Эко разговор нашел!

— Нет-с, позвольте! Приказано благодарить-с, то есть вот как: от души! Даже и слов нет!

Хозяин как бы нехотя попробовал было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал:

— Такого, говорят, благодетеля от роду рождения нашего не видывали! И дай ему, господи, на много лет, чтобы, то есть, в лучшем виде... Ей-ей... Это, Семен Иваныч, зачтется, поверьте!.. А вы что думаете? Да вы сыщите теперь на всем белом свете одного человека, чтобы он, к примеру, по-вашему поступил? Нет-с, бог видит!

Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде. Хозяин таял от слов его и совсем было забыл о водке, если бы гость, у которого, наконец, пересохло горло от длинных монологов, сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее; Хрипушин доказывал хозяину преимущество брачной жизни, на что тот возражал:

— Жениться! Жениться можно, да что проку-то?.. Поди-ка, женись, завоешь!

Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор: принимался восхвалять Олимпиаду Артамоновну, негодуя против слухов, разгуливающих о ней по «растеряевщине», и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерною супругой. Семен Иваныч опять возражал на это, что «жениться можно, да что проку-то? поди-ка, женись». Вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными; Хрипушин понял, что нельзя слишком сильно налегать на хозяина с такими предложениями, и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова, именем Авдотьи Карповны, на пирог в воскресенье, на что Семен Иванович сказал: «подумаю».

В самом деле, намерения Семена Ивановича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чуял таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и «так», без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кой-каких съестных подачек. Все это подтверждается и дальнейшим ходом событий, которые следовали в таком порядке: благодаря содействию Хрипушина Толоконников присутствовал на пироге у Авдотьи Карповны; Иван Алексеич выручал в этот день всех, ел он за семерых и не забывал при этом потешать публику разными анекдотами. Претерпеевы, пристально смотревшие на Семена Иваныча, не нашли в нем ничего необыкновенного, но, вместе с тем, решительно не могли объяснить себе его угрюмости и молчаливости, которая, нужно заметить, охватывала моего героя всякий раз, как только он попадал в незнакомое общество.

После этого пиршества Претерпеевы и благодетель не видались в течение недели. Бедная напуганная Авдотья Карповна полагала, что бесценный Семен Иванович забыл их, обидевшись тем, что за все благодеяния его поблагодарили неудавшимся пирогом с его же капустой. Но подозрения эти оказались ложными. В следующее воскресенье, часу в шестом вечера, когда Олимпиада Артамоновна в задумчивости сидела у окна, на тротуаре показалась фигура Толоконникова. Семен Иванович был в новом сюртуке, который старался спря-

тать под своим рваным пальто. Увидев благодетеля, Олимпиада Артамоновна издала пронзительный крик, и тотчас же вся семья Претерпеевых столпилась у окна и раскланивалась с Семеном Ивановичем.

— Доброго здоровья! — говорил Толоконников, неуклюже приподнимая свой картуз.

— Здравствуйте, Семен Иваныч, заходите!

— Что ж заходить-то... как поживаете?..

— Как мы поживаем? Известно как!..

— Семен Иваныч! нынче фейерверк в саду! — совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна из претерпеевских барышень.

— А господь с ним!..

— И правду!

Всем желательно было пойти в сад и посмотреть фейерверк, но в то же время все почему-то «боялись» посторонней публики.

— Эка невидаль! — продолжал Семен Иваныч.— Да опять и отсюда увидим, ежели на то пошло, место высокое, гора, далеко видно...

Все немедленно согласились с этим.

— А в случае ежели пройтись угодно, так и это можно... Мало ли где? И без толкотни.

Претерпеевские барышни тотчас же оделись и вышли. Семен Иваныч повел их на кладбище; здесь уже в самом деле не было ни единой живой души, только какие-то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семен Иваныч направился с дамами прямо к этой могиле и, сняв шапку, достоял погребение. Затем прогулка продолжалась в грустном молчании; все были неприятно настроены похоронами. Семен Иваныч вздыхал, говорил о смерти, о загробной жизни.

— Семен Иваныч! вон ракету пустили!

— Ну что же, господь с ней! О-ох, господи боже мой, подумаешь о смерти-то иной раз...

Все вздыхали; вдали, за кладбищенским валом, семинаристы играли в лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки, и из облака пыли, затопившей город, по временам вылетали ракеты.

— Семен Иваныч! вон еще!..

— Господь с ней! — повторил Семен Иваныч.

А Авдотья Карповна прибавила:

— А вот и Артамона Ильича могилка!..

Это известие уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствие от прогулки. Всеми овладели уныние и скорбь. Претерпеевы воротились домой с растерзанными сердцами.

Такие посещения Семен Иваныч начал делать все чаще и чаще. Иногда он приносил какое-нибудь угощение: фунт каленых орехов, десяток яблок. Наконец уважение, выказываемое ему Претерпеевыми, до такой степени разлакомило его, что он уже не мог пробыть минуты, не испытывая приятности этого уважения и раболепства. Семен Иваныч решил нанять квартиру у Претерпеевых и таким образом покинуть Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого он тотчас же поругался с хозяином, так как переменить квартиру, не поругавшись с хозяином, казалось ему делом невозможным, и принялся перевозить вещи.

В один день, вслед за возами, въезжавшими на двор Претерпеевых, шел Хрипушин; он осторожно держал одной рукой маятник, в другой придерживал полы своей шинели, по причине непроходимой грязи, и прожевывал какую-то закуску, которая сильно раздула ему щеку.

Вечером, когда в новой квартире Толоконникова было все прибрано и хозяин с удовольствием поглядывал на свое добро, Хрипушин сладким голосом проговорил:

— Вот бы, Семен Иванович, жениться вам? Ей-богу!

Но Семен Иванович отделался своей обычной фразой, сложившейся в его голове по поводу этого предмета. Таким образом, Толоконников, или «благодетель», поселился в самом центре покоренной его благодеяниями области и продолжал доканчивать это покорение, чего требовало его жадное самолюбие.

Сначала, с непривычки на новом месте, Семен Иванович поступал с хозяевами чрезвычайно предупредительно и вежливо.

— Не нужно ли вам, Авдотья Карповна, сахару?

— Нет, нет, и так много! Покорнейше благодарим!

— Отчего же? Берите, когда есть... Да вам шкатулки не надо ли?

— Что это вы, Семен Иванович! Ей-богу, вы нас совсем конфузите... Мы и слов не найдем благодарить вас.

— Эва что! — добродушно заключал Семен Иванович, и шкатулка оставалась у Претерпеевых. Точно таким ласковым манером были снабжены Претерпеевы всем необходимым в хозяйстве; в их комнатах появились разные вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконников был ужасно рад, не сомневаясь, что власть его возрастает; но Претерпеевых задавили эти благодеяния.

Все эти шкатулки, самовары и прочие вещи, принадлежащие благодетелю, были чем-то вроде казенных печатей, наложенных в обеспечение чьего-либо прикосновения; Семен Иванович своими благодеяниями наложил точно такие же казенные печати на свободную волю благодетельствуемых им лиц. Благодеяния до такой степени стеснили бедную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва ли не лучшим временем против теперешнего. Наравне с самоварами, сундуками и прочими символами величия Семена Ивановича не менее одуряющим образом действовало на Претерпеевых и самое реальное величие благодетеля. Слушая, с каким трепетом произносится его имя, как дрожит вся семья Авдотьи Карповны, если кухарка разобьет тарелку, принадлежащую благодетелю, или одна из дочерей закапает чаем скатерть, Семен Иванович не чуял под собой земли.

Ни к Претерпеевым, ни к Толоконникову никогда никто не показывался, и Семен Иванович поэтому мог благодушествовать как ему было угодно: порабощенная им семья с глубокою робостью внимала каждому его слову и суждению, которые только впервые начали шевелиться в голове Толоконникова и были иной раз, поистине, изумительны. Каждое мнение его, как бы оно ни было уродливо, принималось безапелляционно, и поощренный этим Семен Иванович, незаметно для самого себя, начал понемногу предъявлять новые и новые требования. Избалованная общим раболепством натура его уже требовала разнообразия. Семен Иванович, являвшийся прежде к хозяевам не иначе как в сюртуке или в шинели, надетой в рукава, начал являться в халате, очевидно, уже не страшась отвращения Олимпиады Артамоновны, или приносил девицам какую-нибудь принадлежность своего туалета и просил пришить пуговицу также без всякой церемонии.

Посягательства Семена Иваныча в таком роде про-

должали усиливаться все более и более, так что в один день в семействе Претерпеевых происходила следующа сцена.

Семен Иваныч, уже разъяренный и надувшийся стоял против трепещущей семьи Авдотьи Карповны грозно вопрошал у нее:

— Что я сказал? Я что вчера сказал?

— Семен Иваныч!

— Что я говорил? Договорюся или нет? а?

Семья дрожала и безмолвствовала. Семен Иваныч сердцем хлопнул дверью и скрылся.

— Что теперь делать? — захлебываясь от ужаса, шептала Авдотья Карповна.— Господи! Чай, обедать не пойдет? Что наделали? Что такое это он говорил?

— Мы почем знаем? Мало ли что он говорил! отвечали испуганные дочери.

— Ах, господи! наказал господь!..

Стол был давно накрыт, но Семен Иваныч не являлс Авдотья Карповна, еле таскавшая ноги от страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его в саду; Семен Иваныч лежал в беседке, повернувшись лицом к стене

— Семен Иванович, кушать подано! Что вы, бла годетель наш, сердитесь? Вы скажите, что вам угодно, мы вам в одну минуту сделаем... А то как же так, не сказавши ничего?

Семен Иванович молчал.

— Благодетель наш! — повторила Авдотья Карповна.

Но ответа не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась в комнату и не знала, что делать. Наконец ей пришло в голову отправить депутатом самую младшую дочь Стешу, на которую Семен Иваныч обращал особенное внимание и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имевшей в этом похоже никакого успеха и не дождавшейся от благодетеля ни слова, отправилась Олимпиада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потом опять сама Авдотья Карповна. Все они робко подступали к лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать и, ответом на эти приглашения, имели несчастие видеть ту же неподвижную спину благодетеля.

После тщетных стараний Претерпеевы решились обедать одни; аппетит оставил их, кусок останавливался в горле, и обед прошел среди молчания и тяжких вздохов. Кухарка убрала, наконец, посуду и собиралась от-

дохнуть на печи, как неожиданно в комнату вошел Семен Иваныч и в грозной позе остановился перед Авдотьей Карповной.

— Это что же такое? — сказал он,— за мои хлопоты да я же голодный хожу?

— Семен Иваныч, да ведь вас звали!

— Все натрескались, а мне куска хлеба нету?

— Да, батюшка! благодетель наш!..— начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодетель вторично хлопнул дверью и вторично исчез.

Через пять минут в беседке опять новая происходила сцена: Семен Иваныч по-прежнему лежал лицом к забору. За его спиной вся семья Претерпеевых суетилась около стола, таская тарелки, миски с разными кушаньями и проч. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

— Семен Иваныч, подано-с! кушайте, отец наш, а то щи простынут.

Семен Иваныч нехотя повернул к публике голову.

— Это что же такое? — угрюмо и как бы не понимая, в чем дело, проговорил он.

— Обедать-с...

— Это в шестом часу-то?

— Да что ж делать, когда вы не изволили кушать?

— Да какой же черт обедает ночью? Люди от вечерен пришли и чаю напились, а у нас обед?

— Семен Иваныч!

— Тьфу!

Благодетель быстро повернулся опять к стене и замолк.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждала какого-нибудь слова от него. Семен Иваныч молчал и, казалось, заснул. Тогда решено было перенести кушанья назад, в комнату, так как, стоя на открытом воздухе, они могут быть растасканы птицами или съедены собаками. Едва только это было исполнено, как Семен Иваныч снова появился в кухне.

— Где тут,— грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке,— где тут у вас корки собакам валяются?

— Господи помилуй! Семен Иваныч! батюшка! Что это! Корки! Как можно!

— И корки-то мне нету?..

— Господи!

Семен Иваныч ушел, не дождавшись объяснения.

Через минуту он стоял у низенького забора и разговаривал с соседом-сапожником.

— А? — говорил он.— До чего я дожил! Корки не дают хлеба! а?

— Цссс! Боже мой!

— А? За мою хлеб-соль да я же не имею пропитания? Это что же будет?

— Семен Иваныч, отец наш! — рыдала из окна Авдотья Карповна.— Что ты, господь с тобой!

— А? — продолжал Семен Иваныч, обращаясь к сапожнику.— Вот как, друг! Поишь, кормишь, а заместо того с голоду околевай!.. а? Верно, только у бога правду-то найдешь!..

— Это точно! только у одного бога!..

— Д-да! Но авось и добрые люди не оставят... Дай хоть ты мне корочку какую... Чай, собакам тоже кидаешь? так мне этакую... собачью!

— Зачем же-с! мы, Семен Иваныч, с удовольствием.

— Нет, собачью!..

— Что вы! Да мы сколько угодно!

— Нет, дай собачью!..

Только ночью, когда лица всей семьи распухли от слез, Семен Иваныч решился войти в свою комнату; в глухую полночь, когда все заснули, он сам отправился в кухню, вытащил из печи горшок со щами и с жадностью пожирал их среди глубокой тьмы и безмолвия.

Такие штуки благодетель начал разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя в семье Претерпеевых никакой к себе нравственной, сердечной привязанности и зная, что им, в сущности, не за что чувствовать ее, он, как истинный деспот, находил утешение в безграничном пользовании своими правами над людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобретательность его в деспотическом желании довести семью до непрестанного к нему внимания и страха перед ним доходила до высокой виртуозности; вариации, которые он выделывал из преданности Претерпеевых, были, поистине, изумительны. Упитанный по горло всяким почтением и уважением, Семен Иваныч совершенно переродился; он сделался веселей и смелей; никакие насмешки сослуживцев не могли поколебать спокойствия его духа. Раз, когда один из

чиновников вздумал было над ним подшутить, Семен Иваныч, не говоря ни слова, хлопнул шутника по голове связкой бумаг и прошел мимо.

Но вместе с возвышением величия Семена Иваныча упадала все более и более нравственная свобода Претерпеевых; все они оглупели, обезумели и превратились в каких-то автоматов, с тою разницей, что у них были сердца, поставленные в необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всем их одеревенении, дальнейшие деяния благодетеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и, наконец, решилась произнести:

— Да лучше мы милостыню пойдем собирать, чем этакое мученье!

— Да ей-богу! — вторили дочери.

— Авось найдутся добрые люди, не оставят!

Всеми было решено не поддаваться больше фантастическим желаниям Семена Ивановича. Олимпиада Артамоновна первая решилась привести это намерение в исполнение и обещалась завтра же пригласить в гости чиновника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражал желание познакомиться с ее маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасть на глаза Семену Ивановичу.

«Что же, в самом деле? — думала Олимпиада Артамоновна.— Докуда это будет?»

Однажды Семен Иваныч, довольный и счастливый, лежал в своей комнате,— дело происходило после обеда. Он совершенно не подозревал, что против него строятся козни, и потому можно представить ужас, который овладел им в тот момент, когда через отворенную в сени дверь он увидел фигурку юного писца Сладкоумова. Писец Сладкоумов был в белых, туго натянутых панталонах, в новом форменном вицмундире, красных вязаных перчатках, а волосы его были густо напомажены. Дерзкий гость, не замечая Толоконникова, осведомился у кухарки — «дома ли Авдотья Карповна?» и вошел в комнату.

Семен Иваныч был вне себя. Он узнал, что благодетельствуемая им семья знает людей кроме него и думает не исключительно о нем. Через секунду он узнал еще, что Претерпеевы не только думают о посторонних людях, но имеют дерзость и уважать их, ибо тотчас

после того, как Сладкоумов вошел в комнату, из дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торопливо сказала кухарке:

— Марьюшка! голубушка! ради бога, самовар! поскорее, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова с тем же трепетом в голосе, какой привык слышать Семен Иваныч только для себя одного. Благодетель не выдержал и закричал:

— Марья!

Явилась кухарка.

— Принеси самовар сюда!

— Там гость пришел.

— Принеси, говорю. Самовар мой!.. Пошла!

Кухарка принесла самовар. Семен Иваныч, пожираемый злобой, думал: «Ну-ко, пусть узнают, как без меня-то?» К несчастию моего героя, через несколько минут в его комнату отворилась дверь, и кухарка, показав ему какой-то другой самовар, с сердцем крикнула ему:

— И без тебя обошлись!

— Вон отсюда!

— Цалуйся с своим самоваром... Вон соседи дали! Скареда!

— Вон, говорю, бестия!..

— У-у! барин!..

Благодетель выскочил на двор, вызвал соседа-сапожника — и началось бушеванье.

— Грабители! — кричал Семен Иваныч.— За мою хлеб-соль!.. Анафемы!

Сапожник был в недоумении.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворе, была ни жива ни мертва. Чиновник Сладкоумов тоже дрожал, как в лихорадке.

Дверь отворилась, и вошел сосед-сапожник с ремешком на голове и уже сильно под хмельком. Семен Иваныч угостил его.

— Сахарницу пожалуйте! — грубо заговорил он.

— Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь с вашим сахаром! — выходя из себя, закричала Авдотья Карповна.

— Нечего нам давиться... Мы берем свое! Это все наше!.. Давиться! Обирать человека ваше дело, а за все благодеяния только безобразничаете? Пожалуйте нашу небиль! Это все наше! Так-то! Семен Иваныч переезжают...

— Берите! Берите всё! — кричала Авдотья Карповна.— Когда нас господь избавит от вас! Господи!!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писец Сладкоумов улизнул вон из комнаты и, пробегая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему под ноги Семеном Иванычем.

В этот день Семен Иваныч убедился, что могущество его рушилось. Он снова помирился с хозяином старой квартиры; но прежде, нежели переехать, пробовал отомстить Претерпеевым за нарушение покоя его души. Каких-каких не выдумывал он штук. Объявив Авдотье Карповне: «съезжаю с квартиры!» он думал заставить ее снова повергнуться к стопам его; но, к ужасу благодетеля, Авдотья Карповна отвечала: «хоть сейчас!»

Тогда Семен Иваныч сказал:

— Нет, погоди! Мне еще семь дней сроку, по закону! Нет, врешь!

— У нас жилец есть на ваше место, Сладкоумов! — говорили ему.

— А! жилец! нет, погоди!

И Семен Иваныч продолжал сидеть на старой квартире, отобрав у Претерпеевых свою посуду, провизию, дрова, словом — оставив их в руках самой отчаянной нищеты.

— Семен Иваныч! батюшка! — умоляли его.— Нам есть нечего! Переехал бы Сладкоумов, все бы как-нибудь, хоть рублишко какой дал...

— Нет, еще погоди! Мне и сверх срока пять дней льготы!

Благодетель переехал только тогда, когда узнал, что Сладкоумов женился на мещанке, следовательно, жить у Претерпеевых не будет, а другого жильца еще и в помине нет.

Семья Авдотьи Карповны снова заголодала. Снова горькая вдова принялась собирать сухие купеческие пироги и проливать слезы на подъездах палат и канцелярий.

И вот Семен Иванович по-прежнему на старой квартире, по-прежнему в Растеряевой улице; у него те же хозяева, та же старуха Авдотья и вообще все, как и прежде. Вечер. Комната освещена ярким сиянием лампад. Тишина. Семен Иваныч и Хрипушин сидят на противопо-

ложных концах комнаты, и среди молчания, долгое время не нарушаемого, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

— Вот бы вам, Семен Иваныч, жениться теперь: самый раз! — робко говорит Хрипушин; но Семен Иваныч отвечает на это глубоким вздохом.

Опять настает молчание...

— Ну-с, Семен Иваныч,— поднимаясь и вздыхая, говорит медик,— пора!

— Куда же ты? — жалобно произносит хозяин.

— Нет-с, пора!

Семен Иваныч остается один; тоска гнетет его; он вздыхает все глубже и глубже, и, наконец, мертвая тишина комнаты нарушается заунывным пением. «Ду-ушу моою!..», закрыв глаза и захлебываясь от тягости наплывающих ощущений, тянет Семен Иваныч. «У-услыыши, господи, молитву-у мою...»

В комнате по-прежнему пахнет деревянным маслом. Ветер бьет ставней. Неисходная тоска!..

Хрипушин шел по темным и пустынным переулкам. Был октябрь в конце; в одно время падал снег и дождь, вследствие чего топь на улицах стояла непроходимая. К ужасам грязи присоединялся порывистый ветер, поминутно сметавший с крыш талую воду и обдававший ею Хрипушина с головы до ног

— Господи! — стонал Хрипушин с растерзанным сердцем и вязнул в грязи.

XIII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ «У ПРИСТАНИ»

Мало-помалу Иван Алексеевич стал реже показываться в «растеряевской окру́ге» и, по-видимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских и томилинских пациентах, нечаянные встречи с которыми почитал за истинное счастие.

А встречи эти иногда бывали.

Так, он шел однажды по большой городской улице; дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ: шли ко всенощной, в баню, из бани; мастеровые спешили за расчетом, несли самовары, ружья и револьверы.

— Иван Алексеев! — окликнул кто-то Хрипушина.

Хрипушин обернулся и увидел Семена Иваныча Толоконникова: он возвращался из бани.

— Какими судьбами! — воскликнули оба друга разом, пытливо оглядывая один другого.

— Ах, батюшка, Семен Иваныч! а? Сколько лет не виделись-то? Какая перемена!

— Переменишься, брат!

— Ей-бо-огу! Ну, как же господь милует вас?..

— Ничего, помаленьку. Ты-то как?

— Что мы! Наше дело тьфу! Вы как поживаете?

— Слава богу. Слышал али нет?

— Что такое?

— Женился!

— Семен Иваныч?

— Я!

Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза.

— Вы? женились?

— Я, я! Чего ты ощетинился-то?.. Пойдем-ко! Какая жена-то!

Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Иваныч, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти сорок десятин земли в приданое двум дочерям; одной из них было в то время двадцать четыре года, другой — шестнадцать; первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила ненависть матери. Умирая, отец начертал в духовном завещании, в видах обеспечения старшей дочери, следующее: «Младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая, в противном случае она лишается двадцати десятин земли, а старшей достаются все сорок». Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физиономией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви: она молода и недурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакие сорок десятин не могли победить отвращения женихов; младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что, кроме отвращения и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой; ей не было покою ни днем, ни ночью от упреков ма-

тери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение и презрение родных, Марья работала за семерых: мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и проч. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Иваныча.

Когда Толоконников, рассказывая историю женитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина:

— Так настращена, так настращена, боже защити!

Медик робко поглядел на Семена Иваныча и увидел, что ответить надо так:

— Что ж? Слава богу!..

— То есть вот как: ни-ни-ни!

— Слава богу! — повторил Хрипушин.— Ей-ей!

Затем, в доказательство «настращенности» жены, Семен Иваныч рассказал, что во все время его сватовства теперешняя жена его целовала у него руки.

— Позвольте попросить у вас воды, скажешь иной раз ей,— рассказывал Толоконников.— Тую же минуту несет воду и чмок в руку!.. Каково?

— Чудесно! — бормотал Хрипушин.

Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Иваныча.

— Иван Алексеев! — сказал он шепотом, держась за кольцо калитки,— ты погляди-ко вот, что я тебе говорил... как напугана-то!..

— С великим удовольствием!

Едва только шаги Семена Иваныча раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке.

— Вот жена! — сказал Толоконников.

Хрипушин засвидетельствовал почтение.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся физиономия ее носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров не давал возможности обратить внимания на ее безобразие. Человек, впервые попавший в Томилинскую улицу, словом — человек свежий, при взгляде на эту женщину неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть, но томилинец, и на этот раз Семен Иваныч, засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушин разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подста-

вил он жене спину, для того чтобы она сняла шинель и из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, к которым она было уже бросилась.

— Самовар! — кротко и нежно пропел притворяющийся зверь, входя в комнату.

Жена мгновенно исчезла в кухню.

— Видел? — шепнул хозяин гостю.

— То есть вот как: лучше не надо!

— А?

— Золото! Как есть золото!

— Что еще будет! Ты погляди-ко!

Самовар явился мгновенно. Жена Семена Иваныча с тем же испугом суетилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, не торопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушину, произнес:

— Маша-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебе сегодня сказал?..

Семен Иваныч подмигивал Хрипушину и указывал головою на жену, которая безумными глазами бегала по стенам, очевидно торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семен Иваныч... все...

— Что я сказал?

Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иваныч подозвал ее к себе и сурово произнес:

— Гребешок! Я сказал: «Приду из бани, чтобы гребешок!»

Но жены уже не было в комнате, она бросилась за гребешком.

— Видел? — произнес хозяин.

— Сам бог вам посылает! Истинно: слава богу!

Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иваныч устраивал перед всеми своими знакомыми, которыми в последнее время обзавелся; знакомые эти были: почтальон, мучной лавочник и дьякон. Все они хвалили Семена Иваныча за его уменье обращаться с женой.

Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила ме-

дику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна — жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствие мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к ней по утрам, когда Семен Иваныч бывал на службе. Убеждение в предупредительности женщин не обманывало медика, и он всегда получал от Марьи Филипповны водку. С своей стороны, подобною же предупредительностью платил хозяйке и Хрипушин. Всякий раз, замечая, что при появлении его Марья Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал:

— Али чем больны?

— Нет, Иван Алексеевич,— это так!

— Как же так-то?

— Скучно!

— О чем же скучать изволите?

— Да так... просто... скучно сделалось!..

— Гмм!..

— С родными не видалась давно... вспомнила, ну, и...

— Так, так... Да вы, Марья Филипповна, вот как: вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеек... Я вам сварю одну примочку!

Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны: ей было о чем плакать. Впрочем, Семена Ивановича она не винила в своих слезах: она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных.

Не могу подробно рассказать, что сталось с Претерпеевыми; достоверно только то, что Олимпиада Артамоновна живет не в Томилинской улице и не в родительском доме; источники ее существования никому не известны, но томилинская и растеряевская «молва» отзывается о них весьма неодобрительно.

Более о ней мы сказать ничего не можем.

XIV. РАЗНЫЙ РАСТЕРЯЕВСКИЙ ЛЮД

Теперь следовало бы возвратиться к жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончание его карьеры. Но у нас есть еще два-три лица из растеряевцев, которых хоть и нельзя назвать «главными» действующими в растеряевском житье-бытье лицами, как Про-

хор Порфирыч и Хрипушин, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о них необходимо.

1. Книга

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «нечто», припасенное Юрасом для неработящего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призору». Кабаньи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на полатях в кухне, водили в церковь в нанковых больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, понесенных через этого сироту. Пролежал на полатях сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья, от нечего делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно *книга* в глазах его приняла вид и смысл совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжалился: книга была куплена, и сирота замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука, учиненное английскими кораблями Революцией и Адвентюром». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и, наконец, сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. По ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, летал с полатей во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть, Котельников понял это сумасшествие по-своему.

— Ну, Алифан,— сказал он однажды сироте,— гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно ска-

зать, из последнего натужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мне стоил... Так ли?

— Я, кажется, до веку моего буду ножки, ручки...

— Погоди. Второе дело, старался я, себя не жалел сделать тебе всяческое снисхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, вот книгу купил...

— Ах! — вскрикнул Алифан в восторге.

— Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел; а спроси-кось у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно, исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главнее стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи воздашь ты мне малыми препорциями. Ибо придумал я тебе по твоей хворости особенную должность, дабы имел ты род жизни на пропитание.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными в свою очередь из какого-то прошения.

Скоро Алифан вступил в новоизобретенную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, нитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятиалтынный. Этот пятиалтынный приносил он все-таки к Котельникову, будто бы на сохранение. «У меня целей»,— говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как вместо полутора аршин тесемок отмеривал три и пять, или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без копейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука и, заикаясь и бледнея, принимался

прославлять подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, наскучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о жар-птице, скоро подняли несчастного Алифана на смех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

— Ах ты, батюшки мои, угораздило же его,— Кук! Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

— В тину, вишь, заехал... На карапь сел, да в тину... Ха, ха, ха...— помирали кучера.

— Кук! Кук! Кук! — визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускал в мальчишек; смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

— Ку-ук! Ку-ук! — голосила улица. Общему оранью вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные и в особенности обывательницы с улыбкой встречали его и, купив на пятачок шпилек или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

— Ну как же Кук-то этот? — спрашивали они.— Как ты это говоришь, расскажи-ко?

— Да так и есть...

— Как же это? плавал?

— И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного — и Алифан воодушевлялся, чудеса чужой стороны подкрашивались его пылким воображением, и картины незнакомой природы выходили слишком ярко и чудно́. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре» по морю, среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

— Батюшки, умру! Умру, умру, спасите! — вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и над Куком и над рассказчиком, продержат от скуки часа три скажут:

— Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халат, сшитый опекуном еще в первые годá опекания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если иногда Алифан принимался раздумывать о своих несчастиях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капитан Кук. Но было уже поздно!

Таким образом, известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в трясинах растеряевского невежества; погиб — раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось:

— Вон Алифан читал-читал книжки-то, да теперь эво как шатается... Ровно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она ведь тебя не трогает?.. Дохватаешься до беды... вон Алифан читал-читал, а глядишь — и околеет как собака...

2. Балканиха

Тьма вопросов, являющихся у растеряевца в минуты «отчунения», требует такого помощника в уразумении их, какого Растеряева улица не видала еще ни разу с того времени, как вытянулись в кривую линию ее косые заборы и приземистые лачужки с своими голодными обитателями. Поэтому растеряевец с давнего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих. Только что рассказанная история с книгою и факты будничной жизни скажут наивному наблюдателю, полагающему, что в минуты жажды совета и уразумения не худо бы подсунуть растеряевцу нечто общедоступное или даже общезанимательное,— будничный опыт скажет такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будут тщетны вполне. Голодный лунатизм Алифана только

подкрепит взгляд растеряевца на непонятную вещь, именуемую «книгою», и по-прежнему сомнения его и надежды будут в руках умов мудреных и загадочных, говорящих необыкновенными словами... Такие мудреные умы есть у многих растеряевских баб, одну из которых я тотчас же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вероятно, всякому приходилось не раз встречать тип необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходит в церковь, пользуется всеобщим почетом, именуется «матушкой», получает за обедней просвиру наравне с генералами и заслуженными людьми. Вот именно все такие качества совмещает в себе Пелагея Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность ее знатностью дворянского рода, от которого будто бы она происходила. К несчастию, документы о ее происхождении были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды *отыскать дворянство*, тем не менее улица наша смотрела на нее пока как на мещанку, супругу маленького и тощенького мещанина. Но даже и в звании мещанки Балканиха обратила на себя внимание растеряевцев, как женщина умная; этому главным образом способствовали непостижимые, но самые существенные средства, которые употребляла она для укрощения мужа. Холостяком он слыл за вертопраха и сорви-голову; женившись — присмирел, оглупел, словом — сделался тряпкой. Средства, употребляемые Балканихой для его усмирения, мало того что были непостижимы, можно сказать наверное, не имели в себе ничего зверского, что почти невозможно в наших нравах. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу в *лохань* ни разу; в серьезном выражении ее почти мужского лица, в ее строгих, но всегда спокойных глазах, даже, быть может, в этих небольших усах, которыми была наделена она от природы, было что-то такое, что заставляло мужа ее осматриваться, самому *придумывать* себе вину и просить извинения. Вследствие такого постоянно замирательного положения муж Балканихи начал питать к ней какую-то тайную ненависть, утешая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей теми же мучениями, какие испытывал теперь сам. Но Балканиха не изменялась, и неотомщенный муж смирялся все более и более. Супруга

приучила его подходить к ручке, по воскресеньям поздравлять с праздником, в известных случаях говорить. «виноват, не попомните!» Дело усмирения подвигалось вперед все быстрее и успешнее и окончилось одним весьма трагическим происшествием, о котором рассказывает растеряевская молва. Муж Пелагеи Петровны, привыкший все делать в темном углу, потихоньку, однажды вознамерился отведать на старости лет, стыдно сказать, вареньица! С замиранием сердца пробрался он в чулан, достал и развязал банку, проглотил одну полную вареньем ложку, и только что запустил было ее в другой раз, как неожиданно на пороге показалась серьезная фигура Балканихи...

Супруг вздрогнул, выпустил из рук ложку... и будто бы тут на месте испустил дух!

Пелагея Петровна была так уверена в справедливости своей власти над мужем, что даже в ту минуту, когда увидела труп его и когда, казалось, все земные прегрешения должны бы были забыться, она все-таки, по словам очевидцев, не могла не произнесть:

— Вот ежели бы ты как следует пришел бы да попросил у меня вареньица-то, а не воровски поступил, остался бы ты жив-живехонек. А то вот, господь-то и покарал!..

На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез и причитаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевские бабы не имели оснований упрекать ее в холодности и бессердечии. Совершив все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила в новый период жизни — «принялась вдоветь». В ее власти находился небольшой собственный дом с мезонином, огород с несколькими кривыми яблонями, разбросанными там и сям, баня и небольшое количество разного рода добра, которое сумела скопить она. Из приближенных к ней людей остались с нею неразлучны по-прежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая все должности от наперсницы до поломойки, и приемыш Кузька, самоварщик, о котором будет в своем месте более обстоятельная речь.

Прежде всего после смерти мужа она отправилась пешком к Троице-Сергию, так как давным-давно обещалась богу сделать этот подвиг, и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирного и благочестивого жития. С этих пор начинается ее власть над нашей улицей.

Рассказы про угодников божиих, про чудеса были до такой степени обворожительны в ее устах, что все бабы нашей улицы толпами стекались слушать их и выносили из Балканихиного жилища самые светлые ощущения. Пелагея Петровна не пользовалась, однако, этою минутною славою: при полной возможности шататься с своими рассказами по дворам и опивать на чаю весь женский пол нашей улицы, она этого не делала; напротив, в самом разгаре первой славы своей, она по-прежнему сидела с шерстяным чулком в руках в своей маленькой каморке и басом пела «Да исправится», подражая напеву «лаврскому». Авторитет свой она устраивала не торопясь. Этому много способствовала Харитониха, которая от нечего делать находила возможность слышать и знать все, что делается у соседей и вообще по всей улице. Балканиха слушала ее без малейших признаков любопытства и только иногда, выслушав рассказ, одевалась и шла на место происшествия, где и давала разные советы. «Вы хоть бы погрели у печки одеяло-то,— говорила, например, она,— а то этак-то и в гроб родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы — человек слаб, а вы ему в самое дыхание ладаном надымили. Разве это возможно!.. Дайте ему очнуться, может он вовсе и к смерти не принадлежит...» И случалось, что родильница, лежавшая под нагретыми одеялами, вдруг выздоравливала, или что человек, который по случаю загула пролежал дня два недвижимо и которого начинали уже душить ладаном, приготовляя на тот свет, вдруг, после совета Балканихи, приходил в чувство и хриплым голосом произносил:

— Ах бы солененького!

Все это служило Балканихе к добру.

— Дай вам, господи, доброго здоровья, матушка Пелагея Петровна,— говорил воскресший растеряевец.— Без вас я, кажется, давно бы душу отдал, и опохмелиться бы не пришлось!

Так потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось; в существе же дела она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ее ум, ограничивавшийся в прежнее время уходом за супругом и домашними заботами, теперь имел более пищи, развивался и приобретал даже несколько философское направление. Балканиха начинала чувствовать в

своей голове ум *несказанный:* ощущение совершенно новое и приятное, тем более, что вся наша улица не испытывала этого ощущения, ибо не имела ни минуты свободной на то, чтобы заглянуть в собственные мозговые сокровищницы. Мудрствования и философствования были необыкновенно приятны для нее, и она часто нарочно устраивала разные философские маневры, чтоб, во-первых, явственнее познать силу своего ума, а во-вторых, более изощриться в философских тонкостях. Такие маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи к этому дома представлялись частые.

Один из жильцов ее был городской извозчик Никита, нанимавший у Пелагеи Петровны баню. У Никиты была огромная семья, и Балканиха из жалости брала с него только рубль серебром в месяц, с тем, однако же, условием, что всякую субботу, когда топится баня, Никита должен был выбираться оттуда с семьей и пожитками в сад.

Баня особенно часто топилась зимою, следовательно, Никита знал вполне, что такое холод. В той же мере знал он, что такое и голод, потому что с давних, почти незапамятных времен испытывал неописуемую нищету. Кто из трех врагов, опекавших его, голода, холода и запоя, явился прежде, вообще с чего началось его бездомничество,— решить было очень мудрено. Пелагея Петровна, как женщина сердобольная, иногда предпринимала походы в области грешной души Никиты, с целию возвратить его на путь истины. Такие походы совершались преимущественно после обеда, когда мухи и жара не дают никакой возможности заснуть. В такую пору Балканиха обыкновенно завешивала окна платками и среди темной комнаты, с жужжащими у потолка мухами, вела отрывочные разговоры с Харитонихой. Эта верная наперсница всеми мерами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, над которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она сообщала сплетни, новости, пересуды. Истощался этот материал, Харитониха поднимала вопросы вроде того, что правда ли, будто рыжие в царство небесное не попадут, и нет ли этому какой-нибудь основательной причины? Если же истощался и этот запас, то Балканиха вдруг начинала чувствовать потребность доброго дела и приказывала звать Никиту, предварительно справившись: в рассудке ли он?

Никита-а! — звала Харитониха.

Сейча-ас! — отзывался Никита из сарая.— Чего там?

— Пелагея Петровна зовут к себе.

— Но-о! — злобно рычал Никита, стиснув зубы.— Зачесалось! Опять воловодить начнет... Иду!.. Как только это не совестно мучить человека... Скажи: иду!

Скоро действительно Никита входит в комнату Балканихи. Он делает низкий поклон, шепотом здоровается, отступает шаг назад к двери, обдергивает рубашку и с пугливым недоумением ожидает допроса. Пелагея Петровна начинает издалека; она задает ему вопрос: «куда душа человеческая надлежит *по-настоящему*», полагая про себя, что всякая истинно христианская душа надлежит в рай.

Никита недоумевает.

— Не понимаешь?

— Мал-ленечко, точно что... есть препону!

— Ну, ты подумай.

— Слушаю-с...

— Тогда и скажи. Только хорошенько подумай.

— Да уж будьте покойны... Слава богу!.. Али мы!.. Приму все силы...

Настает мертвое молчание. Никита думает, по временам взглядывая на потолок; откашливается, потихонечку вздыхает и вдруг говорит, направляясь к двери:

— Я, матушка Пелагея Петровна, на минуточку...

— Нет, ты погоди!

— То есть... одну только минуту...

— Нет, нет... постой! Ты сначала скажи, что следует..

— И в самом деле,— соглашается Никита,— лучше же я теперича скажу вам все...

— Ну, вот...

— Да тогда уж и отлучусь. По крайности объясню вам. Во сто раз лучше...

Никита понимает всю безвыходность своего положения и с особенным напряжением ума старается разузнать истинные позывы свой души.

— Ну? — спрашивает Балканиха.— Куда же наша душа надлежит по-настоящему?

— Душ-ша наша,— робко и протяжно начинает Никита,— душа наша, матушка Пелагея Петровна, главнее норовит по своей пакости как бы, например, согрешить, например, в кабак...

— Глупец! — вскрикивает Балканиха.— Что ты это сказал!

Пелагея Петровна даже вскочила с своей кровати и подступила к Никите, который испуганно подался к двери.

— Опомнись! Что ты сказал? В рай нашей душе по божьему писанию надлежит, а не в кабак! безумец этакой, в ра-ай!

Никита спохватился.

— Так! так!.. в рай! в рай-с!.. это точно... Ах ты, боже мой! а я эво куда... Ах!..

— Нет, как ты осмелился это сказать? а? — еще ближе подступая, горячится Балканиха.

— Да что будешь делать! Хорошенечко не оглядел-ся, ну, и... В рай-с! Будьте покойны! так, так...

— Ай-ай-ай... Видишь ты, как враг-то тебя оплел?.. а? В кабак! Следственно, душа твоя до какого же безобразия искажена? У кого же ты теперича будешь просить защиты?

— У кого ж, окроме вас...

Балканиха даже всплеснула руками и, отступая в глубину комнаты, воскликнула:

— Да что ты это? Очумел ты? У б-бога! только у бога одного!.. Сотвори крестное знамение...

— Прошибся! Не подумавши сказал... Виноват! Я было, признаться, и хотел-то это самое сказать, да маленечко, по грехам, не туда прохватил...

Озадаченный философским ухищрением, Никита уже с полным смирением слушал дальнейшие речи Балканихи и считал непременным долго соглашаться с ней во всем; да и нельзя было не согласиться. Она так ярко изображала падшую его душу, стремящуюся прежде всего в кабак, так явственно рисовала ужасы адских мучений, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видел он себя с огненной сковородой в руках, то чувствовал, как в его грешную спину загоняют железный крюк, чтобы повесить над огненной бездной...

— Верно! — произносил он в ужасе.— Верно, матушка Пелагея Петровна! Ах, справедливо!

Дело обыкновенно сводилось к тому, что Никита начинал клясться перед образом:

— Ежели только каплю, громом расшиби!

— Смотри! — говорила Балканиха.

— Будьте покойны! Ни в жисть не будет этого!

— Смотри!

— Даже ни-ни! Ни боже мой! Легкое ли дело... ни-ни! Пожалуйте вашу ручку.

— Цалуй... да сма-три!..

В эти минуты Никита действительно чувствовал такую энергию, о которой в обыкновенное время не мог и представить себе, так как вся рассудочная деятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «бог не без милости». Тотчас же после нравоучения он решался вдруг все привести в порядок. Мгновенно, и даже несколько с сердцем, вытаскивал из-под навеса свои ветхие дрожки, устанавливал их посреди двора на солнечном припеке и, обдав водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожаное в своем экипаже смазывал густыми слоями сала, ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде под кучами грязи. Это, однако, не охлаждало Никиты.

— Ничего, живет! — говорил он, взяв в руки оглобли и лавируя с дрожками по Балканихину двору...— Еще как отлично-то!

Затем подобную энергическую реставрировку испытывала и несчастная кляча, потерявшая от нищеты хозяина и фигуру и способность что-нибудь ощущать: выражение глаз ее в ту минуту, когда хозяин вытягивал ее кнутом, было совершенно такое же, когда хозяин угощал ее овсом. Потом следовали хлопоты в семье, в бане; Никита умывался, надевал чистую рубаху, расчесывал волоса, смазав их квасом, и с особенной любовью, какая может загореться в сердце человека с твердой верой в будущее благополучие, нянчил своих ребят, целовал их и разговаривал самым дружеским тоном.

На другой день рано утром Никита собирается ехать со двора. Старый армяк его вычищен и заштопан белыми нитками; шея обмотана новым, подаренным к крестинам, платком, подпирающим в самые скулы. В воротах он снимает шапку и не перестает креститься во все протяжение пути от ворот до перекрестка. Жена Никиты, с ребенком на руках, долго смотрит ему вслед, стоя за воротами. На перекрестке Никита, нахлобучив шапку, полыснул кнутом клячу — и дело пошло в ход. Лошадь потащилась своей упругой рысью, оглашая пустынную улицу бряканьем селезенки. Никита размышлял, чув-

ствуя в себе что-то новое, небывалое... Вдруг его качнуло назад, и дрожки остановились, утонув колесами в выбоине перед крыльцом знакомого кабака... Лошадь остановилась здесь по привычке.

Пораженный удивлением, Никита долго молчал, опустив руки, и, наконец, шепотом пробормотал:

— Каково вам покажется?

— Никита Петрович,— весело шептал из окна целовальник: — иди, благословись косушечкой!

— У-у! Ссак-кррушен-ние! — рычал Никита, с сердцем вытягивая лошадь кнутом.

Такие не всегда удачные попытки сделать доброе дело не только не убавляли ничего в славе Балканихи, но, напротив,— еще более придавали ей весу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и в разорванном армяке, снова чувствовал себя виноватым перед Пелагеей Петровной, и этот страх не пропадал даром, потому что обыватели нашей улицы видели его и поучались. Ко всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уважения. Так, например, она перечитала все книги, найденные у ее жильцов: молитвословы, календари, богослужебные книги, поучительные примеры благочестия, «Камень веры» и проч. и проч. Растеряева улица после этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо в разговоре ее стали появляться такие слова, каких растеряевцы от роду своего слыхом не слыхали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. В одинаковой мере понимала она, что такое значит: *круг солнца, вруцелетие, индикта,* как и такие тонкости, которые объясняют, что такое полиелей, преполовение. Рекомендую читателю представить себе, что должен был чувствовать растеряевец при взгляде на Пелагею Петровну в эту пору ее славы. Такие успехи она одерживала в то время, когда ей было только тридцать восемь лет от роду. В эту пору вздумал было посвататься за нее один мещанин, по фамилии Дрыкин, но скоро раздумал...

«С чего это он меня не взял?» — думала Балканиха в то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозревала, что иногда в голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль об отмщении за эту «обиду».

3. Мещанин Дрыкин

Мещанин Дрыкин до постройки огромного каменного дома не был известен почти никому в городе. Лет десять назад до этого времени видели его кой-кто на толкучке в ту самую минуту, когда он, не стесняясь громадным стечением публики, отнимал у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежат ему и хотя, по-видимому, гроша не стоят, но что он, Дрыкин, имеет тайную причину считать их весьма ценными, почему и требует с солдата, кроме панталон, штраф в три целковых, да за бесчестие еще какую-то сумму. После этого пассажа встречали его еще кое-где: на нем был длинный изорванный черный сюртук, панталоны, похищенные у жида, картуз без подкладки, в руках держал он тонкую яблоновую трость. Так встречали его в продолжение многих лет, и затем он сразу делается обладателем огромного каменного дома, получая от растеряевцев наименование «темного» богача — то есть человека, который разбогател не то «убийством», не то «грабежом», не то отыскал клад. Как бы то ни было, но, разбогатев, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу, со всеми удобствами; ворочал большими капиталами. В эту пору он посватался было за Балканиху, но, почуяв в ней обширный ум, расчел лучшим отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское предание говорит, что тотчас после свадьбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Ненила», отдала приказание мужу, чтобы немедленно были приглашены все полковые музыканты и все господа военные из благородных, какие только есть в городе налицо. В ответ на это муж, не говоря ни слова, отправил ее доить корову, сделав такое жестокое рукопашное внушение, что Ненила сразу как бы оглупела, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину впоследствии не было решительно никакой надобности в рукопашных внушениях: достаточно было только взглянуть, сдвинув брови, чтобы то или другое желание его исполнялось беспрекословно. Впрочем, полный порядок, по мнению Дрыкина, воцарился в доме его только тогда, когда он вместе с женой переселился в какую-то маленькую каморку окнами на двор, а в трех этажах каменного дома загорланило население кабаков, харчевен, нумеров постоялого двора. Ненила целые дни торчала в

этой каморке, не показывая глаз на свет божий, а муж ее уселся за воротами на лавочке, в тех же нанковых панталонах, с тою же тростью в руках. Он видимо богател; но это богатство ничего не изменяло ни в его костюме, ни в жизни: та же видимая нищета, тот же лук за обедом и проч. Даже кошелек его, казалось, вовсе не тучнел, потому что если какая-нибудь соседская баба обращалась к нему с убедительной просьбой насчет двугривенного, то в ответ на это он запускал два грязных пальца в дырявый карман жилета, вытаскивал заплесневелый екатерининский грош и почти детски невинным голосом говорил:

— С великим бы, матушка моя, удовольствием, да вот только всего и денег-то у меня... Правда, был об Святой гривенник меди; ну, да по времени на себя извел... Что сделаешь-то? А с тех пор и денег-то никаких не случалось. И не знаю когда! Да и где теперь деньгам быть? Кажется, вот-вот с семьей побираться пойдешь...

— Ну, извините,— говорила разобиженная баба.

— С великим бы удовольствием, да ведь что будешь делать!.. До приятного свидания...

— Будьте здоровы!

— И вам также!

После такого разговора Дрыкин крякнет тихонько, постучит палкой по тротуару, держа ее между раздвинутых колен, и возобновит прерванный разговор. На лице его не произойдет ни малейшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребывание Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться с его, так сказать, душевными симпатиями. Иногда кто-нибудь из «объегориваемых» им приносил почитать газету. Чтение происходило за воротами. Дрыкин особенно интересовался описаниями церемоний и изображением сверхъестественных происшествий: говорящая мышь, девица, проспавшая ровно пять лет и по пробуждении вдруг разрешившаяся от бремени, и проч. Об иностранных землях из тех же газет узнавал он тоже чудеса: упал камень с неба, чугунка под водой и под землей ходит и т. д. Нужно сказать правду, такие известия потрясали Дрыкина. Он ахал и вздыхал. «Боже мой! — говорил он: — в других-то землях что делается! а?» Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этих вздохов, ежели бы судьба забросила как-нибудь Дрыкина в одну из этих

стран, переполненных такими удивительными вещами, то он прежде всего осведомился бы: «почем овес?», а про чудеса едва ли бы и вспомнил за хлопотами. Наивность его решительно не давала никаких шансов к соболезнованию над ним по поводу тех ущербов, которые он должен понести в жизни, где, по-видимому, так много самых простых вещей и явлений, могущих поставить его в тупик. Нет! Ворочая огромными капиталами и имея сношения со множеством народа, он, между тем, все бухгалтерские книги, кредиты и дебеты ведет на притолоках амбаров и погребов, изображая углем и мелом палки, под которыми подразумеваются у него и люди, и овес, и проч. Кажется, уж как при таком невежестве не промахнуться, как не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складам? Однако посмотрите, как он, не прибегая к чьему-либо посредству, сумел напугать своих должников, которые обходят его жилище за пять кварталов. Все это может быть объяснено только тем, что в натуре Дрыкина сумели уживаться самые противоположные вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремлению «знать свой карман».

В эту пору жизни мещанина Дрыкина никакая победа над ним не была возможна. Если бы дела продлились в таком порядке, то Ненила не успела бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имела бы случая восторжествовать. Но господь помог им обеим.

Дрыкин с давнего времени жаловался на боль в глазах. Добрые люди советовали ему пить по зарям по два стакана чернобыльного настою, нюхать хрен и проч. Особенно было обращено внимание в этом лечении на то, чтобы суметь воспользоваться лекарством по возможности «до заутрени», «до петухов». В этом почему-то считали тайну лечения; однако, несмотря на всю силу доморощенных волшебств, дело кончилось тем, что Дрыкин ослеп.

В одно утро он открыл глаза, тер их кулаками, таращил, крестился и, наконец, почти со слезами сказал:

— Нилушка! ведь я не вижу!

— Что ты?

— Господи! Господи, что ж это такое? ведь ослеп!..

Дрыкин заплакал. Ненила сначала в недоумении смотрела на мужа; потом ей вспомнилось что-то очень далекое, на лице появилась краска.

— Ослеп? — спросила она.
— Ослеп! как есть ослеп!
— Слава тебе, господи! — с истинным благоговением заговорила она.— Слава тебе, царю небесному! Ослепи ты его, ирода, навеки нерушимо...
— Жен-на! Побойся бога! — стонал муж.
Но жена, вместо сожаления, захохотала и весело стала дразнить его:
— Ну, тронь?.. Ну, сделай твое такое одолжение, тронь? Найди меня!.. где я? ха-ха-ха!
— Б-боже мой, бож-же мой!..
С тех пор в доме Дрыкина пошло все вверх дном. Ненила, которой в эту пору было только двадцать шесть лет, тотчас же изгнала жильцов; вместе с ними выгнала вон из комнат своих ребят, которых она терпеть не могла за их безобразные рожи,— и запировала. Начала она переменять платья по пяти раз в день; явились у ней толпы приятельниц и винцо в полуштофе; целые дни шло щелканье орехов, и частенько подгулявшие бабы визгливо орали песни.
Дрыкин стонал, лежа в своем подвале.
Такие безобразия Ненилы продолжались, по крайней мере, с полгода; к концу этого времени она успела нагуляться «на все» и поугомонилась, не переменяя, впрочем, своих отношений к мужу. За воротами, куда Дрыкин, наконец-таки, опять перебрался, шло по-прежнему обделывание дел, но уже в степени гораздо меньшей против прежнего, ибо денежные расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочного свойства.
— Ты говоришь, ударить ее? — говорил он, раздумывая, своему приятелю.— Ударить! Голубчик! как же ты ее ударишь, когда...
— Жену-то?
— Не про то! Теперича положим так: ну, даст мне господь, ошарашу я ее; но она заместо того пустит в меня из двадцати местов. И палочьем и чем угодно?..
— Так, того: в сонное бы время,— басил приятель.— Чать, знаете местоположение-то?.. Ну, вот тут бы ее и пристукнуть?
— Голубчик ты мой! — жалобно говорил Дрыкин,— ну, хорошо, пущай я ее разов пяток кокну в голову-то, но ведь получит она через это пробуждение и, следственно, опять-таки меня, боже защити, как?

— Мудрено!

— Так мудрено, так, друг ты мой, мудрено, даже весьма опасно!

В эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина, Пелагея Петровна имела полную возможность одержать над ним какую угодно победу; это было тем легче, что слабые струны супругов не таились и были наружу. Принимая в расчет свойство этих струн, Балканиха находила весьма удобным и приятным для себя мутить между собою супругов. Делалось это с затаенной улыбкой и смехом. Главное орудие для супружеских стычек Пелагея Петровна имела в распущенном хозяйстве. Стоило ей показаться на дворе у Дрыкиных, как зоркий глаз ее тотчас же подмечал множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжает хозяйским молоком свою родственницу; приказчик вместо пуда сена отпускает проезжающему половину, и этот последний обещается вперед не ступать ногой на постоялый двор Дрыкина; под сараем кто-то кричит: «Подай!» — «Нет, врешь!»

Пелагея Петровна только головой качает и идет в сени; здесь раскрыты двери в чулан, в кладовую, в кухню; кто хочет — приди и возьми все: ни одна душа не хватится, и виноватого не сыщешь. Запасшись таким материалом, Пелагея Петровна являлась к Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

— Ну, отец, уж и хозяйство у тебя! Уж хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотрит?.. а?

— Матушка!..— почти плача, говорил Дрыкин.

— А? везде крадут, везде тащат, все ро́сперто; кажется, приди вор, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Что ж ты на жену-то смотришь?

— Да, милая моя! Ну, положим, точно что, быть может, я ее и того... чем-нибудь... но ведь она в отместку и палочьем и...

— Да как же она смеет?

Дрыкин бледнел от злости и бодро произносил:

— И в самом деле?

— Доживешь,— продолжала Балканиха,— покуда по миру пойдешь побираться. Легкое ли дело, все на выворотку! Ах ты, боже мой! а?..— качая головой, говорит она и идет в другую комнату.

— Ах, боже мой! — продолжает она, подходя к Нени-

ле.— Я смотрю, смотрю на тебя: господи! кажется, в чем только душа держится... Похудела, осунулась... И как только ты это со слепым дьяволом живешь!

— Мочи моей нет! Убью я его!

— Именно! Скажите на милость, слепая чучела этакая, совсем молодую женщину...

Ненила схватывала половую щетку и как стрела налетала на мужа, который, в свою очередь, доспевал до возможности «кокнуть» супругу...

В ту же минуту Балканиха умела выскользнуть из комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась к шуму битвы, происходившей в доме Дрыкина, и, с улыбкой глядя на небо, во всеуслышание говорила:

— Господи помилуй! господи помилуй!

Счастливо живет наша Балканиха до сей поры и по-прежнему пользуется общим почетом. Дает советы и принимает за них посильные приношения. Только порой еще и теперь досадует она, что не удалось ей прибрать к рукам старого Дрыкина.

Возвратимся теперь и к Прохору Порфирычу.

XV. ПРОГУЛКА

В жаркое послеобеденное время по глухому переулку, в тени у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятного негодования.

Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентльмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд достав-

лял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назади, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывая фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст с его джентльменской фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; но его наряд в сравнении с нарядом Прохора Порфирыча не стоил ни полушки. Несмотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое: на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь приливала к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село З-во, где, по расчетам Кузьки, должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить узкие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и, наконец, глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.

— Ты ежели хочешь идти, так иди! — строго сказал ему Прохор Порфирыч: — мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.

— Не сердись! — уныло сказал Кузька.

Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:

— Ишь рожу-то нажевал!..

— Да будет тебе, ей-богу! — беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.

— Ну иди, иди... Брошу!

Кузька, по-видимому, очень дорожил компанией спутника, потому что утроил шаги и скоро поровнялся с ним.

— И кто это только праздники выдумал? — бормотал он шепотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.

Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запотелые лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы. От жары народ попрятался в дома; везде были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая...

Исчезли последние дворишки самого отдаленного

переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясину, перекинут маленький мост без перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак; около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.

Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.

Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был единственный человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Благосостояние Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояние. Даже он вздохнул не один раз. Самое ревностное желание рабочего народа было желание войны. «Хоть бы подрались где-нибудь,— толковали рабочие,— все больше было бы сбыту на оружейный товар». Но войны как на зло нигде не случалось. Прохор Порфирыч в эту трудную пору до того унизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слыхать».

— Точно что,— говорила она,— где-то заседают об этом деле, насчет того — где и как; но будут ли воевать или нет, наверное сказать нельзя.

Стали поэтому гнездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и, следовательно, отчасти и о любви. Но эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более, что он в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от запоя. Недели две тому назад встретил он в город-

ском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное, после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведывать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие — кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», то есть вместо, например, пяти рублей будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая не переставая будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектны и выгодны, не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.

Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в З-во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.

— У тебя много ль денег-то? — спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.

— Да, пожалуй, целковых два наберу. Ты, Порфирыч, бери их... Бери все.

— Вона!.. Я на всякий случай... Кабы с купца получил...

— Чего там, с купца! Бери все... Куда мне их? Я и не приберу... Только ты меня не кидай...

— Куда же я тебя кину?

— То-то! Уж сделай милость, голубчик... Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же, во сто раз, воротиться...

— Ну, да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» — подумал Порфирыч и замолчал снова.

А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.

Пелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой,

взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас женской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми, видимо, страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим; он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию вне общих растеряевских интересов. Кузька был усыплен и закормлен до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не приковывали его внимания. Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда, наконец, он раззадоривался,— удержать его было трудно. На самоварной фабрике, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщею наковальнею, на которой пробовалась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, норовил было уже отведать прелестей кабака; но Пелагея Петровна вовремя спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего приемыша по меньшей мере два пучка. Такая классическая система сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Пелагеи Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятежное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пестунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в растеряевских нравах такие проблески жизни, которые не соприкасаются с кабаком, не носят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и проч.,— так как, самом деле, «не всё же кабак»...

Но каково же было изумление Кузьки (выражавшее ся, впрочем, самой неопределенной тоской во всем теле когда продолжительный опыт доказал, что, помимо каба ка помимо проклятий собственной жизни,— растеряев

ских нравах нет ничего более существенного. Чем делиться растеряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает нравоучение в форме беспрерывных попреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую-нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но главное, под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца?.. Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жизни — нужда. Под ее влиянием наши удовольствия, радости, словом — вся физиономия жизни. Кузька благодаря попечениям Балканихи не знал нужды и, следовательно, не мог жить в Растеряевой улице. Ему незачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добивался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.

Вот стоит он за воротами в жаркий летний полдень. По причине праздника все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солнечном припеке, босиком, и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься. Ветер треплет его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот под забором спит чья-то собака. Выражение лица Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, развертывается камнем в собаку... Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие; он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то принимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает ногою все бабки прочь.

— Ну чего ты? — пищат мальчишки.

— Прочь! — кричит Кузька, разгоняя толпу затрещинами.

— Что они — трогают тебя? — заступается баба.

— А другого места разве нет им? — возражает Кузька.

— Ах ты, разбойник этакой! Постой, я вот Пелагее Петровне скажу,— кричит баба вслед Кузьке.

— А по мне говори! Что она мне сделает?

— Вот увидишь что!

Кузька сконфужен. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.

— Тебе чего нужно? — строго спрашивает его Никита.

— А тебе что?

— Ты чего тут не видал?

— Да вот хочу. Что, тебе жалко?

— Ах ты, дубина! — укоризненно говорит Никита.— Пелагея-то Петровна мало тебя бьет!.. Тебя, по совести-то, надо дубиной, да получше...

— Чего ты ругаешься-то? Что за барин уродился?

— Подлец! Именно подлец. Ну, чего ты здесь?

— Хочу!

— Дубина!

— Ну-ну, тронь!..

— Глупцы! —раздавался голос Пелагеи Петровны — и порядок восстановляется. Разозленный Кузька заваливался спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он ранехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонок он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какое-нибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что, в качестве семнадцатилетнего ребенка, становился в тупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, увидит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти понимает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странным, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку... Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя: «На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку...

Между тем количество богомольцев, по мере приближения к З-ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденькая рощица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая по-своему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две и по три бутылки наливки *дамской,* схоронив ее в глубине своих карманов.

Слышались разговоры:

— Ну-ко, кто кого? — спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки...— Не хочешь ли потянуться?

Приятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.

— Вот они богомольцы-то! — подтрунивают бабы.— Вот так богомольцы!

По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми; изредка тащились извозчичьи дрожки с седоком-чиновником, приготовлявшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться; тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот, наконец, и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огибающего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на средину сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб с сараями позади; налево, на возвышении холма, красуется помещичий дом и церковь, к которой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.

Вся сельская улица против домов запружена народом. На земле кипят самовары, и идет веселое чаепитие целыми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо женщин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенно грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь,— тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали по сельской улице; кавалеры тоже

целыми взводами двигались им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и, наконец, решались вступить в разговор.

— Отчего же вы не в церкви?

— А вам какое дело?

— Как какое? Помилуйте!

— А вы лучше отстаньте...

— Н-нет-с...

Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя вправе задать, наконец, вопрос шепотом и на ушко:

— Вы где ночуете? — шепчет он.

— У Селиверста,— отвечает девица.

— В сарае?

— Да!

— Так, следовательно,— говорит он вслух: — вы, напротив, того мнения, что любовь...

— Отвяжитесь, ради бога!..

Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив,— в крайнем стеснении.

Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих. Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохор Порфирычем, как осужденный на смерть, тогда как последний, видимо, успевал.

Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в З-ве без подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчин испуганные взгляды.

Прохор Порфирыч заметил это и погнал от себя Кузьку.

— Отойди! — сказал он: — мне нужно!..

— Да куда ж я? — заныл было тот...

— Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части». Девица конфузилась, потом украдкой взглянула на него. Прохор Порфирыч ответил ей легонькой

улыбкой; девице, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал незнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и действительно девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность, Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить — кто она такая. На замужнюю не похожа,— таких молодых жен мужья не отпускают от себя в З-во. Не похожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: не вдова ли? думал он; но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-нибудь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч решился, во что бы то ни стало, попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.

Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть. Старухи возвращались от всенощной и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сараи, помещавшиеся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шепотом разговаривал с хозяином одного двора.

— Будьте покойны! — говорил хозяин.

— Здесь ли?

— Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйте!

Порфирыч и хозяин вышли задними воротами к коноплянникам и направились к сараю.

— Уж я вас,— говорил хозяин дорогою: — в самое лучшее место положу.

Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шепот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.

— Где ж бы тут лечь? — спросил Порфирыч у хозяина.

— А вот-с, я сейчас,— сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины. Женщины при свете тотчас «загомо-

зились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до самых глаз.

— Да вот место! — сказал хозяин.

Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его. Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.

Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.

— Ничего-с! сделайте милость, не беспокойтесь...— проговорил вежливо герой.

Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.

— Куда ты? куда тебя дьявол несет?

— Мне сенца!

— Я тебе задам сенца!

— Что вы орете? Вот удивление!

Снова наставало молчание, и потом снова разговор.

— Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.

— Вам беспокойно? — спросил Порфирыч соседку.

— Нет, ничего-с!

— А то не угодно ли вот сюда?

— Нет, нет,— шептала та.

— Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь...

— Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на это сюда пришла.

— Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.

— Это зачем?

— Как-с зачем?.. Позвольте ваше имя-отчество?

— Раиса Карповна.

— Так, Раиса Карповна, что же вы тятеньку имеете?

— Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.

— Что же, стало быть, вы у родственников изволите жить?

— Н-нет... Я не здешняя...

— Приезжие?

— Епифанская... из Епифани...

— Да-да-да... И что же теперича вы здесь при месте?

Девица промолчала.

— Или в услужении?

— Н-нет... Я... Да вы заругаетесь!

— Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели ж этакое свинство позволю?

— Я... Господина капитана Бурцева знаете?

— Это которые полком тут стоят?

— Они.

— Ну-с?

— Ну, я при них...

— То есть как же это: по хозяйству?..

— Нет... Я, собственно... Как они проезжали, и видят — я сирота... «Поедем», говорят... Ну я, конечно..

— Да-да-да... Что ж? дело доброе.

— Вот вы надсмехаетесь!..

— Чем же-с?.. Даже ни-ни.

«Э-э-э! — подумал Порфирыч,— вот она птица-то!» — и замолчал.

Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.

— Ах, оставьте!.. Я и так уж...

— Что такое?..

— Да самая горькая...

— То есть из-за чего же?

— Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу!

— Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры... Обозначьте!

— Они уезжают: капитан-то...

— Н-ну-с. Что же? И господь с ними...

— Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?

— Как кто? Конечно, ежели будет от них помощь...

— Они дают деньгами...

— Много ли?

— Полторы тысячи...

У Порфирыча захватило дух.

— Ка-как?.. Пол-лтар-ры... Вы изволите говорить — полторы?

— Да... Перед венцом деньги.

— Раиса Карповна,— проговорил Порфирыч...— Верно ли это?

— Это верно.

— Я приду-с... К господину капитану... Приду-с!

— Голубчик! Вы надсмехаетесь?

— Провались я на сем месте... Завтра же приду!..

— Ах, миленький... Обманываете вы... Я какая... Вы не захотите...

— Да я скорей издохну... Деньги перед венцом?

— Да, да... Уж и как же бы хорошо... Не обманете?

— Ах... Раиса Карповна!.. Да что ж я после этого?..

— Голубчик!..

Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его настолько, чтобы заставить разделить общие удовольствия; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и на селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решился идти в село на ночлег.

На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице.

— Арина! — говорил дворник.

— Что, голубчик?

— Уйди, говорю, отсюда.

— Илья Митрич! За что ж ты меня разлюбил? Господи! Сирота я горемычная...

— Арина! говорю: уйди! Слышь?..

— Илья Митрич!

— Я говорю, уйд-ди!

Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что, может быть, завтра будет легче на душе.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед венцом». Второе несчастие Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера. Девицы и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.

Публика разбредалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, — думалось ему, — с тем и домой воро-

титься!» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль — снова пойти в кабак.

В кабаке было множество посетителей... Пили, говорили с пьяных глаз что-то совсем непонятное, спорили, жаловались. Внимание Кузьки было привлечено компаниею подгулявшей молодежи.

— Нет, не выпьешь! — кричал один.

— Ан врешь!

— Что такое?

— Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.

— Дай, об чем?

— И спорить не хочу...

— Нет, нет, пущай его! Друг, пива!

— Поглядим...

Явилась четверть пива в железной мерке; Федор перекрестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить.

Публика следила за ним с особенным вниманием.

— Н-нет! — произнес неожиданно Федор — и хлопнул четвертью об стол.

— А-а!..— послышалось со всех сторон.

Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.

Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились. Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его, по крайней мере, в з-ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:

— Что дадите, я выпью четверть?

— А ты чем стоишь?..

— Берите, что есть: рубль семь гривен.

— Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно... Деньги наши... Идет?

— Кричи!..

— Пивва! — заорала компания...

Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу. Кузька

ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками...

— Ах, прорва! — говорил удивленный зритель.

— Батюшки, шатается! — вскрикнул другой: — шатается!..

— Держи, держи его... Расшибется!..

— Уйти от греха! — прошептал третий и выскользнул из кабака: на улице он слышал, как в кабаке что-то грузное рухнулось наземь...

XVI. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ

Мне остается прибавить еще очень немного: Кузька умер в больнице, в бреду. Сонные нервы его были разбиты слишком непривычным хмелем. Прохор Порфирыч, напротив того, с успехом сделал второй шаг на поприще своего благосостояния: он явился к господину капитану Бурцеву, объяснил ему свое желание вступить в брак и особенно настойчиво изложил условия этого брака. Фразы «полторы тысячи» и «перед венцом» занимали достаточную часть в его объяснении. Несмотря, однако, на видимую корысть, согласие было дано... Более всех радовалась бедная невеста, которая и не чаяла, как вырваться на божий свет. Она безмолвно благоговела перед своим женихом и из метрессы превратилась в покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

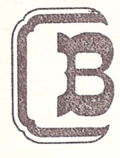
— Голубчик! — с любовью шептала она, бродя вслед за Прохором Порфирычем по саду, куда капитан отправил их переговорить: — милый мой!..

Мой герой и здесь не уронил себя: видя в невесте неподдельную любовь, он постарался с своей стороны отплатить ей за это как можно благороднее. Для этого он вежливо задавал ей вопросы насчет того,— «не мешает ли, мол, вам табачный дым?», подхватывал упавший платок, подносил благовонный букет и среди всякого рода вежливостей не забывал присовокупить:

— Так уж сделайте милость, чтобы это было верно,— перед венцом-то!

ЗЕМНОЙ РАЙ

1



числе знакомых Нади было, между прочим, семейство Печкиных. С этим семейством Надя познакомилась, во-первых, потому, что Софья Васильевна, жена Печкина, оказалась подругою ее детства, а во-вторых, потому, что сваха, уже начавшая свои посещения, отозвалась о Печкиных почти с благоговением.

— Пройди ты всю подвселенную, нигде ты этого рая земного не сыщешь!.. — говорила она Наде: — Софья-то Васильевна — вот как ты же сирота, еще голей тебя была, а теперь глядь-кось!.. Ровно принцесса живет... Да что ей? Ни о чем заботушки нету, живет за мужем, ровно за каменной горой, даром что за не очень-то молодого выскочила...

В словах свахи скрывалась тайная цель сосредоточить внимание Нади на пожилом телеграфисте с рыжими волосами и с полупольским выговором. Но Надю главным образом интересовало видеть подругу, с которой она не видалась с тех пор, когда еще маленькими девочками они катались на санках, и которая теперь живет в земном раю; да и скука, требовавшая чего-нибудь нового, кроме бормотаний Михаила Иваныча о грабежах, тоже в достаточной степени помогла скорейшему посещению земного рая. Михаил Иваныч, знавший Печкина как посетителя трифоновской лавки, взялся ее проводить туда.

Узенький переулок, где был рай, приветствовал наших путников, помимо пустынности и тишины летнего полдня, длинными заборами, тянувшимися по одной стороне его, и несколькими домами, смотревшими в эти заборы с другой стороны; наглухо захлопнутые и мертво молчаливые ворота дома Печкиных, с своей стороны, прибавили некоторую дозу тяжести к тому тяжелому впечатле-

нию, которое производил переулок. Но скука Нади, жаждавшая какого-нибудь исхода, сумела перетолковать эту смерть, носившуюся по переулку и веявшую от ворот, в смысле плотной ограды, окружающей более спокойную, нежели ее, жизнь.

Помощью веревки, протянутой через забор к колокольчику, из недр рая были извлечены предварительно несколько собак, оскаленные, захлебывающиеся рыла которых внезапно появились в десятках не замеченных до сих пор дыр: в заборах, в подворотнях, на вершине заборов и проч. Стараниями Михаила Иваныча и кухарки, отворившей ворота полчища, охранявшие райские двери, были разогнаны.

— Дома барыня? — спросила Надя кухарку.

— Где им быть... Стал-быть, дома...

— Что она делает?

— Что ей делать? Почивают, поди, либо так...

— Делать ей нечего, обнаковенно! — подбавил Михаил Иваныч.

— Обнаковенно! — согласилась кухарка: — Делов у них нету никаких. Чего ей еще?

Говоря так, она между тем с большими усилиями отнимала от двери сеней довольно толстую палку, которою двери эти были приперты, и когда палка была брошена на землю, кухарка прибавила:

— Ишь вогнал как, насилушки одолела...

— Кто это? — сделав шаг в сени, не могла не спросить Надя.

— Да это наш... барин!..— улыбаясь, отвечала кухарка.— Бережет ее... чтоб не было ей беспокойства.. Тоже боится, не ушла бы!..

— Как не ушла?

— Да так ему взбрело: не ушла бы, мол!.. А куды ей уйти-то?.. Коли бы у нее дело... а то... куды ей?.. Ей и так некуда... Никакой заботы нету, ровно царица...

Михаил Иваныч не упустил случая поддакнуть при словах кухарки «кабы дело». Но Надя сначала посмотрела на них на обоих и, словно задумавшись, тихо пошла вдоль пустынных сеней. Шаги ее сделались еще тише, как будто даже боязливее, когда тяжелая дверь, обитая войлоком, ввела ее в переднюю, в которой, кроме темноты, со всех сторон пахнул на нее спертый, тяжелый воздух с запахом сырой гнили. Наде хотелось кашлянуть. Но тишина остановила ее от этого. Та же тишина и тот

же воздух преследовали ее в двух-трех комнатах, по которым она шла вслед за кухаркой и где декорация рая состояла из продавленных стульев, пыли на пошатнувшихся столах, зеркала с каким-то рисунком вверху рамы, картин, вроде схимника, посещаемого Александром благословенным, зеленых стор, пожелтевших снизу и в десять раз уменьшавших то количество света, которое за минуту ощущала Надя на улице. Словно туча вдруг нанеслась на ясное небо, когда она вошла в этот рай, и она совершенно испугалась, вместо того, чтобы обрадоваться, когда кухарка вдруг довольно громко произнесла:

— Вот они... Пожалуйте... Почивали!

На широкой кровати с измятой периной и множеством толстых подушек восседало какое-то растрепанное существо с развязавшейся косой, спутанными на лбу волосами и необыкновенно испуганными глазами. Из-под желтой, покрытой пятнами блузы, с распахнутым у горла разрезом, высовывались ноги, из которых на одной чулок спускался почти до полу, а на другой его не было совсем; королевна или принцесса, словом — обитательница земного рая, упиралась руками в перину, что вместе с сонным выражением глаз напоминало человека, над которым внезапно раздался выстрел. При виде этого существа Надя остановилась в некотором изумлении, и в комнате некоторое время царствовала бы мертвая тишина, если бы не залегший во время сна нос королевны, который прорезывал эту тишину разнотонными отрывистыми звуками.

— Соня... Сонечка! — с робостью начала Надя; но прежде, нежели ей удалось расшатать это райское спокойствие, ей нужно было не робким, но усиленно громким голосом повторить, что «помнишь ли... Надя!.. Я — Надя Черемухина... На санках-то...» Нужно было также потрогивать Софью Васильевну за плечо, за руку... Но когда Софья Васильевна, наконец, поняла, в чем дело, и несколько раз поцеловалась с Надей, крепко ее обнимавшей, испуг ее с внезапною быстротою заменился слезами, которые хлынули целым потоком, как вода на прорвавшейся плотине... Лицо и тело Софьи Васильевны, продолжавшей сидеть на кровати, как-то вдруг осели, раздались в стороны, сделались шире, и по всей их ширине бушевал поток рыдающего трепета.

Надя глядела на это трепещущее и рыдающее суще-

ство, слушала ее захлебывающиеся слова: «Надя!.. милая... Надя!» — и вдруг ей стало досадно. Во всем этом не чуялось ею даже и того ничтожного интереса и смысла, которые все-таки были в захолустье, где жила Надя. Эта досада, уменьшавшаяся по мере того, как слезы начали мало-помалу пересыхать на распухшем и раскрасневшемся лице Софьи Васильевны, вдруг была еще более усилена появлением нового лица. Среди новых всхлипываний Софьи Васильевны донесся из передней крикливый, рассерженный, но старческий и дребезжащий голос ее супруга.

— Кто такой? Ты что? Что такое? Это что? Что это такое?..— бормотал он, натыкаясь на растворенные двери крыльца, на валяющуюся палку и с изумлением встречая в передней фигуру Михаила Иваныча.

— Что ты? Что ты орешь? — донесся до Нади не менее негодующий ответ Михаила Иваныча, который не мог относиться к Печкину равнодушно, зная его мнения по трифоновским беседам.— С барышней пришел, что орешь-то?.. Хапнуть не дали?

— Что мне с барышней? Что такое — с барышней? Я болен... С барышней... с барышней! Все росперто!.. Что такое? Софья!.. Что это такое?..

Слова эти, раздавшиеся почти одновременно в передней, в зале, гостиной, вместе с торопливыми звуками шагов, наконец раздались и вблизи Нади, в спальне, где на пороге появился Печкин, длинный и дряблый чиновник, с растерянным, кислым и осерженным лицом. Не обращая на Надю никакого внимания, он бросил шапку, фильдекосовые перчатки, скинул сюртук и все время вопил:

— Что это такое? Акулина? Соня! Болен! я! господи...

— Дай ей с барышней-то повидаться,— усовещивала Печкина кухарка.

— Что такое? Барышня! Что мне барышня? С барышней, с барышней... Я болен... Говорю вам, меня баба сглазила... Господи!... Росперто... растворено... Да сделайте милость... Софья! Спрысни!.. Спрысни, ради христа!

Сердитая чушь, которую Печкин сыпал не переставая, и сопряженный с этою чушью гвалт заставил Надю уйти в другую комнату. Отсюда она с большим испугом глядела на этих людей, обитателей рая, кропивших и брызгавших друг друга святой водой, сердив-

шихся, кричавших, испуганных и в помрачении ума натыкавшихся один на другого. Все это до того изумило ее, что она, издали сказав Софье Васильевне «прощай», «приду», бегом бросилась вон из комнаты.

— Михайло Иваныч! — крикнула она ему в каком-то изнеможении, и тот, отвечая на отчаяние, слышавшееся в ее голосе, бросился вслед за ней.

Очутившись на улице, Надя перевела дух и, взглянув на Михаила Иваныча, сказала:

— Господи! что это?..

— Черти! — отвечал Михаил Иваныч.— Облопались... Сглазила! Ишь ведь что выдумает! сглазить этакого дьявола... Ему зацарапать нечего в ла-апу!..

На этот раз обыкновенные бормотанья Михаила Иваныча насчет грабежей не казались Наде скучными; напротив: они освежали ее голову, пораженную сценами райской жизни, обставленной припертыми воротами и одуревшими людьми.

2

А в сущности будущность Нади едва ли могла быть лучше участи Софьи Васильевны, которая действительно пользовалась самым лучшим положением, какое только возможно в том кругу, где живут не трудясь. До замужества с Печкиным, полтора года тому назад, Софья Васильевна имела решительно те же самые шансы на самостоятельную жизнь, как и скучавшая в настоящее время Надя. По выходе из пансиона она, как сирота, жила у вдовой пожилой тетки, где занятия ее состояли в том, что она тихонько ходила из комнаты в комнату, тихонько читала «Юрия Милославского», тихонько поливала цветы. Были ли у нее какие-либо планы насчет будущности — решительно неизвестно; пансионская наука, представлявшая смешение Гибралтаров с заповедями и Мамаев с перешейками, особенно определенных целей в жизни ей не дала, сделав из нее существо, о котором, при самом тщательном наблюдении, можно было сказать только, что она румяная и добрая! Все это, так сказать, обязывало Софью Васильевну отнюдь не делать шагу на том пути, где ничего не могут сделать перегоревшие в огне руки Михаилов Иванычей, и идти только туда, куда ее поведут и где ей помогут. И вот является какой-нибудь руководитель, которому нужна жена, берет

ее, ведет в свой дом и наполняет пустой сосуд собственными интересами. И каковы бы ни были они, всякая Софья Васильевна должна быть несказанно благодарна за них, ибо чем бы могла наполнить она свое существование, если бы у мужа не было охоты водить кур, если бы он не любил драться, напиваться, если бы не направил взятого им автомата к интересам толкотни на базаре, крика с торговками, дебоша с кухаркой по случаю пропавшего куска сахару? И если принять в расчет, что путь, по которому должны идти все имеющие в запасе один только румянец, усеян дебошами супругов, увечьями и прочими ужасами захолустной тишины, то положение Софьи Васильевны делается действительно райским, ибо Павел Иваныч Печкин, взявший ее для собственной надобности, избавил ее от всех вышеупомянутых терний, ибо женился на ней в то время, когда всякая возможность к интересам, вращающимся между курами и пьяными драками, была устранена.

До сорокапятилетнего возраста Павел Иваныч не чувствовал крайней необходимости в супруге, так как, принадлежа к числу людей, успевших по службе, и не употребляя водки, он один вил свое гнездо, при самой незначительной помощи толстой и жирной бабы, которая жила у него единственно только для порядка. Тщательность, с которою Павел Иванович вникал в целость кусков сахара и копеек, придержанных бабою у себя во время покупки провизий, делала его самого более похожим на бабу, нежели на чиновника! Благодаря этой рачительности у него вырос собственный дом, собственное хозяйство, и благосостояние вообще достигло до такой степени совершенства, что в помощнице или жене не чувствовалось ни малейшей надобности. Только некоторые порывы жирной бабы, норовившей по временам отправить в деревню «к своим» какую-нибудь ложку или носовой платок ценою в гривенник, заставляли от времени до времени вступать в разговоры со свахой насчет невест но благодаря находчивости бабы (у которой в Москве, в воспитательном доме, было несколько ребят) все неприятности с барином улаживались, устранялись, и переговоры со свахой оканчивались ничем. И Павел Иваныч никогда бы не задумался насчет женитьбы серьезно, если бы руководствовался интересами исключительно хозяйскими и если бы дух времени не ворвался в среду его установившегося миросозерцания. Необходимо за-

метить, что внутренний мир Павла Иваныча был до сего времени тоже в полном благосостоянии: он никогда не думал о том, почему, например, начальство может получать двойные прогоны, распекать, выгонять, гнуть в бараний рог и почему в то же время он, Павел Иваныч, ничего этого делать не может?

Почему он, отправляясь на службу, должен строчить разные бумаги, брать взятки, вытягиваться перед советником и почему должны ему давать эти взятки, требовать вытяжки и проч.? Павел Иваныч принял все это с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами — земля, а над головой — небо; об этом даже и не думают. Павел Иваныч делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого миросозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка — вещь гнусная и что Павел Иваныч подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» — говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательства честности в беспорочной пряжке. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломились в умственный мир Павла Иваныча и произвели в нем потрясение. Павел Иваныч впервые стал ощущать тоску, возвращаясь из должности в лоно своего благоустроенного хозяйства; впервые под ее влиянием он стал ощущать, что разговоры после обеда с бабой о разных разностях, которые в прежнее время он так любил, не идут к делу и не помогают. Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды «прейдут», ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь; но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки. В былое время Павел Иваныч напишет бумажку и знает — что ему сейчас дадут и что потом это даяние от положит в карман; а тут пришло так, что он только пишет бумажки, а в карман ничего не кладет

и не знает, чем занять оскорбленную руку. Затем пошли новые суды, неповиновение в народе (а в том числе и в кухарке). И все это вместе внесло в душу Павла Иваныча множество самых непримиримых вещей; не говоря о существе этих вещей, можно указать только на силу их томительности, исходившей из того, что Павел Иваныч принужден был всеми этими новизнами к размышлениям о чем-то таком, о чем он прежде и не думал. Ради забвения этой тоски, с которою непосредственно соединялись боль в спине и крестце, ломота костей, нытье рук и ног, Печкин стал шататься в лавку Трифонова, которая уже успела прославиться своими успокоительными свойствами. Но у Трифонова хотя и было очень много вещей, совершенно не напоминавших современности, однако же не получалось и полного успокоения, потому что и сюда от времени до времени залетали слухи о новых судах, о честности, о железной дороге... В конце концов все это до того повалило Павла Иваныча, до того уронило его в собственном уважении, что требовалось какое-нибудь решительное средство для того, чтобы привести в порядок его душу и оживить ее.

Он решился жениться, обновить свою жизнь; для этого он пошел и взял Софью Васильевну, которой самой некуда было идти и которая без посредства Павла Иваныча должна бы была погибнуть, как муха, или весь век потихоньку поливать цветы и утрачивать румянец. Румянец этот первоначально был «поражен» «счастием», видя его в сорокапятилетнем Павле Иваныче, и стал громко и горько плакать; но когда был поставлен под венец и спрошен: «согласны ли»,— то отвечал, что «согласен». После этого он перестал плакать, сказал себе «ну, что ж!», окаменел, одеревенел и, в качестве пустого сосуда, начал наполняться интересами супруга. Окаменение и одеревенение являются прямым результатом житья под чьею-либо властью. Софья Васильевна не могла избегнуть его, но зато самая власть, взявшая ее, была изумительно ничтожна: она требовала только одного, и именно только того, чтобы Софья Васильевна признавала ее за эту власть в то время, когда все считают ее за ничто. Софье Васильевне незачем было беспокоиться, что муж пьян и разобьет голову, прибьет ее и проч.: Павел Иваныч не пил ни одной капли; незачем было ей тревожиться хозяйством, устройством спокоя, благоденствия: все это было устроено прежде ее при-

хода; ей нужно было только слушать ропот Павла Ивановича на современность, и лучше ежели бы она не понимала его. Софья Васильевна была счастлива и в этом отношении, ибо ропот Павла Ивановича был лишен всякой логики. Разозленный, например, сразу множеством новых явлений, он в бешенстве ходил по комнатам и вопиял:

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? Железная дорога, железная дорога! А что такое? в чем дело?.. неизвестно!

Отвечать что-нибудь на такие фразы или возражать на них — вещь весьма не безопасная, ибо Павел Иваныч и сердится на железную дорогу собственно только потому, что она, наряду с другими явлениями, тоже как будто возражает ему и мешает с прежнею ясностью видеть кругом себя. Софья Васильевна не понимает ничего и молчит. А Павлу Иванычу легче: его слушают.

Таким образом, у Софьи Васильевны не оказывалось никакой заботы, кроме заботы слушать брюзжания Павла Иваныча, и, следовательно, румянец ее и знакомство с перешейками нашли самый подходящий приют для себя, тем более подходящий, что одеревенение Софьи Васильевны уничтожило и ту тень труда, которая для нее могла заключаться в заботе слушать Павла Иваныча. Она слушала его и не слыхала ничего, и это было отлично.

Так и пошла ее райская жизнь.

Избавленная от всяких забот и трудов, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обедать и опять спать: окаменение ее росло и делалось способным воспринять самые раздражающие брюзжания Павла Иваныча, делало их даже незаметными, несмотря на то, что, согласно с беспрестанным наплывом новых явлений, они делались как-то бестолковее и длиннее. Разоренный ум Павла Иваныча, ободренный сначала появлением Софьи Васильевны, с течением времени снова почувствовал потребность подкрепить себя чем-нибудь новым, помимо Софьи Васильевны. Загроможденная железными дорогами, новыми судами, нотариусами и проч., мысль Павла Иваныча выводила его то к необходимости лечиться, ставить банки, пиявки, то к необходимости усерднее прибегнуть к богу и, наконец, совершенно неожиданно для него самого, привела его к убеждению в необходимости построже смотреть за женой. Это было до того ново и до того во власти Павла Иваныча, что ему снова стало по-

койнее и легче, если он, возвратившись из должности, шепотом спрашивал кухарку:

— Что моя жена... ничего?..

Кухарка передавала об этом барыне; но ей было все равно. Точно так же ей было все равно после того, как Павел Иваныч, в видах нового ободрения самого себя, выказал намерение запирать ее снаружи, упирая дубинкой в дверь, и проч. Она продолжала прозябать, теряла человеческий лик и нрав, теряла с каждым днем даже потребность опрятности, и таким образом получились те результаты райской жизни, которые повергли Надю в величайшее изумление.

3

Раздумывая над положением Софьи Васильевны, Надя постепенно додумалась до того, что Сонечка достойна величайшей жалости. Под влиянием этой мысли она снова отправилась к ней, снова перенесла все эти преграды, слезы, объятия и добилась все-таки того, что увела Софью Васильевну с собою. Больших трудов ей стоило уговорить ее не трепетать и не вздрагивать от уличного шума, который весь и состоял только в том, что какой-то мужик вез куда-то песок; не бросаться в стороны от прохожих, не ахать, хватаясь за грудь, при крике лавочного сидельца и проч. Кое-как, наконец, Софья Васильевна была приведена в дом Черемухиных и обласкана; успокоить ее тревогу относительно того, «что скажет муж»,— не было никакой возможности, несмотря на одинаковые старания Черемухиной, Нади и Михаила Иваныча.

— Да что ты, матушка? — уговаривала ее Черемухина: — велика беда — раз из дому в гости ушла!

— Что вы уж очень-то? — успокоивал Михаил Иваныч.— Велика фря!.. Да шут с ним! пущай-кось подумает, не чем кольями-то припирать!

Никакое из подобного рода увещаний не могло хоть на вершок поколебать страха, который вдруг стала чувствовать Софья Васильевна к мужу, не внушавшему ей до сих пор ничего, кроме полного равнодушия. Надя водила ее по саду, по двору, знакомила с хозяевами, показывала людей, спавших за заборами на перинах, и проч. Софья Васильевна как-то вдруг начинала радо-

ваться всему, что ни показывала ей Надя, и тотчас же впадала в уныние.

К концу вечера эти старания сделали то, что вместе со страхом к мужу в сердце Софьи Васильевны воспиталось уже крошечное зерно упрямства; ей уже не хотелось домой; а когда Надя предложила ей остаться и ночевать, говоря насчет Павла Иваныча: «пусть его», то Софья Васильевна только залилась слезами, но в ужас не приходила.

Успокоивая ее, Надя шла с ней из саду и тоже несколько испугалась, встретив кухарку Печкиных, которая за минуту пред этим, запыхавшись, вбежала в ворота.

— Матушка, Софья Васильевна! Пожалуйте скорей домой! — испуганно говорила она.— Павел Иваныч такой сделали шум, такой шум!

И тут испуганным, как говорится, «насмерть» голосом она рассказала, что Павел Иваныч, не найдя дома жены и не зная, где она, распушил ее, кухарку, и хотел тотчас же объявить полиции о розыске сбежавшей с офицером жены. Кухарке нужно было много времени, чтобы убедить барина, что никакого офицера тут не было и в помине, а приходила «барышня». Павел Иваныч никого не слушал, кричал на весь дом: «Барышня, барышня? что мне с барышней? что такое? в чем дело?» и стал бегать по лавкам, рассказывать всем, что «пришел домой, а жены нету», расспрашивал всех: «не видали ли?», заглянул даже в некоторые кабаки и трактиры. Наконец кухарка, благодаря скуке и наблюдательности обитателей тех улиц, по которым Надя и Софья Васильевна достигли дома Черемухиных, отыскала их и требовала немедленного возвращения.

Досада охватила сердце Нади при этом рассказе и при виде убитой фигуры Софьи Васильевны, которую тащат в какую-то берлогу.

— Она не хочет! Она не пойдет! — сказала она кухарке довольно решительно.

— Как это можно не идти? Где это видано! — в ужасе отвечала кухарка. И ее слова были подтверждены хором нескольких зрителей, в числе которых были хозяин, хозяйка и солдат.

— Да она хочет быть здесь! — убеждала Надя публику.

— Мало чего нет? Она хочет тут, а муж хочет там!..

Нет, уж это что же?.. Нет, уж иди!.. Как жена может уйти?..— говорила публика.

— Он, пожалуй, осерчает да прогонит еще! — прибавила кухарка.— Они вон, Павел Иваныч-то, чаю не пьют без них... Этого нельзя!

— Да он один напейся, разве не все равно? — отстаивала Надя Софью Васильевну.

— Супруг желает, чтобы вместе! Сударушка! — со всем усердием объясняла ей кухарка: — такое его желание, должна же супруга ему сделать по вкусу!

— А она здесь желает быть, должен он ей позволить!

— Матушка! — продолжала кухарка: — такое его желание, чтобы чай с нею... Он так желает... Должна она себя же приневолить!

Толпа подтверждала справедливость рассуждений кухарки. Старушка Черемухина, выглянувшая из комнаты, тоже не была против общего мнения, но высказала это довольно осторожно, сказав «вообще», что, мол, конечно, жаль, а все-таки... Но самое полное доказательство правды этих мнений было внезапное появление самого Павла Иваныча. Он торопливыми шагами направился к жене в самую середину толпы, и вслед за тем из разгневанных уст его полилась дребезжащая и крайне сердитая дичь и чушь.

— Это что такое?.. Что это такое?..— захлебываясь от усталости и волнения, задребезжал он, глядя на Софью Васильевну.— я чаю не пил! Ведь это, ведь...

— Я с Надей! — едва внятно произнесла Софья Васильевна.

— «С Надей»? — почти вскрикнул Павел Иваныч, выпячивая грудь вперед и растопыривая руки.— Что такое: «с Надей»? Что мне «с Надей»? «С Надей», «с Надей», а я... я чаю не пил!

— Ваша кухарка...— начала было Надя...

— Кухарка! — еще громче вскрикнул Печкин и еще больше качнулся назад.— Что мне кухарка? позвольте вас спросить: что такое кухарка? а между тем... а-а... Ведь это невозможно!..

Сердитая чушь, сыпавшаяся из уст Печкина и произносимая довольно громким и крикливым голосом, в соединении с шумными суждениями публики с каждой минутой привлекали все новых зрителей и праздных наблюдателей. Еще две или три минуты, и на дворе Черемухиных собралась бы толпа. Старушка Черемухина, знако-

мая с нравами захолустьев, поспешила предупредить образование формальной сцены и пригласила Печкиных в комнату. Здесь она объяснила Павлу Иванычу, в чем дело, уговорила его не беспокоиться и затем ласково проводила супругов за ворота. Надя с грустью рассталась с Софьей Васильевной и долго не могла успокоиться насчет того, что́ значит в руках супруга такое ничтожное обстоятельство, как «я не пил чаю»!

По уходе Печкиных захолустье, разбуженное супружеским вопросом, продолжало обсуждать его, и Надя принимала в этих рассуждениях живейшее участие. Желая уронить в общих глазах значение Павла Иваныча, она высчитала перед хозяйской кухаркой, с которой шли разговоры, все его злодеяния в виде кольев, ворчанья и заключила тем, что если бы ей пришлось с этим человеком пробыть один день, то она бы умерла или уж, по крайней мере, ушла бы прочь.

— И, матушка,— ответила ей кухарка: — ушла! Куды пойдешь-то, посуди сама? Ведь ты дня без супруга-то не продышишь! Повертишься, повертишься на крылечке, да и придешь опять! Кабы вы были простого звания, он бы, муж-то, так-то не привередничал... А то вы благородные: по этому случаю вам надыть исполнять его приказ.

— А простого звания? — спросила Надя: — а ты?

— Я-то? Мой муж этак-то не посмеет... ему не расчет надо мной потехи потешать. Потому он знает, что ежели ему рубь серебром занадобится, я ему дам, помогу из своих трудов, из своих достатков, а ежели он пьян напьется да придет ко мне шуметь,— так я его тоже могу и в часть посадить! Потому я сейчас взяла из своих денег гривенник, дала его будочнику, он его так-то ли прекрасно в часть запрет! Так-то-с!

— Да ведь и он тоже может будочнику дать гривенник?

— С чаво ж не даст? — даст: только ему же хуже... В чужих людях той помочи-добра не сыщешь, что в жене муж, а в муже жена... Мы не допущаем себя до этого... К примеру сказано... А у благородных-то этого нельзя; благородный-то хоть «что хошь» — мудри над женой, ей и будочник помочи не окажет, потому как он барина в часть потащит? Так она и должна себя потрафлять по мужу... Потому ей без мужа не с чем взяться!

Почти то же самое высказывали другие лица, обсуждавшие этот вопрос: Михаил Иваныч, и солдат, и хозяин, и хозяйка, и во всех их речах непременно упоминалось о каком-то «своем труде», «своих деньгах» как единственных средствах, с помощью которых можно избежать всех этих безобразий.

Вечером Надя долго думала обо всем, что пришлось видеть, и решительно не могла прийти к иному выводу, кроме того, что кухарке действительно лучше жить, нежели барыне или барышне.

ЧУДАК-БАРИН

1

Вспомнив, что с этих неприветливых мест «пошла русская земля», невольно приходишь к убеждению, что древнейшему нашему прародителю-новгородцу, начинателю жизни на русской земле, действительно должна была прийти в голову мысль о необходимости призвания варягов, то есть начальства, которое своими мероприятиями давало бы какое-нибудь оправдание местному обывателю на существование в такой трущобе, как лядина. В самом деле, представим себе древнейшего нашего прародителя-новгородца, ведущего беспрерывную и бесплодную борьбу с трясиной, «откуда есть пошла русская земля». Не приходили ли ему в голову примерно такие размышления: «спрашивается, зачем, на каком основании и вообще почему я обязан торчать в этой трущобе, воевать с комарами и вообще более или менее пропадать в болоте, в прутняке, в гари? Из-за чего? Положим, что вот у соседей, у немцев, та же самая трясина и прутняк... Но я понимаю, что там совсем другое дело: там земля зевоеванная; пришли чужие люди, забрали в руки все, обложили каждый лоскут данью. Это все понятно. Там, я понимаю, человек притиснут к стене. Плати или убирайся вон! Не на воздухе же жить с семейством... Разумеется, будешь жить в трясине... Но здесь?! (Новгородец восклицает почти в ужасе.) Зачем, из-за чего здесь?.. Нет здесь ни завоевателей, никто тебя по шее не гонит, никто тебя данью не опутывает; из-за чего ж все это мучение? Я понимал бы это безобразие, если бы меня, как немца, притиснул к этому прутняку какой-нибудь бесстыжий завоеватель. Разумеется, тогда бы жил, должен был жить, потому ничего не поделаешь... Но ничего этого нет, и... я не понимаю!»

Вот именно какое недоумевающее о самом себе существование и было причиною того, что в образованном лядинском обществе того времени стала бродить мысль о необходимости введения в нашей стороне порядков, хотя в приблизительной только степени, по западноевропейскому образцу. Если нет заправских завоевателей, которые бы приструнили нашего брата, «новгородского начинателя» на немецкий манер, то, очевидно, необходимо самим позаботиться об этом, самим установить нечто вроде завоевания. Нельзя сказать, чтобы расчет был плох; напротив, в нем видна значительная доля чисто русской сметливости, глазомера и вообще недюжинного ума. В Европе сначала — завоевание, потом — дань; у нас — прямо дань, а на завоевании прародители наши очевидно остались в чистом барыше. С тех пор до настоящего времени обитателю лядин есть чем отговориться, когда к нему пристанут с вопросом, зачем он торчит в этой трясине и из-за чего бьется?

— Подати, батюшка,— говорит он,— пода-а-ти!.. Подати надоть платить, из-за того и бьемся... Недоимка!

И действительно, недоимки накопил лядинец сверх всякого вероятия.

Итак, если лядина обладает вышеописанными свойствами; если древнейший прародитель наш, новгородец, должен был призывать варягов только для того, чтобы они заставили жить и страдать в этих трясинах; наконец если в настоящее свободное время местные обыватели не хотят приобрести лядину и за половину той цены, которую они давали во время крепостного права; если, повторяем, все это так, то спрашивается: чем, какими резонами можно объяснить попытку какого-то чудака превратить это пустое место в нечто обитаемое? Какие резоны имел этот чудак начать постройку (и не кончить) большого двухэтажного дома в одной из этих трясин? Кого он хотел удивить, начав (и не кончив) копать в этой болотной трясине канавы, как известно, мгновенно зарастающие прутняком и всякой травой? Что, кроме величайших неудобств, имел в виду неизвестный чудак, пытаясь перекинуть через некоторые трясины довольно приличные мостики, так как выбраться из трясины на мост и затем уже с некоторой высоты вновь опрокинуться в трясину же — ни крестьянину с возом, ни охотнику столичному, шаг за шагом пробирающемуся на тряской телеге в какой-нибудь откупленный для охоты участок,

не представляет ни малейшей приятности. И вообще что это был за чудак?

Такие мысли невольно должны приходить в голову как крестьянину, пробирающемуся на дровнях за дровами или за сеном в лес, так и столичному охотнику и всякому случайному прохожему, путь которого почему-либо лежит мимо покинутой, но, очевидно, очень недавно начатой, и притом в широких размерах, мызы, раскинутой в довольно глухой местности одной из лядин новгородских.

Мыза задумана в широких размерах: деревянный, двухэтажный с мезонином дом стоит недостроенный, очевидно брошенный своим владельцем; стекла в окнах нижнего этажа кое-где целы; во втором нет ни стекол, ни даже рам; в мезонине то же самое. Дом, надо думать, предполагалось поставить в саду, о чем свидетельствует повалившаяся в разных направлениях загородь. Новые в то время ворота стоят покачнувшись и перекосившись. Баня, людская просторная изба, сарай, скотный двор, погреб — все это ново, пахнет свежим лесом, носит следы недавнего струга, рубанка, пилы. Масса щеп вокруг дома также свидетельствует о том, что затея поселиться в трясине — затея недавняя, и все это, несомненно стоящее больших денег, брошено, покинуто на произвол судьбы. На расспросы случайных посетителей извозчик или проводник из окрестных крестьян обыкновенно отвечают, что «хо-о-роший был барин... и — и, какой человек! одно слово — доброта, душа-человек! Не нажить такого барина и вовек!» А куда он исчез, этот «хороший барин», никто не знает. Рассказывали, что ушел в заморские земли... «И как ушел-то? Думали было, что в город поехал на день, на два, ан — глядь — вот уж второй год его нету, и посейчас неизвестно где»... Точно так же неизвестна местным обывателям и причина, почему барин нашел нужным бросить все добро, бросить такую кучу денег, уйти, не сказав ни слова знакомым мужикам, которые «очень и премного барином довольны были и завсегда» и т. д.

И затем, если бы случайный посетитель пожелал разузнать о барине что-нибудь поподробнее, то ему сообщили бы множество фактов, доказывающих необыкновенную доброту и простоту (похвальная сторона этого последнего качества в устах крестьянина имеет весьма сомнительное свойство), но решительно ничего в объяс-

нение причин появления его в этой трясине. Расскажут вам для характеристики барина: «Уж и добер только был человек, на редкость даже!.. Ценой не скупился: вперед давал, сколько хошь,— по сту, по двести рублей, и по триста давывал, работой не неволил... Бывало, как лес чистили, часика с два потукаешь топором, дерев с пяток свалишь, уж бежит: не устали ли, мол, ребята? Водки тащат, закуски — пей... Это, например, чай с сахаром за всякое время пей, сколь хошь! Внакладку пивали, сказать ежели вам по совести, истинным богом... всей артелью человек в тридцать внакладку — пей! Ничего! Никаких вредов не делал... Это уж что говорить!.. Иди ты, братец мой, к нему в полночь — запрету нет, иди прямо — допускает без разговору, садись, пей чай али там вино, кофей — это у него сделай милость, не опасайся!.. Скажешь: «А что, Михал Михалыч, хотел я у вас увспросить, коровенку хочу...» — «Много ль?» И сию минуту даст, ежели есть, а ежели нету — «вот, говорит, съезжу в город, привезу...» И верно!.. Одно слово, барин был добреющий, худова слова даже ни единого разу не сказал; а надо говорить уж правду, случалось, с им худо поступали, что греха таить!.. И верно, как ему уйти, народишко-то вокруг него малым делом поиспортился... Бывало так, что только топором стучит об дерево, а рубить не рубит. Стучат пострелы по пням, а потом идут расчет получать. И платил и вперед давал. До чего баловство проникло например, что Мишка — вот тут есть мальчонка — так тот, постреленок, бывало, в людской сидим, чай пьем, набьет себе в чашку кусков восемь, а то и десять сахару, сидит в шапке перед образами, да еще и на стол, с позволения сказать, садился! Истинным богом, садился, вот до чего их обуяло! А иной и совсем худо дело. Даст ему Михал Михалыч сотельную: «Поди, мол, хошь там Микита или Егор, разменяй, мол, бумагу-то, да кстати, отдай тому-то, либо тому...» — «Слушаю»,— скажет и пойдет, да, вместо того чтобы отдать кому приказано, приходит назад и докладывает: «Уж вы меня, Михал Михалыч, не браните: я деньги ваши истратил, купил себе тесу или там лошадь, корову; уж вы меня поставьте на работу, я вам отслужу». И то не серчал. «Ну что ж!» — только всего и было от него... Вот какой был человек!.. Ну, а как стал он маломаленько хмелем зашибать — ну уж тут с ним стали орудовать, надо сказать, прямо не по-хорошему... Во

хмелю-то хоть раздевай его. Плачет, а с него счищают деньгу-то: охотников-то у нас на эти дела, господин, весьма предовольно!.. Я так думаю, что должно быть, что капиталу он своего решился в наших местах — оттого и ушел. А уж этакой был барин!.. Не нажить такого барина нам, нет, не нажить! Под конец-то он чего-то уж больно затужил, выпьет, бывало,— и крепко иной раз выпивал,— и зальется, а с чего — не сказывает...»

И если бы случайному человеку захотелось узнать, «с чего же это он грустил так», то местный обыватель не нашел бы, что ответить, или ответил бы что-нибудь вроде: «А господь его праведный знает... Капиталу своему, может, сожаление было али что-нибудь, какие прочие предлоги,— неизвестно нам это. Господь его ведает!»

И ничего более местный обыватель и даже очевидец не сообщит о чудаке добром барине. Анекдотов об этой доброте, разных случаев, в которых она выказывалась, сообщат многое множество; но все эти сведения нарисуют пред вами только фигуру *барина,* правда доброго, но вообще *человека* не нарисуют. Источник доброты, этой чудачливой панибратской обходительности барина с крестьянами, этой заботливости о том, «что́, мол, не устал ли», наконец источник этого невозможного равнодушия к деньгам — все это для местного обывателя и даже очевидца объясняется именно *барскими,* отличающими барина от мужика, свойствами. Барин может так *чудачить,* куралесить, барин волен куралесить на такой образец, как пожелает: на то он не мужик, а барин, на то у него и денег много.

2

Несколько лет тому назад совершенно случайно пришлось нам познакомиться с этим, отсутствующим теперь в неизвестности, добрым барином, Михайлом Михайловичем, и теперь иной раз, сидя на крыльце его мызы (приведенной в порядок одним моим знакомым) и толкуя с обывателями обо всякой всячине, до некоторый степени могу себе представить поистине трагическое состояние духа, в котором должен был находиться добрый Михаил Михайлович...

Добрый *барин!* Что может быть ужаснее для челове-

ка с его направлением мыслей! Он, в ту пору молодой, двадцатипятилетний барчонок, только что оставивший университетскую скамью, приехал сюда вовсе не для того, чтобы величаться капиталами, барством и довольствоваться всеобщим раболепием. Для охотников ко всему этому есть другие поприща, а не лядинская трущоба. Он явился здесь именно в уверенности, что он *порвал связи* как с своим семейством, так и с городским обиходом жизни, с своекорыстным употреблением своего капитала, знания и т. д. и т. д. Все это он бросил позади себя и явился нарочно в трущобу, в бесплодное, дикое место, где человек терпит, нуждается, бьется... Михаил Михайлович пришел сюда с тем, чтобы «на новом месте» совершенно по-«новому» начать жить, жить так, чтобы каждый кусок, который попадает ему в рот, не пахнул чужим трудом, чужим по́том. Он пришел трудиться наравне со всеми, как равный в правах и обязанностях, спать вместе с другими на соломе, есть из одного котла, а деньги, как нажитые общим трудом (так был М. М. в этом глубоко уверен в то время юношеских фантазий), должны быть достоянием той кучки людей, которая должна была образоваться как из крестьян, так и из искренно разорвавших с прошлым интеллигентных людей. Что среди крестьян он непременно отыщет людей, которые всецело не только поймут, но еще и разовьют его мысли,— в этом он был совершенно уверен. Крестьянин — это одетый в полушубок живой памятник всего, чего не упишешь в двадцати шести томах истории Соловьева. Мало того: в то прекрасное время к фигуре крестьянина как-то невольно примыкало, кроме двадцати шести томов Соловьева, еще все мучительно передуманное и пережитое европейскою жизнью.

Сообразив все это и соединив все так безобразно-трудно пережитое человечеством в лице крестьянина, которому, наконец, настало время вздохнуть свободно, Михаил Михайлович не мог не подозревать, что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов,— должен, *непременно должен* питать ненасытную жажду устроить жизнь по-новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дождется, он страстно хочет вздохнуть полной грудью. Пред этим величием Михаил Михайлович — пигмей; он ничего не имеет права желать,

как только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знание, труд. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Он пришел униженным и смиренным работником. Так Михаилу Михайловичу казалось... Он готов был простить всякую грубость, невежество, всякую неприятность со стороны его народных сотоварищей: он знал, что иначе не может быть, что не из чего выработаться было тонкостям и деликатностям; он был готов все простить и все претерпеть... Но, увы! — народ никаким образом не мог простить Михаилу Михайловичу ни капли из прошлого, потому что прошлое было крепостное,— как не мог забыть и своего крепостного прошлого. Этот крепостной опыт крестьян — с одной стороны, и с другой — то, что Михаил Михайлович был ведь в самом деле барин, и сокрушило и планы и деньги Михаила Михайловича без остатка.

Да и какие бы другие представления мог иметь только что вышедший «из крепости» крестьянин о людях, подобных Михаилу Михайловичу? Разве было что-нибудь и когда-нибудь подобное? А что Михаил Михайлович — барин, это местный обыватель заключил по тысяче мелочей, которые для Михаила Михайловича казались ничтожными, не имеющими никакого значения в таком серьезном деле, как то, за которое он брался. Уж одно то, что он приехал в деревню со станции в тарантасе, а не пришел пешком с котомкой за плечами и босыми ногами, не попросил христа ради испить,— уж это доказывало, что он не мужик. Он щедро дал на водку, дал столько мелочи, сколько попалось в руку в кармане,— «и карьера его была решена!» А когда к Михаилу Михайловичу стали приезжать его приятели, всё люди простые, честные, добрые, тогда местные обыватели, нимало не сомневавшиеся в том, что люди эти — *господа,* окончательно убедились еще в том, что они и добрые. Один послал за газетой на станцию и дал рубль серебра за хлопоты — заработок небывалый и новый, что немедленно же убедило обывателей в доброте господ и в том, что они — чудаки.

Вот почему рассуждения Михаила Михайловича и его приятелей о том, зачем они сюда приехали, что́ будут делать и как это выгодно и прекрасно для всех, как это все справедливо и т. д.— местные обыватели не только не понимали, но не желали понимать. Пожелай они — поймут отлично; вся задача в том и состоит, чтобы пожелать!

Но они считали своим долгом поддакивать. Своему брату или вообще человеку, который бы пришел с деньгами в эту трясину и объявил бы, что он хочет здесь жить и кормиться, они бы прямо сказали: «ступай отсюда, пропадешь!» Но раз перед ними барин с деньгами и с своей повадкой (фантазии Михаила Михайловича не более как *повадка*), то дело другое: тут только «потрафляй». Вот почему рассуждения Михаила Михайловича, рассуждения, которых крестьяне даже не считали нужным внимательно выслушивать (хотя делали самый внимательный вид), получили от всех их полнейшее одобрение.

— Ведь и эта земля, которая вот, кажется, никуда не годится, ведь она посмотрите какая будет, если сделать вот то-то и то-то.

— Это уж само собой! Этой земле цены не будет! Одно слово...

— Вот я вам расскажу,— робко начиная поучать, говорил Михаил Михайлович,— например, в Америке...

И рассказывал историю какой-нибудь американской общины, которая на безлюднейших местах сумела развести цветущие довольством поселения, и только благодаря знаниям и определенности цели.

— Цель... вот главное.

— Само собой! Это уж первым долгом!

Словом, какие бы невозможно-идеальные, фантастические идеи ни развивал в это время Михаил Михайлович перед местными обывателями, все они без исключения принимались последними без малейшего протеста и возражения и всегда, напротив, с величайшим одобрением: «само собой!», «Чего лучше?», «Первое дело!», «Первым долгом!»

Если бы Михаил Михайлович в это время не был помешан на своих фантазиях, то он и теперь уж мог бы услышать из уст своих крестьян-сотоварищей (так он думал) нечто, потрясающее все его иллюзии. Так, одобряя и соглашаясь, некоторые из крестьян проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь вроде: «мы завсегда хорошим господам с охотой готовы... Что наших сил... Для господ». Но Михаил Михайлович в эту пору никого и ничего не слыхал, занятый новым делом, как и мужики не слышали, что́ он толкует, занятые своим старым. Он полагал, что все рассуждения — сущая правда и неопровержимы, и мужики думали, что они ловко потрафляют барину, поддакивая,— и не ошиблись. Барин оказался — «рубаха!».

3

Начав *общее* дело с взаимного и совершенно основательного нежелания слушать друг друга, добрый барин и добрый мужик так это дело и продолжать стали. Барин «гнал *свою* линию», всячески угождая мужикам и относясь к ним с полным почтением; мужики погнали свою линию, также всячески угождая барину и относясь к нему с полным почтением. Все это, говоря обывательским языком, произошло в полной мере «само собой!». И не прошло трех-четырех месяцев после того, как Михаил Михайлович вступил во владение лядинской пустыней, как однажды, проснувшись утром в наскоро сколоченном мужиками сарае, не без некоторого ужаса почувствовал, что в его житье-бытье что-то неладно...

— Канавы прикажете, Михаил Михайлович, гнать аль мосты наводить? — спросил его крестьянин, сняв шапку.

Михаил Михайлович молчал.

Он был поражен.

«Что ж это,— думал он: — ведь я, кажется, *приказываю... командую...*»

Однако, собравшись с духом, он все-таки отдал какое-то приказание. Но, поднявшись с сена, на котором спал, наскоро напялил рваное пальтишко, в котором ходил по приобретенной трясине, грязные сырые сапоги, вытащил из-под подушки и надел на голову смятую шляпу и почему-то немедленно уехал в Петербург.

Недели две он бегал по петербургским приятелям, не замечая своего странного костюма и грязи, толстым слоем лежавшей на лице и рубахе, и предавась все это время непрестанным разглагольствованиям, причем обсуждалась на тысячу ладов справедливость делаемого Михаилом Михайловичем дела. Уже в это время его начинали одолевать припадки острой и мрачной тоски. Думает-думает, остановится на улице с вытаращенным неподвижным взором, постоит и, как сонный, войдет в портерную, спросит кружку, выпьет, спросит другую-третью и не замечает, что его одолевает хмель...

Так он долго промаялся в Питере; но когда воротился в трясину, то был уже не тем, чем в первый приезд. Он уже не разглагольствовал, убедившись, что его не слушают; он уж не панибратствовал, убедившись, что в братья мужику он не годится, хотя и продолжал вместе

спать и вместе есть. Длинным рядом всевозможных рассуждений о своей задаче он пришел к тому, что только пример, результат видимый, осязательный, доступен будет пониманию теперешнего крестьянина и научит его лучше всяких многословных рассуждений. Стало быть, надо не разглагольствовать, а взять все дело на себя, на свою ответственность. Теперь роются канавы, осушаются сырые места; но когда будет, назло всем преградам, получен первый урожай, словом — когда получатся плоды трудов и знаний, Михаил Михайлович на деле покажет, что́ значит справедливость. Теперь же он просто будет «пока» распоряжаться.

Решив так, Михаил Михайлович почувствовал себя спокойнее, да и, в самом деле, отношения сделались между ним и мужиками естественнее. Он стал приказывать, а они стали исполнять. «Рой тут канаву!» — скажет Михаил Михайлович и уж не разглагольствует о будущем благополучии, а молчит и молча думает: «потом сами увидите, что́ это значит!» Став на эту точку, он уже начал отвыкать от сплошного взгляда на весь толкавшийся вокруг него народ; он уже не мог смотреть на всех них одинаково, как смотрел еще недавно, полагая, что пред ним в каждом полушубке ходят все двадцать шесть томов истории Соловьева, а стал различать в одном экземпляре двадцати шести томов — хитрость, в другом — глупость, в третьем — самодурство, в четвертом — ловкость, понятливость и ум.

Появились, таким образом, любимцы, приближенные, доверенные.

Таким образом, если уж в то время, когда Михаил Михайлович был пред мужиком тише воды, ниже травы, если, повторяем, и в то уже время в нем нетрудно было разыскать и рассмотреть барина, барскую повадку, то теперь-то и подавно. Полагая, что он только временно, так сказать, надел на себя шкуру барина, Михаил Михайлович незаметно, в силу того же, что он был *барин в самом деле,* стал сбиваться с равноправной ноги, и воспитанное долголетним прошлым барство стало, сначала понемногу, выступать в его уме, и сердце, и душе, а потом и очень скоро вылилось во всей своей прелести.

Вместе с тем, по мере того как в Михаиле Михайловиче стал проступать уж *неприкрашенный барин,* в крестьянине (который, просим не забывать, только что вышел из

крепости) стал навстречу барину выступать *неприкрашенный раб.*

Барин начал повелевать, а крестьянин принялся его надувать.

Началась самая утонченная борьба двух естественных врагов, и надо отдать мужикам справедливость — молодцы они в этой борьбе. Лаской, угождением, потрафлением, предупреждением еще не родившихся, но имеющих рано ли, поздно ли родиться желаний, вот как они, и самые талантливые из них, принялись действовать...

У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше праздного времени, ему становилось все легче и беззаботнее, точно кто по-матерински заботился о нем. Он даже лесть стал слушать как должное, поддался на похвалу, на удивление его уму, знанию. Неведомо как и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тут вокруг да около лебезить. И другая и третья...

. . . .

4

Михаил Михайлович вновь очнулся, опамятовался и совершенно упал духом. Сначала, когда какое-то ничтожное обстоятельство заставило его прийти в себя, он мгновенно (барская привычка) ожесточился на мужиков. Все в них показалось ему отвратительным: и эти бороды и лица, но пуще всего эти улыбки, эти снятые шапки. «Холопье!» — возопил он всем нутром. Противными ему показались все эти: «Будьте покойны!», «Дело явное, чего лучше!», «Само собой!», «В аккурате!» и множество других ничего не значащих слов, которыми такой мастер отделываться русский человек, когда он не хочет ничего сказать или когда желает сказать не то, что думает.

Бывали у Михаил Михайловича минуты сурового ожесточения против всех и вся. Бывало так, что ожесточившись решительно на всех толкавшихся вокруг него на работах и постройках людей, ожесточившись на всех огулом и на каждого поодиночке, Михаил Михайлович прекращал всякие приказания и распоряжения, упорно молчал, не давал ни на что никаких ответов. Тогда народ, толпившийся вокруг него, немедленно же начинал разбредаться; никому не было расчета терять минуты

времени даром. Всякий знал: «понадобится — пришлют», и, взвалив котомку на плечи, расползались по лесным тропинкам к новому заработку.

Но по мере того, как равнодушие этих разбредавшихся людей (лично к Михаилу Михайловичу, а не к заработку) становилось все яснее и яснее, ожесточение его против этих людей ослабевало, а перспектива не сегодня, так завтра остаться одиноким в этой трясине — совершенно уничтожала в нем гнев и ненависть. Так же быстро, как и в начале хандры, ненависть его с мужиков переносилась на самого себя, а мужик, напротив,— начинал вырастать, вырастать... в чем же? — в прямоте и правде... Начинало оказываться, что во всем поведении мужика, поведении, которое возмущало так недавно до глубины души, не было ничего, кроме самой сущей искренности и глубочайшей правды. Михаил Михайлович в эти минуты ясно видел собственную свою дрянность, гнилость, негодность, негодность во всех смыслах — в физической силе, в твердости убеждений, в силе мысли, в прочности нравственности и т. д. И во всем этом мужик несравненно выигрывал. Какое необычайное преимущество мужика пред ним уж в одном том, что цель его проста, мала — какая-нибудь коровенка, недоимка! Купить коровенку, уплатить недоимку, а сколько он тратит на это силы, не сердясь, не беснуясь, не хвалясь, не чванясь?.. Ему все простительно, он все из-за хлеба...

5

. . . .

В такие минуты Михаил Михайлович мрачно пил и под хмельком ворочал мужиков назад, вновь пил «на мировую», под хмельком ехал в деревню в гости, вновь пил в гостях... И тут уже с ним стали поступать без церемонии... Тут-то вот Мишутка сел под образа в шапке, наклал сахару в чашку доверху и на стол грозился сесть. В эту-то пору стали у него брать деньги почти из рук и почти без церемонии... Не препятствовал Михаил Михайлович этому, убедившись, что другого назначения для него нет, как быть расхищенным на пользу ближнему...

«По-настоящему,— думал он,— надо бы просто послушать совета: отдай имение свое — и ступай!.. Бери, ребята, бери!..»

Он уж совершенно в это время не рассуждал и не фантазировал, а изрекал где-нибудь в крестьянской избе за бутылкой водки краткие изречения, вроде, например, следующего:

— Нет, ребята, мы с вами одного поля ягоды... И много, много в вас и в нас разных блох крепостных сидит... И долго-долго, ребята, выбивать из нас этих блох-то придется...

— Само собой! — откликается кто-нибудь на эту речь.

— Да перестань ты болтать черт знает что! — раздражительно восклицает Михаил Михайлович.— Ну, что это значит «само собой»? — какой тут смысл? Что значит «в аккурате», «к примеру», «первым долгом»? Зачем болтать вздор? Неужели, наконец, после всего, ты прямо не можешь сказать, чтó тебе от меня нужно? Корову? Лошадь? Тесу? Овцу? Телегу? Ведь непременно же что-нибудь подобное, а ты какое-то «само собой», а потом «в аккурате»... Чего тебе нужно?..

— Да лошадку бы точно что...

— Ну вот и прекрасно... а то «первым долгом», «в том числе». Еррунда!..

— Михаил Михайлович! — восклицает вострoглазая солдатка, появляясь в избе.— Ты что ж солдатку-то забыл? Чего ж чайку-то не зайдешь напиться?

— Забыл? Нет, я зайду, непременно зайду...

— Ты думаешь, солдатке тоже пить-есть не надо?..

— Как можно! Я-то думаю?.. Что это ты?.. Отлично понимаю. Именно пить-есть...

— То-то, заходи, стало быть, в гости-то...

— Непременно... Тебе чего, тесу или чего?..

. . . .

А уехал Михаил Михайлович потому, что денег у него не осталось ни копейки.

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся,— народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук,— до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* ослушания ее *повелений,* покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. У актера, который играет Мефистофеля или Демона, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом; наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца — словом, до тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы до ног и снаружи до самого нутра, проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли. Погасите красный фонарь — и лицо Демона перестало быть красным. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина,— добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство»,— и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»...

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо вы-

сказано мною то, что я хотел сказать, но явления народной жизни, в которых власть земли над человеком имеет первенствующее значение, до такой степени многочисленны и важны и вместе с тем выражаются в такой массе ничтожнейших, по-видимому, мелочей, что в них немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мне бы хотелось высказать. Вот почему мне и думается, что, быть может, и следовало даже определить эту мысль грубыми и резкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая,— словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха» с глубочайшею силою и простотой указано еще в стариннейшей былине о Святогоре-богатыре. В сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, в которой таится вся сущность народной жизни... Все содержание этой коротенькой былины состоит поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней то поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выезжают собирать дани, выходы), выехал прогуляться, поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей ли да по силе богатырской
Каб державу мне найти, всю землю поднял бы.

Никакой, однако, подходящей, к сожалению богатыря, державы на пути не встретилось, а встретился ему «прохожий» мужичок с сумочкой за плечами. «Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор, да громким голосом: «Гой, прохожий человек! подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добром коне».

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как уреслая, та сумочка не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не ворохнется та сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой,

потягивал: как урослая, та сумка не поднимается. Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку; он приладился, взялся руками обеими, *во всю силу* богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только *на волос*, по колена ж сам он в мать сыру землю угряз. Взговорит ли Святогор тут громким голосом: «Ты скажи же мне, прохожий, правду-истину, *а и что,* скажи ты, в *сумочке накладено?»*

Взговорил ему прохожий да на те слова:

— *Тяга в сумочке от матери сырой земли.*

— А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

— Я Микула есть, *мужик,* я Селянинович, я Микула — *«меня любит мать сыра земля».*

Вот и вся былина-загадка, и опять, как видите, слову «земля» нельзя придать никакого значения, кроме буквального. «Тяга» в этой самой натуральной земле — той самой, которая у вас в цветочных горшках,— оказывается столь огромной, что с ней не в силах совладать богатырь, которому ничего не стоит разнести в пух и прах, от нечего делать, целую «державу». Этот богатырь, ухватившись «обеими руками», из всех сил натужившись, едва-едва мог только на волос поднять мужицкую сумочку — ту ношу, которую народ носит за плечами, и так легко, что богатырю не догнать его на добром коне.

Читая эту былину, некоторое время недоумеваешь, почему и зачем неведомый автор ее, цель которого была показать «тягу земли», заставляет богатыря догонять прохожего пешехода. Но, вчитавшись в былину, видишь, что все в ней глубоко обдумано, все имеет огромное значение в понимании сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку. Все это так именно есть и до сего дня.

Сначала скажем о тяготе и власти. Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой,— что́ будет, неиз-

вестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести — она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей, случайностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работящая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т. д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года,— что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовые деньги»; тогда как владычествующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления. Жена крестьянина, которая в крестьянстве неоцененна, при готовых деньгах, при отсутствии крестьянского земледельческого труда теряет вдруг все свои достоинства; она оказывается просто дурой, дубиной, деревом, которое будет мешать везде, куда только ни сунется. Вот почему так противны те из крестьян, которые вылезли к деньгам, отделились от труда, живут на готовое: скучнее, пошлее этой жизни трудно себе представить. Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском или, как теперь, о «панье» и «портвине». Кто не знает наконец, сколько глупого «форцу» вносит крестьянин, поживший в трактире, в лакеях и т. д. А ведь он пьет, ест готовое, спит в тепле и деньги получает; у него «часы анкерные»; но кто не испытывал к этим типам самого полного отвращения? И этот же пустомеля и остолоп тотчас начинает возвращаться к образу и подобию человеческому, как только возвращается к труду земледельческому, то есть когда *теряет необходимость* выдумы-

вать свои интересы, наполнять себя нравственно чем попало и когда власть земли и труд, к которому она обязывает, наполняет все его существование содержанием не выдуманным, без его усилий, без его желаний, наполняет своею властью без его участия и воли.

Таким образом, у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?», то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня *любит* мать сыра земля».

И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь,— и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли все дети — он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену — и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем не виновен; а главное, какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь на дворе — *должен* сидеть дома, вёдро — *должен* идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвечая,* ничего сам *не придумывая,* человек живет только *слушаясь,* и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь,* не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто

лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце концов кормить желудями свиней? — Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет,* просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль.

Вам, например, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не так легка: вы работаете в министерстве до пяти часов поденщину, чтобы выработать *средства к жизни*, вы делаете *ненужную* вам работу; что такое для вас лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Миломордовой, которая пятый год со слезами умоляет защитить ее от опекуна, который при разделе дома завладел четырьмя окнами, а ей дал три, тогда как ей следовало еще пол-окна,— что вам до этого? А вы должны сидеть, класть резолюции, усовещивать опекуна на основании статей закона, грозить ему. Вы делаете это из-за средств к жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для вас — особь статья: Сарра Бернар, Зембрих, почести, политика, то есть нечто совсем особое от вашего труда. Детей, например, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали от знакомства с вашими служебными и общественными интересами. Вы трудитесь, надеясь на какой-то результат. Словом, ваша жизнь разбилась на полосы, в которых нет связи. Вы в департаменте совсем другой, чем дома или в театре. А крестьянин-земледелец везде один и тот же: он трудится и живет интересами этого же труда, и в этих же интересах *сам собой,* без учителя, воспитывается и его ребенок. Результат вашей жизни, положим, хоть плотная банковая книжка; банковая книжка пахаря тут же всегда с ним — в его радости, что вёдро, что «овсы» взялись шибко и т. д. Вам нужен кабинет — *для себя,* салон — для общества, классная — для детей. И везде все разное и думается, и говорится, и делается; для пахаря-мужика нужна *одна* изба, потому что все живут одним — землей, у всех один труд — земледельческий, все говорят и делают одно — то, что повелит мать сыра земля!

Недавно пришлось мне разговаривать с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в обще-

ство, так как сил работать у него уже нет, и пошел странствовать по святым местам. И о чем же вспоминает этот старик, стоящий на краю гроба? Что бы ему вспомнить двенадцатый год, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событие, свидетелем которого он был? — Нет, он вспоминает только землю.

— Жалко было бросать-то? — спросил я.

— Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..

И буквально с плачущими нотами в голосе продолжал:

— По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал!.. Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят...

«Девяносто мер» — это такая, должно быть, была прелесть, такой простор наслаждению!.. Сарра Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял де-вя-но-сто мер, вспоминая крестецкий овес и «своих баб», которые так были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свету.

Когда между мною и стариком шел разговор (мы сидели на улице, дело было в конце лета), вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

— Ишь горло-то дерут! Урожай ноне... Бог послал...

Хор зазвенел еще звончей и громче.

— Картофь, должно, господь уродил ноне,— прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.

НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть как-нибудь разобраться в том запутанном нравственном состоянии, которое переживает народ и которое таит в себе огромные несчастия, необходимы грубые, топорные черты, чтобы резче разграничить необходимое для народа от гибельного. Итак, приводя в порядок все до сих пор сказанное, я

думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип (он *изнурялся физически* на барской работе, но делал ту же работу, что и для себя), цельность своего земледельческого быта и, главное, *земледельческого миросозерцания.* Не нагайки, не плети, не дранье на конюшне, не становые или урядники, ни тем паче пятнадцать томов законов с двадцатью томами примечаний — держали его в повиновении, развили в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его от тлетворных лжеучений, а деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, обязывавшая его тяжким трудом и вместе с тем облегчавшая этот труд, делая его интересом всей жизни, давая возможность *в нем же* находить *полное* нравственное удовлетворение. Кроме этого, едва ли я ошибусь много, если скажу, что и *община* наша только потому, как говорится, устояла и только до тех пор, прибавим мы, устоит, покуда членов ее соединяет *однородность* земледельческого труда, *однородность* надежд, планов, волнений, забот, *однородность* семейных и общественных обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что *однородность* эта обязательна была и есть для характеров, дарований, умов, нервов. Напротив, над однородностью труда и вытекающего их него миросозерцания — ум, талант, сила, дарование имели полный простор, но проявлялись-то они *в одном* и том же деле, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мешающего проявлению дарований, надо принимать в расчет и при оценке нравственной силы наших артелей: у нас если пойдут рисовать поднос с огнедышащею горой, так с того места, где нарисован первый поднос, и пойдет по линии верст на четыреста — все деревни и все люди в деревнях примутся малевать тот же поднос с огнедышащею горой. Тут дело в том, что все хотят равняться только в средствах труда: у всех одна и та же краска, одно и то же железо, один и тот же рисунок; на этой одинаковости и конец равнению. Дальше этой одинаковости идет талант, физические преимущества, ум, проворство, случай: раньше встал, прежде других вышел на базар, купец-покупщик попал добрей. Едва ли не преувеличено мнение некоторых

исследователей общины относительно размеров той опеки, которую община накладывает на своих членов почти в каждом поступке. Не знаю. Искал я этой опеки и нашел, что действительно иногда общины запрещают своим членам продавать «навоз на сторону», а других опек что-то не видно. Сироту берет не община, а кто-нибудь из нее, добрый человек,—берет *сам,* без помощи и приказания или совета мира. Навоз действительно нужен в хозяйстве. Такие слишком уж одинаковые во всех отношениях общины не существуют даже в животном царстве; даже у стерлядей, по свидетельству рыболовов, существуют «десятники», которые посылаются стерляжиным обществом искать места для метания икры. Волжская рыба сазан, тоже живущая своими сельскими обществами, имеет и выборных, и ходоков, и депутатов; они обыкновенно идут впереди «общества» и, подойдя к заколу, который ставят рыбаки поперек рек, начинают пробовать крепость его носом, потом налегают боком, потом пробуют перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладывают обществу; мирской сазаний сход решает «взять» закол всем миром, и точно, все стадо с страшною стремительностью бросается на закол и ударяет в него всем своим коллективным рылом. Многие погибают насмерть, а другие проскальзывают в брешь и спасаются.

Не говоря уже о том, что некоторые из мирских поступков нашей деревни, ввиду вышеприведенных примеров (которых можно бы привести множество), теряют некоторую долю своего значения, эти примеры, взятые из рыбьего быта, говорят, что даже и в этом быту нет сплошного во всем равенства и одинаковости, тем паче нет и никогда не бывало его в общине крестьянской, человеческой. Но опять-таки *земледельческий* труд, жизнь в *земледельческих* условиях и, главное, *земледельческое* миросозерцание смягчали эти резкости всевозможных неравенств просто потому, что делали их всем понятными. Возьмем вопрос самого жгучего неравенства — богатство и бедность. Богачи всегда бывали в деревне; но я спрашиваю, чем и каким образом мог разбогатеть крестьянин-земледелец и как и отчего мог обеднеть? — Только землей, только от земли. Он *не виноват,* что у него *уродило,* а у соседа нет; *не виноват* он, что он силен, что он умен, что его семья подобралась молодец к молодцу, что бабы его встают до свету и т. д. Тут — счастие,

талант, удача; но счастие, талант, удача — *земледельческие,* точно так же как у соседа земледельческая неудача, отсутствие силы в земледелии, отсутствие согласия семьи, нужного для земледелия. Тут *понятно* богатство, *понятна* бедность, тут никто ни перед кем не виноват. Это не то, что теперь, когда Иван Босых, силач и весь созданный для земледелия, нищенствует, а мужичонко, которого перешибить можно плевком, богат без земли и без труда, на который он не способен. Такое богатство, которое у всех на виду, которое всем понятно,— извинительно, и ему можно покоряться без злобы. Чем виноват этот богач-земледелец, у которого земля уродила потому, что на нее *пал дождь,* а на мою не пал, и я обеднял? Завтра на *мое* счастие ударит грибной дождь, высыпет в лесу масса грибов, и я не поленюсь встать до света и собрать их, пока другие спят. На мое счастие попадутся белые грибы, а ведь они — рубль двадцать фунт; это счастье может посетить и меня, как посетило соседа. Точно так же я *не могу* роптать и на то, что сосед умней, проворней, сильней, дальновидней. Он и я — мы делаем *одно* и то же дело, только по-разному, по-своему, как кто может и какое кому счастье. Это взгляд, которому учат также земля и неразрывная с нею невозможность сопротивляться велениям природы, с которою человек неразрывен, имея дело с землей и живя земледельческим трудом. Но тот же самый человек, который без зависти и злобы переносит богатство, понятное ему и объяснимое с точки зрения условий собственной жизни и миросозерцания, ожесточится и со злобою будет взирать на такое богатство своего соседа, которое он, во-первых, *не может понять* и которое, во-вторых, вырастает вопреки всему его миросозерцанию, без труда, без дарования, без счастья, без ума.

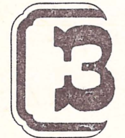
Вот это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, но о ней мы будем говорить самым подробным образом во второй половине этих заметок; там же, и с возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также важнейшей черте народной жизни, о которой в настоящем отрывке не сказано ни слова почти умышленно — не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основание народного миросозерцания и власть, которую играет в нем земля. Это другое, важное в народной жизни, есть *народная интеллигенция,*

всегда, во все времена существовавшая в народе, но теперь незаметная.

Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, то есть крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности. Мужик, который убил жену, потому что она «мешает» в хозяйстве, слаба, не работяща, ленива и, может быть, зла,— согласно лесной морали, был прав и, согласно ей, *не чувствовал* себя виноватым; но чем же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д? Вот эту, не зоологическую, не лесную, а божескую правду и вносила в народную среду *народная* интеллигенция. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечною природой на произвол судьбы; она помогала, и всегда *делом,* против слишком жестокого напора зоологической правды; она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы. Интеллигенция эта ни капли не похожа ни на графа Судак-Огратанова 12-го, который «с сотнею» казаков разбил многочисленного неприятеля, не походила на поэта, бряцающего на казенной лире подвиги означенного графа, ни на государственного мужа, написавшего сто томов разных полезных законов, не походила ни на нынешних становых, председателей, урядников, гласных, волостных старшин и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что тип ее был тип *божия угодника.* Но это не тот угодник, который, угождая богу, заберется в дебрь или взлезет на столб и стоит на нем тридцать лет. Нет, *наш народный* угодник хоть и отказывается от мирских забот, но живет только для мира. Он мирской работник, он постоянно в толпе, в народе, и не разглагольствует, а делает в самом деле дело. Народная легенда о Николае и Касьяне как нельзя лучше рисует этот тип *народного* интеллигентного человека. Касьяну, как известно, праздник бывает только в четыре года раз (в високос), а Николаю — множество раз в один год. Отчего так? Оттого, разрешает этот вопрос легенда, что когда Николай и Касьян пришли давать богу отчет, после того как они были на земле между людьми, то Николай оказался весь испачкан грязью и в изорванном платье, а Касьян пришел франтом. Вот бог и решил, что Николай все время работал, толкался в народе, хлопо-

тал, а Касьян только разговаривал, за это и положил праздновать Касьяну в четыре года раз, а Николаю в год чуть не двадцать раз. Вот такой-то тип и есть тип *народной* интеллигенции, и дела такого угодного богу и народу человека как нельзя лучше подходили к общим условиям земледельческого быта: они были нужны, настоятельны,— и такой работник, как мы видим, был. Теперь нет в народе такого типа, такого работника, никто не пачкает своего платья из-за чужой беды. Все добрые дела обязались делать земские собрания за умеренное вознаграждение. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, так как и труд — уже не труд и жизнь одновременно, а только труд.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ



адавшись целью определить значение в народной жизни и миросозерцании «земли» и «земледельческого труда», я должен бы был теперь же, то есть тотчас после общих рассуждений об этом предмете, перейти к примерам, к проявлению, если так можно выразиться, *«земледельческой мысли»* народа в частных, семейных, общественных делах. Все это и будет сделано мною впоследствии в отдельных отрывках; теперь же, ввиду того что мне в этом общем очерке современной земледельческой жизни необходимо говорить о таких явлениях, которые самым безжалостным образом расшатывают и разрушают весь строй народного труда и миросозерцания, я ограничусь несколькими случайными примерами, касающимися «власти земли», только для того, чтобы виднее было, что именно творится в народной жизни в настоящее время.

Итак, чтобы не далеко ходить за этими примерами, возьмем первое, что попадется под руку.

Берем, например, один из новогодних календарей; там, в отделе примет и замечательных событий, обратите внимание на те из них, которые «замечательны» для народа. Возьмем 6 января, «крещение». В отделе замечательных событий «для господ» ничего не показано. 3 января показано, что умер граф Румянцев, канцлер, покровитель наук и просвещения, и заключен мир и договор в Андрусове в 1667 году и в Бахчисарае в 1681 году;

затем ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го ничего особенного не случилось. А вот в отделе народных «замечательных» событий значится целых *семь* замечательных примет, именно: «Яркие звезды под крещение — много родится белых ярок». «На крещение день теплый, будет хлеб темный». «Коли идут на воду в туман, будет много хлеба». «На крещение метель, и на святой будет метель же». «На крещение снег хлопьями — к урожаю» (цвет будет хорош). «Если на крещение в полдень (вот какая точность!) синие облака — к урожаю». «Если на крещение звездная ночь — урожай на горох и ягоды». А затем так и пошло без перерыва на целый год, вплоть до будущего крещения,— у господ идут: взятие, покорение, одоление и т. д., а у крестьян: «На Трифона звездно — весна поздняя». «На Евдокеи снег— урожай». «На Евдокеи погоже — лето пригоже». «Коли грачи дружно на гнездо летят — дружная весна». «Каковы на Алексея ручьи — такова и пойма». «На благовещение дождь — родится рожь, мороз — урожай на грузди, гроза — к теплому лету и орехам, мокро — к грибам». «Апрель сипит да дует — тепло бабам сулит, а мужик глядит, что-то будет». «Марья — заиграй овражки, зажги снега». «Коли на Юрья березовый лист в полушку, на успение клади хлеба в кадушку». «Если на Николу заквакают лягушки — хорош будет овес». «На Луку полуденный ветер — к урожаю яровых».

Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положение: св. апостол Онисим переименован в Онисима-овчарника, Иов многострадальный — в Иова-горошника; св. Афанасий Великий, архиепископ александрийский, имя которого «нераздельно соединено с историей христианской церкви в IV веке, так как он — один из самых ревностных защитников благочестия против лжеучения Ария», переименован просто в Афанасия-ломоноса, потому что около дня его имени, 18 января, бывают самые страшные морозы, от которых кожа слезает с носа. Св. преподобно-мученица Евдокия, отличавшаяся в молодости тем, что «пленяла красотой юношей и жила во грехе», а потом, по увещанию некоего Германа, обратилась к истинному богу, именуется «Евдокея-плющиха, подмочи порог», так как 1 марта, день ее празднества, тает, плющит снег и т. д. Герасим — грачевник, Ирина— рассадница, «на Кузьму — сей свеклу», Лукерья — комарница (13 мая), Леонтий — огуречник, Акулина — гречишница и т. д. и т. д. Таким образом, весь

год — триста шестьдесят пять дней имеют каждый бесчисленное множество примет, и хотя эти приметы не имеют для вас, образованного читателя, никакого значения, даже смысла, но земледельческую народную мысль они достаточно-таки характеризуют. Сколько нужно внимательности, а следовательно, и траты собственной мысли, примечая, например, цвет облаков в полдень в крещение, находить в этом связь с урожаем, который может определиться в августе, то есть через семь месяцев! «Если на крещение в полдень синие облака...» Может быть, эта примета ровно ничего не означает, но неужели же, чтобы создать эту примету, чтоб августовский хлеб привести в связь с цветом облаков в крещение, да еще в полдень, не надо было много и своеобразно думать, и притом думать именно «земледельчески»? Один уж этот пример, взятый, повторяем, совершенно случайно,— а таких примеров мы могли бы привести поистине великое множество,— один он может показать, до какой степени крестьянин тратит много внимания на природу и землю и на все, что с ними связано: мало отметить день какою-нибудь приметой — отмечается даже час, полдень, отмечается цвет облаков, ночью отмечается блеск звезд и т. д. И это на каждый день в году и едва ли не на каждый час. Можете представить, что об одном хлебе, об урожае или неурожае начинают примечать тотчас после посева: уж в октябрьских приметах значится: «коли лист (опадающий) ложится вверх изнанкой, будет урожай». В ноябре «снегу надует — хлеба прибудет», а «коли лед на реке становится грудами, будут и хлеба груды». В декабре «большой иней, груды снега — и хлеба будет много». *«Коли снег привалит вплоть к заборам,* будет неурожай; коли не вплоть — урожай». «Иней на деревьях — урожай». «Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе». 25 декабря ясный день к урожаю; небо звездисто — к приплоду скота, ягодам, гороху. «Коли тропинки черны, уродится гречиха». Чего стоит хоть бы вышеприведенная примета — *коли снег привалит вплоть к забору и коли не вплоть!* Едва ли банкир и капиталист в такой же степени тщательно изучает все случайности, которым могут подвергнуться его бумаги, как тщательно изучает крестьянин мельчайшие подробности случайностей природы, обусловливающие успех его труда и всего благосостояния. Но мало того, что каждый день в году и почти каждый час в течение дня запримечены,

объяснены и осмыслены сообразно земледельческим условиям жизни; мало того, что запримечено и объяснено появление каждого облака, дождя, снега, их свойства, вид, даже цвет (облака); мало того, что все святые, чудотворцы, апостолы переименованы сообразно земледельческим условиям быта народного: самое священное писание, если послушать деревенских толкователей его (не говорю о раскольниках и сектантах, которые толкуют его весьма широко), кажется, только и написано для того, чтобы доказать крестьянам, что «приидет царь (такой-то) и даст землю». Непонятный, запутанный текст «Апокалипсиса», который с такой охотой читают деревенские грамотные люди, в толкованиях этих последних получает совершенно неожиданно самый ясный смысл, потому что все оказывается написанным насчет того, что земли будет вволю... Везде, где попадаются слова: «и соединиша», «и соединихом», «и соединих»,— уж непременно дело идет насчет земли... «И соединих»... вот это и есть это самое, толкует толкователь: «Как у нас теперь наша земля отошла и буерак с прутняком отошел, то вот и пишется, что «приидет» и присоединит все опять же к нам...»

— А не сказано, что сначала отойтить от нас должна?

— Как же не сказано-то! Вот...

И тотчас отыщется место, в котором сказано: «разрушу», «расторгну», и потом отыщется другое место после «расторгну», в котором сказано: «и соедиких».

— Вот так и есть: сначала отобрали, а потом отдадут обратно.

Отыскиваются указания в «Откровении», имеющие чисто местный характер. Например, вот в этой деревне крестьянскую землю раскидали в три разных места, а в другой она только в двух местах, и каждая деревня непременно найдет в «Апокалипсисе» указания, касающиеся земельных особенностей каждой. Одна отыщет, что «трие воедино», а другая — «воедино да будут двоие», и все это с глубочайшею верой и благоговением... Однажды, разговаривая с таким старичком-толкователем, я спросил его:

— Ну а у меня отберут землю *тогда*?

— А у тебя сколько земли? — спросил старичок.

— Одна десятина.

Старичок подумал, переспросил, как и у кого куплена, и, подумав еще, сказал:

— Тебе *тогда* должна быть прирезка.

И, подумавши еще, прибавил:

— Тебе тогда *должны* еще четырнадцать десятин нарезать...

И об этом даже сказано в писании. Даже то обстоятельство, что земля *в то время* будет на душу по пятнадцати десятин, и то предусмотрено в священном писании, и толкователь обещается указать место в «Апокалипсисе», где именно эта цифра указана. Вы представьте себе в этом толкователе седого, истомленного трудом, ходьбой по добрым людям (у него перемерла семья) старика, представьте что каждое слово в его толковании о земле говорится с истинным благоговением и с таким же благоговением слушается,— и вы, быть может, задумаетесь над этою чертой страстного ожидания земли народом. Она нужна не только как хлеб — хлеб можно достать на поденщине (теперь дворники получают в Петербурге по тысяче рублей, и все-таки думают о деревне и земле),— но как основа всего рисующегося в народном воображении светлого будущего, как основание единственно безгрешного труда, как источник таких человеческих отношений, в основании которых лежит «добровольное» повиновение друг другу,— отношений, всего менее допускающих «человеческий» произвол *ввиду всеобщего и неизбежного повиновения* несокрушимой, непобедимой, таинственной и непостижимой власти.

ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

Теперь посмотрим, в какой степени это, имеющее для народа огромное значение, стремление к земле удовлетворялось в прежние времена и удовлетворяется теперь.

Рискуя быть причисленным к разряду заскорузлых крепостников, я должен сказать, что при крепостном праве наше крестьянство было поставлено по отношению к земле в более правильные отношения, чем в настоящее время. Я не говорю о несправедливом труде, который нес крестьянин на своих плечах, о его вековой жажде высвободиться из-под этого

гнета и т. д.— все это не может быть предметом настоящей статьи, предмет которой — только значение для крестьянина земли. И в этом отношении крестьянин имел земли гораздо больше, чем теперь; не ошибемся, если скажем, что земли у помещичьих крестьян было вдвое более против теперешнего. Кроме того, всякий помещик, если он не был безумным или выродком, вроде, например, Измайлова и других подобных ему зверей, *из личной выгоды* должен был поддерживать в своих крестьянах все, что делает их настоящими крестьянами-земледельцами, так как только крестьянин исправный и есть исправный плательщик помещику, который жил его трудами. Глядя на крестьянина как на бессловесное животное, помещик, хотя бы самого грубого и дикого нрава, должен был кормить это человеческое существо, почитаемое им за скотину, чтоб она возила, чтоб она работала, чтоб она давала ему доход. В смысле получения этого дохода было организовано все деревенское управление, наблюдалась тщательно сила семей; по этой силе распределялись налоги и барщина; во имя *хозяйственных целей* вот эта пара одиноких лиц мужского и женского пола соединялась насильственным браком, и образовывалось земледельческое рабочее тягло; во имя хозяйственных целей вот этот неспособный в хозяйстве человек брался во двор, а другой — вор и пьяница — шел в солдаты. Силы людские, имевшиеся в распоряжении помещика, всячески экономизировались в смысле хозяйственной выгоды.

Эта хозяйственная организация деревни до сих пор еще весьма сильна в сознании деревенских стариков, помнящих крепостное право. До сих пор оценка человека только по его успеху или неуспеху в работе не только играет большую роль в крестьянском мнении вообще, не служит даже для достижения целей деревенских эксплуататоров новейшего типа. Как известно, а может быть, и неизвестно читателю, в настоящее время телесные наказания при волостных правлениях не только не умаляются в своих размерах, но, напротив, с каждым годом возрастают. Крайне жаль, что новорожденные провинциальные издания относятся недостаточно внимательно к суровой действительности, переживаемой народом Ни плана, ни программы, мало-мальски выработанной и обязательной для корреспондентов, ничего нет. Такое замечательное явление, например, как торги на лесные

и земельные участки, на которых крестьяне могли торговаться обществами без залогов, в высшей степени важно, как опыт борьбы кулака с целым сельским обществом, а между тем оно не вызвало ни одной корреспонденции, ни одной цифры. Дранье на волостных судах также проходит без малейшего внимания, а дранье — непомерное... Мы уверены, что если бы кто-нибудь дал себе труд просмотреть решения волостных судов (мы уже не говорим — разобрать подноготную мотивов этих решений) и сосчитать число высеченных положим, в осенние только месяцы,— так положительно волос встанет дыбом даже у аракчеевских ветеранов. Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по тридцать человек в день. Я просто глазам своим не верил, видя, как «артелью» возвращаются домой тридцать человек взрослых крестьян после дранья — возвращаются, разговаривая о посторонних предметах.

— Да неужели их драли? — спрашивал я старосту, который, возвращаясь после этого «присутствия», зашел ко мне папиросочки покурить.

— А то как ж?.. Я сам троих «приставил».

— Да за что же?

— А за то, что заслуживают... Не храпи, не пьянствуй... Мало ли у них блох-то!..

Осенью самое обыкновенное явление — появление в деревне станового, старшины и волостного суда. Драть без волостного суда нельзя — нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями,— и вот становой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а «писать» будут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с колокольчиками: на одной — становой, на другой — старшина с писарем, на третьей — шесть человек судей; все это почтенные Несторы-летописцы, Дафаны, Авироны, Авраамы и... Хамы, между прочим. Разумеется, эти Авироны не виноваты, по крайней мере в тех размерах, как это кажется с первого раза,— их таскают силой и для формы. Въезжает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: «Розог!»... «Деньги подавай, каналья!»... «Я тебе поговорю, замажу рот»...

И опять приходит свидетель и, делая папироску, рассказывает:

— Ка-ак вжикнул, сразу кровь пошла...

— Да неужели же опять драли?

— А как же?.. Который заслуживает, храпит, пьянствует... Только не всех... Сейчас деньги явились... А которые оставши не сечóны, тем отстрочка на две недели дана... Ну а между тем *все к розгам подписались...*

— Это что же такое?

— Драть, *в случае не принесут денег...*

И, помолчав немного, он прибавил:

— Смородины нарезали... на розги-то!

Впоследствии читатель увидит, почему «невозможно» не драть. До тех пор, пока простая, искренняя внимательность, простое, но искреннее желание отнестись к человеку по-человечески, просто, совестливо войти в его нужду и в *самом деле* (повторяю, *в самом деле*) удовлетворить ее — не осветят наших темных дней, дранье не прекратится. Но хоть оно и неизбежно (эту неизбежность докажут вам волостные старшины и становые пристава), а нельзя не принять в соображение, что этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий посев, должен, непременно должен дать всходы, плоды. Но едва ли они будут похожи на смородину. Кстати здесь сказать, что и теперь уже есть признаки выражения народом нетерпения; рассказывают про одного волостного старшину, который «осмелился» попросить станового не ругаться скверными словами в присутствии волостного правления, а это худой признак для любителей смородины. Наконец тот самый староста, разговоры с которым я привел выше, недавно сменен обществом раньше срока. Еще бы годик, и он был бы «на самом лучшем счету» — так он усердно «приставлял» в волость и до такой степени относился к народу «без внимания». Замечательно, что когда я спросил его, кто подвел под него интригу — старик или молодой, то он с огромным негодованием ответил:

— Молодой, пес его дери!..

И прибавил:

— Ну да я всех их разыщу. Погоди!..

А и самому этому человеку нет сорока лет. Он молод, силен, здоров, умен, но есть в нем какое-то невольное стремление отделиться от мужиков... Крестил его, извольте видеть, какой-то высокий сановник, случайно заехавший в ихнее место на охоту, крестил, подарок сде-

лал и точно печать наложил: не может мужик не считать себя чем-то особенным. Наконец вот еще любопытная черта. В старостах он не пробыл и года; до этой должности он был простой мужик и рыболов. В течение нескольких месяцев начальствования ему попали земские деньги на овес: он не утаил их, роздал всё, как следует, но он их только *подержал* у себя (буквально) лишнюю неделю и вот теперь, посмотрите, выходит в капиталисты. Покупает «у мужиков» солому по 15 копеек за пуд, а продает по 35 копеек. Стал отправлять вагоны в Питер... Недавно отправил шесть вагонов (обертывать бутылки иностранных вин). И я уверен, что угроза его односельчанам, выраженная фразой: «Погоди, я их всех найду!» — осуществится... С другой стороны, я тоже знаю, что и односельчане тоже не дремлют и тоже произносят кое-какие фразы насчет этого нарождающегося купца, бормочут что-то насчет «произведем», «так ты и выскочил в купцы...» Но чем все это кончится, не знаю.

Прошу читателя извинить меня за это длинное, прямо к делу не относящееся, отступление и возвращаюсь к соображениям по поводу телесного наказания. Не раз я становился в тупик перед этим явлением. Я никак не мог понять, каким образом можно положить на пол, раздеть и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства — человека, у которого дочь невеста.

— Да неужели же их силой кладут на землю? — спрашивал я у того же старосты, который готовился быть на хорошем счету.

— Коё — сило́м валят, коё — сами ложатся. Вот ноне (когда секли тридцать человек) сами всё...

— Да неужели это правда?

— Да чего ж мне лгать-то? Так один по одному и ложатся.

Впоследствии я понемногу ознакомился с теми гнуснейшими, своекорыстнейшими побуждениями, которые действуют в этой, ничего хорошего не обещающей, свалке. Увидел много самой звериной злости, прикрывающейся законом, но в то же время я узнал, что и не звериная злость, обыкновенно скрывающаяся, и не насилие прямое и грубое дают одному человеку право бить другого, а хозяйственные доводы. Староста «приставляет» мужика к розгам не за то, что хочет ему отомстить за обиду (он об этом умолчит), а за то, что тот не внес шести

рублей, тогда как *мог бы* внести. В правлении, где решают число ударов и где человек приготовляется раздеваться, вы слышите разговоры о сене, которое продано за столько-то, упреки, что из этих стольких-то рублей пропито больше, чем следовало.

— Сено теперь сорок пять копеек, это нам известно! — кричат судьи.— Ложись-ко!

— Коли бы по сорок-то пять я взял, так я бы и внимания не взял говорить! — оправдывается виновный.— Я тебе честью говорю — по двадцать восемь копеек!

— Полно зубы-то заговаривать — по двадцать восемь! Знаем мы очень прекрасно. Твое сено — первый сорт. Ослеп ты, что ли, за двадцать восемь-то отдавать?

— А забыл, дождик-то сколько погноил... на Илью-то? Есть в тебе совесть?

— На Илью!.. Знаю я Илью... Ложись-ко без хлопот. Погноил!..

Какое бы адски своекорыстное побуждение ни руководило всей этой жестокою комедией (ниже мы увидим пример проявления своекорыстия в такой жестокой форме), всегда пункт, на котором держатся судьи, и вина, которую может сознавать виноватый или которую *навяжут* ему, потому что знают, что он только *в этом* смысле и может кое-что понимать,— всегда исходный пункт для всей этой операции — преступления *хозяйственные:* «продал телушку, а купил зеркало» и т. д., что уж доказывает фанаберию и т. д. Нет никакого, конечно, сомнения в том, что в этой жестокой комедии участвуют и другие мотивы, но самое понятное и самое доступное понимание во всем этом бессмысленном безобразии — это *вина против своего хозяйства.*

Кстати, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, скажу теперь же о том своекорыстии (деревенском), которое умеет прикрываться всевозможными способами, меняя шкуру сообразно тем настроениям высших «командующих» классов, которые входят в моду в данную минуту.

Приходит ко мне одно из «благонадежных» крестьянских лиц, стоящее на отличном счету у начальства. Подати у него всегда взысканы, мужики снимают шапки при проезде всякого начальства и вышколены им для «декорации преданных поселян» превосходно. Сам он — умный и, как увидим ниже, «добрый» человек; но мода «на мутную воду», на трескучий вздор, прикрывающий

своекорыстие, совершенно его извратила. Он знает одно, что сильна и властвует только палка, и добивается он только того, чтобы в результате получился более или менее жирный кусок пирога. Но, зная это, он превосходно понимает, что поступать открыто невозможно, и поэтому, руководствуясь общим жизненным настроением, поступает вполне прилично, законно и даже либерально. Люди подобного типа отлично собезьянили всю интеллигентную внешность своих воспитателей, административных педагогов; но педагоги эти ошибутся, если подумают, что в этой внешности есть что-нибудь в самом деле искреннее. Увы, старая пословица — «каков поп, таков и приход»— до сих пор остается глубоко справедливой: раз учителя не уважают человека, а норовят только поживиться на его счет, прикрывая свои частенько не только несправедливые, а прямо жестокие действия всякими законными, либеральными или охранительными доводами,— и ученики вышли такие же, с тою только разницей, что они, как простые деревенские люди, не привыкшие к пустякам, буквально уж не сделают *ни единого* бесцельного поступка. Вот на днях такие «надежные» маленькие сельские Капгеры поднесли адрес и альбом мировому судье. Они отлично выразили в адресе свои чувства, преданность. Альбом стоил рублей двести. Вы думаете, тут в самом деле чувство? Нет, тут «заручка» на «предбудущие времена», в случае попадется на какой-нибудь плутне или понадобится пристращать «должника» по знакомству. «Что ж, он в самом деле хороший человек? — спрашивал я благонадежного.— Вот здесь, в адресе, сказано: «и ваше неустанное попечение о благосостоянии» — что ж, в самом деле он внимателен к народу?» — «Как же, в самом деле... Очень даже внимателен... Служил в земстве, так не забыл в свое имение дорогу проложить...» Вот вам и «выраженные чувства». Или: я только что говорил о телесных наказаниях; народ не всегда доволен этим способом взыскания и ропщет на старшину и на начальство. И действительно: прикрываясь террором господ становых, «немедленным» взысканием и невниманием к просьбам погодить, пока «станут цены» на тот или на другой продукт, многие из таких «благонадежных» людей скупают во время этого террора за бесценок и сено, и телушку, и рыбу и потому улучшают свое благосостояние, так что человек несведущий, наслышавшись о бедности деревенской, въехав в деревню и встретив расфранчен-

ного парня (из числа улучшивших свое благосостояние вышеупомянутым способом), говорит: «Какое... бедность! Я сам видел мужиков с часами, бархатный жилет... Чистое лганье — эта литература». В деревне это лганье оказывается, однако, для всех, на счет которых явились часы и жилеты, совершенно ясною правдой и возбуждает недовольство, пока скрываемое. Незнакомый с деревенской подноготной видит в этих серебряных часах только серебряные часы, а знакомый с нею, напротив, видит не часы, а лошадь или сто пудов сена. Для него ясно, что в кармане этого франта спрятана целая лошадь, купленная по нужде и перепроданная за дорого, а вовсе не часы «с двум доскам».

ЗА МАЛЫМ ДЕЛО

1

Начали говорить о народном невежестве, и почти у всякого из представителей уездной интеллигенции, которая от нечего делать «забрела» «поболтать» к добрейшему Федору Петровичу, нашлось какое-нибудь собственное мнение по этому важному вопросу. Радушие «добрейшего» Федора Петровича, не забывавшего обновлять столики своего кабинета постоянно полными бутылками кахетинского, было, как и всегда, причиною того, что разговор шел без малейшего стеснения; можно было говорить, не обращая внимания на слова собеседника, и собеседник мог не слушать того, что ему говорят. В этой свободе суждений и заключалось для уездной интеллигенции удовольствие вечерами посещать Федора Петровича.

Но, к сожалению, слабые силы рассказчика об этих вечерах вообще, и о том из них, о котором идет речь,— решительно не дают возможности более или менее удобопонятно передать читателям все разнообразие этих оживленных разговоров. В данном случае рассказчик не знал бы даже, как и начать свой рассказ, если бы сам Федор Петрович не нашел нужным произнести и своего слова о важном предмете разговора и тем на некоторое время значительно убавил царивший в кабинете шум и говор.

— Вы говорите — народ!..— сказал он не спеша и «глубокомысленно». И, сказав это, по обыкновению замолк, потер свой нос шелковым платком, положил платок в задний карман сюртука и, подумав тоже весьма глубокомысленно, продолжал:

— Или также утверждают — просвещение!

После этого он кашлянул, понюхал табаку, хлопнул крышкой табакерки и решительно произнес:

— А между тем... А в то же самое время...

И, оглядев всю публику, сел в кресло и уже замолк окончательно, хотя лицо его и выражало крайнее волнение. Замолкла и вся компания, так как ей было весьма хорошо известно, что Федор Петрович каждый раз вынужден был делать то же самое, как только пожелает что-нибудь высказать. Всякий раз он начинает речь как бы обобщением, но на словах «а между тем» или «а в то же самое время» — всегда замолкает и не обобщит ничего. Все это знали, но знали также и способ, которым надобно было разрешать затруднительное положение Федора Петровича. Все знали, что добрейший Федор Петрович, много живший на свете, много видевший на своем веку, благодаря служебным перемещениям, всякого рода людей, переживший множество всяких порядков и веяний, будучи самым приятным собеседником и самым неистощимым рассказчиком, вероятно потому замолкал всякий раз, когда ему приходилось делать из своих наблюдений вывод, что в жизни Федора Петровича, как и вообще в нашей жизни, умозаключения и выводы никогда ей самой не приличествуют, но всегда являются в жизнь большею частию в запечатанных конвертах и большею частию не имеют с фактами жизни ничего общего.

Все добрые приятели Федора Петровича, зная результаты его житейского опыта и видя его затруднительное положение, всякий раз, когда ему приходилось делать какие бы то ни было обобщения, старались вывести его на ту дорогу разговора, где он мог чувствовать себя без малейшего стеснения.

— Да ты вот что, Федор Петрович,— говорил обыкновенно в такую минуту кто-нибудь из слушателей,— ты расскажи просто, в чем дело, все и будет ясно!

— И отлично! — говорил на это Федор Петрович.

И затем уже следовал простой рассказ.

Так было и в описываемый вечер. Выведенный добрым приятелем на торную дорогу свободной речи, Федор Петрович еще раз понюхал табаку и сказал:

— Действительно, лучше я расскажу просто так, как было.

И затем, покряхтев немного, стал рассказывать.

II

— Сестра моя с давних пор живет замужем в одном уездном городке под Москвой. Иногда, намучившись на службе, я ездил к ней отдохнуть, отдышаться, побыть в теплой семейной среде после холостой, одинокой квартиры. В самом деле, иногда холодно, очень холодно холостому человеку. Так вот я ездил отогреться, оттаять. А начнет забирать скука — марш назад, и так опять на несколько лет.

«Вот таким-то родом заехал я к ней лет двадцать тому назад, в самые любопытные времена: тут и освобождение, и земство, и новый суд — словом, кипучее время. Пожил я у сестры, поел, попил, позевал вволю, наслушался всякой всячины,— наконец надо и назад ехать. Настал день отъезда; привели мне из пригородной слободки извозчика. Вышел я с ним поговорить и тут же сразу чрезвычайно им заинтересовался; сразу мне мелькнуло: «талант!». Мальчишка лет пятнадцати, а красив, шельмец, боек, смел, даже дерзок. Стал я с ним торговаться. И что же? — на каждом слове дерзость, нахрап, без малейшей церемонии. И помину нет, чтобы снять шапку и дожидаться, пока скажешь: «надень». Словом, ни тени рабского или униженного! Это-то меня и обрадовало и заинтересовало в нем, дерзость-то эта. «Вот они новые-то времена!» И какой прелестный, смелый крестьянский юноша! Не стал я поэтому ни в чем ему поперечить и цену дал, какую он пожелал, даже когда он попросил тотчас же прибавить, прибавил ему без слова; просто победил он меня вообще с художественной стороны. Типичная, яркая фигурка, смелая юношеская душа,— и в ком? — в мужичонке! Люблю я это! Это наше, чисто русское, родное!»

Федор Петрович с удовольствием выпил стакан кахетинского (причем компания, конечно, последовала его примеру) и продолжал:

— Ну, вы знаете, что в былые времена отъезд от родных был делом далеко не простым. Теперь вот машина ходит по часам,— не попал к поезду, сиди лишние сутки. А тогда можно было заставить ямщика прождать целый день, давши, конечно, ему на водку. Вот в таком роде пошли было и мои проводы на этот раз. Сели закусить часов в десять, а в двенадцать стало уж казаться, что дай бог только к четырем часам переговорить обо

всем, о чем нахлынуло в голову. Перед отъездом всегда так бывает. Однако же вышло не так. Перевалило немного за двенадцать, слышу — прислуга говорит: «Извозчик спрашивает!» — «Пусть, отвечаю конечно, подождет!» Прошло еще полчасика, прислуга опять является, говорит: «Извозчик бранится, сладу нет!» Иду к нему, и опять меня в нем восхищает эта дерзновенность.

«— Что же ты,— говорю,— братец, бунтуешь тут, не даешь мне как следует проститься?

«И что же? Даже этих-то слов не успел я проговорить, как мальчонка, не слушая меня, сам начал читать мне нравоучение, да каким голосом, да с какими жестами!

«— Вам, господам,— говорит,— время завсегда дорого, а нашему брату, мужику, нет? Извольте поторапливаться или пожалуйте деньги, и я уеду. Без вторых денег ждать не буду, а эти взыщу!

«— Ну, можете себе представить, что это было за великолепие! Ну, положительно очаровал меня мальчишка. Обругал я его, конечно, также и с своей стороны, но что прикажете делать? Покорился ему! Пришлось дать прибавку, и все-таки нельзя было не потарапливаться. И, наконец, кой-как я собрался, простился и поехал».

Федор Петрович не спеша выпил полстакана кахетинского (конечно, и компания) и сказал:

— Великолепный мальчишка!

Затем допил другую половину стакана и продолжал:

— Мальчишка стал интересовать меня буквально каждую минуту: сидит на козлах мрачный, угрюмый и, очевидно, о чем-то крепко думает. Заинтересовало меня — почему он все оглядывается по сторонам: не то боится, не то желает встретить кого-то?

«— Что ты вертишься? — говорю.— Что ты оглядываешься?

«— У всякого свои дела есть! — отвечает, и это таким тоном, как будто хотел сказать: «отстань!», даже просто: «убирайся!» И едва он так грубо оборвал меня дерзким словом, гляжу, он, как будто в испуге, круто и сразу свернул с большой дороги и погнал лошадей по каким-то переулкам и закоулкам того подгородного села, откуда был взят сам, в чем не было ни малейшей надобности.

«— Зачем ты с дороги свернул? — говорю.— Чем тебе там не дорога? Ведь все-таки на ту же большую дорогу выедешь?

«— Доставить к месту — мы тебя доставим,— отвечает,— а разговоров твоих нам не требуется. Хоть бы я тебя по крышам вез, так и то тебе не о чем болтать попусту!

«Наконец это уж и меня затронуло несколько.

«— Ах ты,— говорю,— каналья этакая? Какое же ты имеешь право так мне отвечать?

«— А у тебя,— говорит,— какие такие есть права?

«Но не успел я еще как должно осердиться, потому что действительно никаких, собственно говоря, правов-то нет,— как мальчишка, гнавший лошадей что есть мочи, вдруг поднялся в телеге и, махая вожжами, обратился ко мне, весь бледный, взволнованный и чем-то чрезвычайно пораженный.

«— Не давай ему! Не давай! — кричал он, обращаясь ко мне.— Ишь, притаился, старый хрен!.. догонять хочет. Не давай, барин! А то отыму из рук! Не догонит!..

«— Кому не давать? Что ты болтаешь? — также закричал я мальчишке.

«— Отцу! Родителю не давай! Ишь насторожился! Притаился, чтобы броситься догонять! Не давай!

«От плетня отделился полупьяный и мозглявый человек, и когда мы поровнялись с ним, он ухватился за задок телеги обеими руками так, что уже я закричал, чтоб мальчишка не смел гнать, даже схватил его за шиворот и осадил. Но лошади все-таки бежали. А мозглявый человек, шлепая сзади телеги и задыхаясь, еле хрипел:

«— Руб... хошь... черт!

«— Не давай, барин! — неистово кричал мальчишка, выбиваясь из моих рук и не останавливая лошадей.— Пропьет! Матери отдай! Она будет тут сейчас!..

«— Прокляну! Егорка! Прокляну! — едва дыша, хрипел старик, уже цепляясь за задок телеги.

«— Стой! — сказал я.— Стой наконец! Я свои ему дам. Что это такое ты делаешь с отцом?

«И, не доверяя мальчишке, сам схватился за вожжи и остановил телегу.

«— Кровопивец, змей! — задыхаясь, с величайшим раздражением хрипел отец, пока я рылся в кармане, доставая кошелек.— Отца родного, мошенник, не жалеешь!

«— Ты-то нас не жалеешь, а тебя-то нам за что же

жалеть? — не меньше раздраженный, чем отец, криком отвечал ему мальчишка.

«— Разбойник! — хрипел отец, потрясая кулаком.— Кровопивец! Я тебя... постой!.. Поговоришь ты у меня... Попадись только!

«Рублевая бумажка, которую я протянул старику, заставила его прекратить эту брань и обратиться с благодарностью ко мне, но едва он успел снять шапку, как мальчишка уже стегнул лошадей, и мы помчались опять.

«Старик, оставшись позади нас, продолжал грозить кулаком и что-то кричал, но нам уже не было ничего слышно.

«В то кипучее время, кстати сказать, во всех сословиях было ужасно много таких, обреченных на погибель отцов: еще недавно было у них всего много, благодаря плотно сложившимся неправосудным порядкам, в которых одна нечистая рука мыла другую нечистую руку. Новые порядки разрушили эти гнезда, разросшиеся до огромных размеров благодаря беззаконию, глубоко пустившему корни в глубине русского общества. Беззаконная жизнь во всех отношениях, жизнь грубая, жирная, неряшливая, нецеремонная,— а главное, непременно «дармоедная»,— вся она от одного дуновения той неотразимой правды, сознание которой пришло вместе с освобождением крестьян, разложилась, и еще недавно торжествующий, авторитетный, властный, крепко державшийся на ногах человек превратился в совершенное ничтожество, в нищего и подсудимого одновременно. («Эге! Федор Петрович! как ты ловко словоизвержению-то обучился... Сущий адвокат!») Именно к числу таких-то обреченных на погибель людей и принадлежал отец мальчика, когда-то богатый дворник, монополист извоза и всяких казенных субсидий по этому делу в целом уезде. Рухнули его неправедные доходы, рухнула и неправедная жизнь с беспрерывным обжорным праздником. И вот он «допивает» остатки своего благосостояния, отнимая у детей и семьи, уже знающей, что ей надобно теперь полагаться только на свой неусыпный труд, по возможности большую часть заработка на пропой. По лицу его, кое-где носившему следы царапин и синяков, видно было, что старик роспился, ослаб, размяк и вообще держится на свете только выпивкой.

«— Как же это ты с отцом-то так жестоко поступаешь? — сказал я мальчишке с укоризной.— А?

«— Не безобразничай!

«— Но ведь все-таки,— говорю,— он ведь отец тебе?

«— Отец,— а безобразничать не дозволим. Мы и так все, вся семья из-за него почитай что раздеты, разуты, а гоняем день и ночь, скоро скотина без ног останется. Как же он может наши трудовые деньги пропивать? Вот и получи!

«— Кто это ему глаз-то разбил?

«— Да он сам разбил-то! Мы только, всем семейством, связали его...

«— Это отца-то? Всей семьей?

«— А чего ж? Почитай бога! Держи себя аккуратно!

«— Ну,— говорю,— брат, кажется, что вы поступаете вполне бессовестно! Как же так не уладить с отцом как-нибудь по-другому? Что же это такое? Ведь он отец!

«И, признаюсь, я неожиданно впал в нравоучительный тон и стал развивать мальчишке самые гуманные теории. Говорили и о Христе, и о терпении, и о преклонной старости, которую надобно чтить, уважать, к которой надобно снисходить. Говорил, что вообще необходимо любить ближнего своего, яко сам себя... И так далее. Он слушал меня чрезвычайно внимательно, ехал тихо, и вдруг я услыхал, что он плачет, просто «ревнем ревет», как говорят о таких слезах.

«— Что это ты? — спрашиваю.— Что с тобой?

«— Ты думаешь, мне сладко этак-то делать? Нешто бы я посмел, ежели бы всех не жалел?.. Погляди-кось, какое семейство-то, всем пить-есть надо... Маменька и совсем, того гляди, исчахнет; а он сам ее еще бьет.

«И рыдает-рыдает.

«— У меня вся душа изныла от тоски... Жаль мне и братьев и сестер... А иной раз совсем осатанеешь... Знаю я грех-то мой!

«Он был в таком отчаянии, что я решительно растерялся и не знал, что сказать ему в утешение.

«— Отдай деньги-то маменьке! — всхлипывая, прошептал он и остановил лошадей.

«Около разоренного большого двора с развалившимися воротами стояла сгорбленная старушка, в глазах которой можно было все-таки видеть, что и она на своем веку попила-поела всласть! Отдав ей деньги («Уж все, батюшка, полностию, все!»), мы поехали своей дорогой, и мальчишка продолжал тосковать.

«Не думайте, что я какой-нибудь особенный любитель

непочтения к родителям,— но мальчишка был для меня крайне симпатичен: как хотите, а какой-то голоногий мальчишка, отстаивающий какие-то права, обороняющий мать, как обиженную и терпящую неправду, и во имя справедливости не сомневающийся идти против отца... Все это весьма привлекательно! Очевидно, и сердце есть в мальчонке, и энергия, и чувство справедливости, и просто чувство и впечатлительность — плачет ведь! и сознает — «нехорошо, несправедливо, а нельзя!»

«— Умеешь грамоте-то?

«— Ничего не умею... Один острожный сидел за подделку чего-то в остроге; когда выпустили, пожил у нас. Ну, поучил меня по словечку... Я было и понимать стал, да острожный-то ушел, я и стал забывать. Хороший человек был острожный-то! добрый!

«— А хочешь учиться-то?

«— Я страсть какой охотник до ученья!

«— Так чего же ты в какую-нибудь школу не ходишь?

«— Да нешто при нашем деле можно? Теперь вот доставлю вас на станцию,— лошадей надо покормить, попоить. Приедем по ночи. Потом в оборотку конец сделал, а домой приехал — опять заказ готов,— опять гнать. Да ежели бы и свободное время вышло, так и то не на ученье оно,— какая жизнь-то у нас идет! Глаза бы не глядели. Только что маменьку жалко покинуть...

«Грустно, ужасно грустно стало мне за мальчишку. Сколько на Руси погибает таких талантливых головок, думал я. Кто поможет им? Не буду ли и я святотатцем, если попущу пропасть и сгинуть этому хорошему сердцу и хоть юному, но, быть может, большому, потому что искреннему, уму?

«Я сказал ему:

«— Знаешь, где живет моя сестра? откуда мы ехали?

«— Как не знать.

«— Ну, так через месяц заходи к ней,— я пришлю тебе книг, ты учись. Денег она тебе тоже даст немного,— учись, если возможно,— а потом как-нибудь справимся...

«— Да, кабы родитель помер. Так у нас бы был порядок... А то нешто можно!..

«— Ну, уж смерти родителя ты не дожидайся... Это будет, как угодно богу!

«— Само собой... Ишь он пьет-пьет, все не напьется..

«— Ну, уж это делать нечего. Надо терпеть. Ты, вместо того чтобы вот смерти ждать родителя да синяки ему ставить, ушел бы на чердак или куда-нибудь... и учись...

«Ну, словом, о просвещении... в самых по возможности очаровывающих этаких чертах. В заключение обещал давать три целковых в месяц.

«Задумался мальчишка... Долго думал, потом весело тряхнул волосами и весело произнес:

«— Кабы грамоте-то научиться, пуще всего в писаря, ежели... Выгодное дело...

«Признаюсь, покоробило меня это слово. И уже тогда я подумал не в хорошую сторону о просвещении-то вообще. Не утерпел и сказал ему:

«— Ну, уж этого я, друг любезный, не ожидал от тебя... Ты знаешь, отчего писарь-то богат?

«— Известно знаю,— доход.

«— А справедливо это простой бедный народ-то обманывать? А ты еще о справедливости-то толковал!

«И тут я опять — и в этом направлении стал внушать ему и сказал, что просвещение нужно вовсе не для дохода, а для того, чтобы делать ближним добро. Словом, поддерживал в нем уважение к книге, потому что не знал, что придумать для малого в практическом отношении. Думал я было перетащить его в Москву, в ремесленное училище, да не знал еще, будут ли средства. Все-таки, приехав на станцию, я вновь повторил ему, что книги ему пришлю и по три рубля давать буду; адрес его записал и втайне решился сделать для него все, что только возможно».

Едва Федор Петрович договорил последнее слово, как лицо его, в первый раз за весь вечер, омрачилось какою-то тяжкой думой. Он как бы растерялся, но, помедля и пособразив, вдруг как-то подбодрился и со взглядом, которого тоже никто из знакомых Федора Петровича прежде не замечал, потому что никогда никто не видывал в его глазах той черты хитрости, которая промелькнула именно только в этот вечер, довольно бодро сказал:

— Вот в этом-то и заключается самая суть!

Слушатели почувствовали, что Федор Петрович опять стремится запутаться в обобщении, так как он начал уже пускать в ход все те жесты и приспособления, к которым прибегал в минуту невозможности разобраться с своими мыслями.

— Именно,— на эту-то суть и следует обратить внимание. Утверждают — «просвещение»? Но вот мы видим талантливого мальчика, крестьянина, у которого есть и ум, и сердце, и чувствительность, и прямота, и бойкость — все дары природы,— но вместе с тем заметили ли вы, как он, когда шла речь о грамоте, вдруг произнес: «в писаря бы»... Следовательно, в мальчонке, наряду с его прекрасными качествами, были и дурные задатки... Это уж среда! И таким образом будет легко понять, почему талантливый мальчик в настоящее время превратился в совершеннейшего кулака и первейшего местного воротилу!

— И это благодаря твоему просвещенному содействию?..

Федор Петрович, несомненно, был испуган этим вопросом до последней степени, но хитрость, уж однажды мелькнувшая в его глазах, на этот раз с полною ясностию обнаружилась не только в глазах, но и во всем его существе. Он так искусно притворился, будто не слыхал испугавшего его вопроса, и с явным желанием зажать рот вопрошателей немедленно же приступил к изображению талантливого мальчика в его настоящем виде:

— Теперь его все знают и в городе и в деревнях. Исправник говорит: «Вот истинно народный ум!» Протопоп говорит: «Истинное чадо церкви!» Хвалят почмейстер и даже воинский начальник. Таким образом, когда я, года два назад, опять заехал к сестре и пожелал его видеть, так мне показал дорогу к нему первый встречный.

«Егор Иванович предстал передо мной в новенькой русской чуйке, в скрипучих сапогах, посреди нового двухэтажного постоялого двора, нижний этаж которого занимали новенькие лавки. Взгляд его был так же быстр, но уже холоден, хотя в улыбке было еще что-то мягкое. Он говорил не так, как говорит грубый кулак-хозяин, любящий выйти на крыльцо и орать на весь двор, утешаясь тем, что «все мне подвержено»,— а вежливо, прилично, но с непоколебимой уверенностию. Все у него в доме ходило по струне. Это я заметил с одного взгляда.

«Конечно, он не узнал меня, но когда я припомнил ему подробности нашей встречи, он искренно обрадовался... Повторяю — «искренно», так же точно искренно, как и все, что потом он говорил.

«Первым долгом я расспросил о причинах его превращения. Егор Иваныч с благоговейным выражением лица

рассказал мне следующее. Перескажу в коротких словах.

«— Сами знаете, какой я был? Теперь я считаю, что был я, прямо, зверь! Отца не щадил! Это вы тогда верно говорили! Опосле того перенес свое свирепство и на общество. Например, толкуют в волостной, чтобы мост там-то мостить... По глупости моей мне и представляется, что делать этого незачем, мост не наш, мы по нем не ездим,— следовательно, и мостить его не надо... Ору!.. Зеваю, смущаю людей,— и те начинают петь заодно со мной!.. Или идет речь, чтоб на губернскую больницу вносить,— опять поднимаю бунтовство: «мы, мол, там не лежим! нам нужна больница здесь, в наших местах!..» или в эвтом смысле. Все мне представлялось, что со мной в нашей деревне неправильно поступают, а того, свинья этакая (так Егор Иваныч себя обозвал), не знал, что деревня есть ничтожная *единица* супротив...

«Тут он кашлянул... «Ничтожная единица! — подумал я.— Это его кто-то научил!»

«Кашлянул Егор Иваныч и так же искренно проговорил:

«— Но, должно быть, перст господень руководит нами... И указует... Считаю так в том смысле, что сделался из бунтовщика человеком общеполезным, следовательно, для пользы прочих... полезных сочленов...

«Очевидно, его кто-то научил всему этому!» — с каждой минутой убеждался я все более и более и продолжал слушать Егора со вниманием.

«— Домотавшись таким манером до тюрьмы,— следовательно, по случаю сопротивления властям (это и было дело моих рук), встретил я там почтеннейшего и многоуважаемого господина Кузнецова. Видя во мне таланты, господин Кузнецов, по выходе моем из тюремного заключения, взял меня в кучера, и здесь, частию от собственного внимания к его разговорам, частию чрез его наставления, я много и скоро все явственно понял... Просвещать «невежду» тем и полезно, что просвещение смиряет человека в его буйном невежестве... На меня вон кричат: «разбойник»,— но за что? За то вот, что, состоя членом ссудного товарищества, отказываю несостоятельным; но кто понимает существо,— тот будет знать, что банковые операции связаны с общим порядком всей экономии отечества... И ежели раздавать деньги, принадлежащие начальству, без отдачи,— то через это поколеблется всякое устроение, и все пойдет к дефициту!

«Чем ты отдашь?» спрашиваю. «Мне отдать нечем».— «Ну, и ступай с богом». Не так ли?

«— Так! — сказал я машинально.

«— Говорят — разбойник! Ежели они бы понимали систему, тогда бы они поняли и должны бы знать, что...

«Тут Егор Иваныч почему-то приостановился. Я помог ему выйти из затруднения и сказал:

«— Если бы знали, что деньги без отдачи не даются.

«— Да-с! Верно!

«— Ну,— сказал я,— будьте здоровы, Егор Иванович, слава богу, что ваши дела идут хорошо.

«— Благодарим покорно!

«Так мы расстались, и больше я его не видал.

«Так вот,— проговорил Федор Петрович, с величайшей торопливостью собирая пустые бутылки и на минуту останавливаясь с ними в дверях передней, откуда он постоянно извлекал новые.— Так вот что такое просвещение!.. Просвещение, просвещение... А между тем...»

И он исчез в переднюю.

Но хотя он и возвратился оттуда с двойным, против взятых пустых, количеством новых бутылок,— ему, однако ж, не удалось вторично отвлечь этими бутылками внимание слушателей от вопроса о сущности такого переворота в миросозерцании одного и того же человеческого существа. Он не успел еще расставить всех бутылок, как его стали донимать самыми, по-видимому, жгучими для него вопросами:

— Да ты посылал ли ему книги-то?

— Каким образом могло случиться, что твои книги дали ему такое направление?

— Вот уж именно «чудеса в решете»!

Федор Петрович и при этих настойчивых вопросах пытался было как-нибудь отвильнуть от прямого ответа,— но, наконец, видимо изнемог. Он глубоко вздохнул, беспомощно опустил голову и, с выражением той же беспомощности расставив руки, произнес почти шепотом:

— Шер-ше ля-фам!

Это совершенно неожиданное вторжение в разговор об известном предмете ни в чем ему не соответствующего сообщения — прежде всего ошеломило всех собеседников; затем, когда они начали мало-помалу приходить в себя, то разговор их уже не подлежал пониманию не только постороннего наблюдателя, но и их самих, совершенно сбитых с толку.

— Так вот в чем дело-то!.. Стало быть, ты ничего не исполнил? Ни книжек, ни...

— Какие тут книжки! — беспомощно хватаясь за голову, стонал Федор Петрович.— Какой тут народ!.. «Женись! Женись!» Двадцать раз я видел у нее в руках револьвер!.. Какие тут заботы о мальчишке, когда каждую минуту грозила смерть?.. И как это удивительно случилось! Встретился я со старым приятелем на одной станции... Облобызались... Не раздеваясь, пили на радостях два дня... Потом очутился я в каких-то дебрях... Помещичий дом... очаровательная особа... пение... признание... И затем... Что я перенес! Что я вытерпел!..

Отчаяние Федора Петровича, в которое он сумел внести частицу комического элемента,— решительно возобладало над упреками Федору Петровичу за его негуманный поступок с мальчиком и выразилось в шумных спорах о женщинах вообще. Женолюбцы и женоненавистники окончательно завладели разговором, и народ и просвещение — все это исчезло в шуме и гаме общего галдения о женщинах.— Федор Петрович хотя и не переставал взывать: «Что я испытал! Что я пережил!» — но уж совершенно ясно сознавал, что он выскользнул из затруднительного положения, в которое попал с своим рассказом о народных дарованиях, и твердо знал по личному опыту, что теперь о мальчике не будет и помину...

Но он ошибся. Два молодых человека, также из служащих (по межевой части), проскучав весь вечер и постоянно чувствуя себя совершенно посторонними среди гостей Федора Петровича,— возвращались домой в глубоком раздумье. Дело в том, что даже среди такой уездной интеллигенции (полагающейся быть таковою по штату), какая собиралась к Федору Петровичу с единственною целью поболтать без всякого стеснения,— всякий более или менее пожилой человек почитал почему-то своим правом относиться к новому, молодому поколению если не с явным сожалением об его участи, то уж непременно с прискорбием и снисхождением. Так повелось на Руси с давних пор: в старину живали деды во всех отношениях лучше своих внучат.— Не тот был размах. Чего стоит *горсть*, одна только *горсть* таких людей. Указать на эту *горсть* всегда почиталось людьми отживающими свой век весьма достаточным для того, чтобы обаяние горсти отборных людей перенести и на самих себя и, вследствие этого, ощущать собственное свое до-

стоинство и преимущество пред прискорбным положением нового, молодого поколения. Не раз это молодое поколение слышало о себе и о своей жизни прискорбные сожаления и нерадостные сомнения, выражаемые людьми якобы широкого размаха, а так как и сама молодость всегда исполнена сомнениями о самой себе, о своем деле, о целях своей жизни, то неудивительно, что двое молодых людей, о которых идет речь, попытались поближе ознакомиться с людьми широкого размаха,— вот почему они и решились посетить один из вечеров Федора Петровича... Сами они, при узкой служебной специальности,— летом межевать, а зимой чертить планы,— глубоко скорбели, что им почти нет возможности быть полезными народу. То, что они каждое воскресенье ходили заниматься в воскресную школу, на одну большую фабрику, отстоявшую верст на пять от города, а также и то, что при межевании они всегда старались соблюсти народный интерес, не продавали свою цепь в пользу тех, кому нужно крестьянское безземелье,— все это они считали ничтожным сравнительно с тем, что они хотели бы сделать. Не считали они за что-нибудь существенное и то, что отдавали последние средства на устройство народной библиотеки, где бы можно было читать всякому грамотному человеку за пять копеек в месяц. Все это было для них мало и мелко сравнительно с широким «размахом», о котором они слышали от людей иного поколения. Вот эти-то молодые люди, побывав у Федора Петровича и ознакомившись с людьми высшего полета,— они-то и не могли оставить рассказа о талантливом крестьянском мальчике «без помину», как полагал Федор Петрович.

— Так-то вот на Руси и гибнет народ-то!

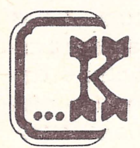
— И дарования есть и таланты — светлые головки — все есть! да за малым дело стало — ничего существенного не делать, а только скорбеть о том, что мы-то мало делаем...

— Не пойду больше! — решил один из них и даже плюнул, очевидно испытывая на душе неприятное ощущение от болтовни доживающих свой век пустомелей.

«ВЫПРЯМИЛА»

(Отрывок из записок Тяпушкина)

I



ажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова: «Венера Милосская *несомненнее* принципов восемьдесят девятого года». Что же значит это загадочное слово *несомненнее*? Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли, наконец, что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы — я, Тяпушкин, принципы и Венера — все мы одинаково *несомненны,* то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то, скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера

Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим,— человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д.,— я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съесть» чуть не каждый день,— именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой *линии,* которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чуять Венера Милосская. А то, изволите видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, *только* мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините!..

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии,— минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье,— все, что я видел за пределами этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказы-

вался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

— Поезд стоит две минуты! — второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с тёмного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сыновья, братья, дядья — словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопиявшие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда... Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.

Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни,— впечатление, привезенное мною из города,— слившись с этой «сущей правдой» деревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-

то беспредельного несчастия, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастия вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» — подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастие» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда — и в сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда — что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастия как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

— Что *это* такое? Откуда *это* счастие? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее непривет-

ливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в *этом* роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к *тому* впечатлению, от которго я вздрогнул и проснулся,— странное дело! — была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я однажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так «жила», *а не работала,* жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «как хорошо!»

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль о *не своем горе,* которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну,* не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла,— что при одном взгляде на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым,* что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений; но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам

и переулкам, и я почувствовал, наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что... вот уж близко... где-то здесь... еще немножко... Что это?

Хотите — верьте, хотите — нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало — в Лувре, в той самой комнате, где стоит она, Венера Милосская... Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть *то,* от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растет», как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого;* ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

II

...Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты, хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять

по Парижу. Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое «ограниченное» миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. «Все-таки они посовестятся *его*!» — вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время — куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: «А у нас, в России...» А за этой фразой следовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек. Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды; за решеткой Вандомской колонны еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зеркальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль — маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти — массами пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини «Правосудие» неведомо куда отскочил

нос, да и у «Справедливости» не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого — мрачные развалины Тюльери с высовывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж «тру-ля-ля» и действовал уже по-прежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не приметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками «ррран...», раздававшимися в саторийском лагере и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях: набегаемся за день, наглядимся, наедимся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедимся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу — и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное, и даже бесконечно разнообразное.

Решительно не могу припомнить, каким образом удалось нам, наконец, уловить одну черту, показавшуюся нам весьма существенною, отличающую «нас» от «них», и мы крепко за нее ухватились, как за путеводную нить.

Подал нам, например, слуга завтрак в загородном ресторанчике, а сам тут же, неподалеку от нас, сел читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминем по окончании завтрака рассуждать об этом обстоятельстве таким образом:

— Да, личность-то человеческая здесь цела и сохранна! Вот он — лакей, слуга, тарелки подает, служит из-за куска хлеба, но он — человек! Это не то что наш лакей, который даже бесплатно будет перед вами холопствовать; мало того, что будет тарелки подавать, задохнувшись от благоговения, что «едят хорошие господа», но и лицо-то сделает холопское, и будет не ходить, а бросаться с тарелками, вспотеет весь от умиления. А это далеко не то! Он человек, его все интересует; он берет себе пять процентов с истраченного вами франка — и конец. Нет, это не лакей!

Кокотки, бульварные дамы также оказались все до единой не только кокотками, но и человеками.

— Это не то что у нас по Невскому несется в участок на извозчике какая-нибудь трагедия с подбитым глазом или совершенно спокойно, как мужик, во все горло выкрикивающий «сбитень хорош!», приглашает среди белого дня пойти с ней погулять, полагая, что это гулянье нечто вроде должности — недаром начальство выдало ей документ. Нет, тут не то! Тут хоть она и занимается «этими делами», но в ней жив человек; она и этими делами займется и книжку почитает. Что ж делать? Это уж такой строй, ничего не поделаешь! Я как-то совершенно случайно (Иван Иванович сказал эти слова как-то в сторону, да и Николай Николаевич также при этих словах как будто бы покосился куда-то вниз и вбок) разговорился вот тут на бульваре с одной...— не помню уж, мороженое, что ли, ел — так ведь это, батюшка, ум! Ведь это живая, блестящая беседа! «Этими делами!» Эти дела — сами собой, а человек-то сознает свое человеческое достоинство! Вот в чем штука-то!

Попали мы в версальские военные суды, где в то время «разделывались с коммунарами». Разделывались с ними без всякого милосердия. В полтора часа разбиралось по пятнадцати дел, причем, что бы ни лепетал в свое оправдание подсудимый, большею частью несчастнейшего вида портной, сапожник, подмастерье, господа судьи, обнажив свои головы перед великими словами: «au nom du peuple français», упекали его в Кайену, Нумею... Камер для этих судов было настряпано пропасть; простыми досками были разгорожены огромные казарменные комнаты на четыре, на шесть клетушек, и в каждой клетушке упекали людей.

— Так ведь что ж, батюшка? Тут ведь борьба! Два порядка, два миросозерцания стоят друг против друга. Какие же тут послабления, снисхождения?.. Чья возьмет! Это не то что у нас — упекут с Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потом сами же упекатели и собирают ей на дорогу. И несправедливо и глупо. Нет, здесь открыто, ясно, просто — кто кого! Здесь люди, батюшка, люди, каждый шаг свой на земле отстаивающие с борьбой и кровью... Тут нет гуманной болтовни, от которой тошнит, как у нас, и которая вовсе не обеспечивает нас от того, что гуманно болтающий человек не упечет вас к черту на рога по личной злобе

ради мелкой зависти... Нет! здесь люди — «человеки», живут и делают без фальши, а только по-человечески... Ну а уж что делать, если человек вообще плох!

Заглянули в парламент, помещавшийся тогда там же, в Версали. И здесь все оказалось вполне по-человечески.

— Это, батюшка, не то что у нас какой-нибудь чинодрал или чиноперов, безжизненнейшая, мертвая душа, строчит какие-то бессмысленнейшие бумаги и не задумается расказнить всякого, кто усомнится в живом значении исписанного бумажного листа. У нас бумага, чернила, сушь, а жизнь — что твой свиной хлев. Здесь совсем не то; здесь везде жизнь — и на улице, и в парламенте. Какова есть, такой ее и получите. Вот, посмотрите-ка направо-то: поел, позавтракал — брюхо-то тянет на покой. А Гамбетта, поглядите-ка, по животу-то себе гладит, тоже перекусил парнишка, должно быть, плотно! Что ж? Ничего!.. Три часа — брюхо давно уж разговаривает... Отчего ж не перекусить? А галдят-то! Да все они немножечко подгуляли за завтраком... коньячишко еще не прошел... Право, ничего! Не беспокойтесь! То, что нужно для живого дела, сделают! Живое дело не велико, просто! Это у нас только «не пимши, не емши» убиваются по целым годам, стулья кожаные просиживают до дыр, издыхают, что называется, за строченьем бумаг, а все толку нет! Нет, здесь жизнь, здесь люди, человеки; здесь, батюшка, все по-человечески! без прикрас, без фраз!

А когда мы на денек, на два попали в Лондон, так уж тут «правда» осадила нас со всех сторон, на каждом шагу, во всех видах и во всех смыслах.

В каком-то «настоящем» английском ресторане, за пять шиллингов, вместо разнообразного пятифранкового парижского обеда нам *три раза* кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съесть по хорошему куску мяса какого-то дикого животного, которое в жареном виде разъезжало в каком-то экипаже на колесах по ресторану (где все посетители хранили мертвое молчание), останавливаясь там, где заметна была пустая тарелка.

— Так, именно так! — сказал восторженно Иван Иванович, когда мы действительно наелись до отвала этим блюдом и вышли на улицу.— Раз,— продолжал он,— жизнь правдива, без фальши, она должна быть правдива

во всем. Человек бегает, трудится; работает настоящим образом от зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачем надувать ордеврами и разносолами. Есть, так уж есть как следует, и вот вам за пять шиллингов одно блюдо! Это великолепно!

Английская «правда» оказывалась гораздо уж выше французской, в чем мы скоро убедились самым неотразимым фактом. Надоумил нас кто-то (кажется г-н Бедекер) съездить в Гринвич и съесть там знаменитый парламентский обед — «маленькую рыбку». Обед этот ни по своей цене, ни по своей «знаменитости», очевидно, не мог быть тем деловым обедом делового человека, который так нас восхитил своей «правдой». Это уж должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивление, когда и этот знаменитый обед еще раз убедил нас в том, что там, где в основании жизни лежит «правда», там для лжи, для притворства, для выдумки нет места даже в самых мельчайших проявлениях жизненного обихода. Обед состоял из множества рыбных блюд; маленькая рыбка, гужон, пескарь, фигурировала на первом плане, и блюда с маленькой рыбкой только изредка перемежались блюдом лососины или какой-нибудь другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, никакая другая из числа рыб, появлявшихся за этим обедом, не была подана в каком-нибудь таком «притворном» и неправдивом виде, чтобы, съев ее, можно было по совести сказать: «как вкусно!» Лососина пахла лососиной, лучше сказать, тем рыбным запахом, которым пахнет бумага или рука, прикоснувшаяся к рыбе. Правдивая английская фантазия не могла сфальшивить так, как сфальшивила бы французская. Точно таким же натуральным, правдиво-рыбьим запахом отдавали и все прочие посторонние кусочки посторонних рыб, появлявшиеся за обедом.

Что же касается героя обеда, «пескаря», то безукоризненно правдивая английская мысль и тут не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно на что у нее хватило смелости, так это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличие от другого. Это отличие и было сделано помощью перца: то рыбка является обжаренною в простом перце, то в кайенском, то в легкой пропорции, то посильнее, то еще полегче или еще позабористее, причем рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбий

запах и непременно пахла черт знает чем. После десятка таких тонких блюд, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки — словом, все, что на вас и около вас, стало пахнуть рыбой и речной водой, появился последний, заключительный экземпляр маленькой рыбки, который, как оказалось впоследствии, достойно увенчал здание правдивого обеда. Эта последняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой белой тарелке без всяких украшений и аксессуаров, как-то одиноко и загадочно: ее маленькое тело было искривлено как бы предсмертной конвульсией, да и одиночество ее на белой тарелке было также несколько таинственно; всматриваясь в этот венец здания, я, однако, не нашел ничего особенно таинственного, за исключением каких-то крошечных, красненьких пылинок, которые усеивали все еще тщедушное тело. Но когда, взяв ее за хвост, все мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, беспечно понесли его куда следовало, то рты наши уж не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась в горло, как раскаленная игла, жгла рот, гортань и, после страшных усилий проскользнув далее, обожгла все горло и, как миноноска, зашмыгала в желудке, пытаясь взорвать его в двадцати местах.

Минуты две мы отпивались от этого «кушанья» сельтерской, содовой водой и вином и, только очувствовавшись, наконец могли издавать членораздельные звуки.

— Да! — сказал Иван Иванович довольно загадочно и вновь припал к содовой воде.

— Вот черт-то! — сказал Николай Николаевич, который почему-то начал чихать и, отчихавшись, прибавил: — Это уж не перец... а это что-то... бенгальский огонь какой-то... дьявол его возьми!

— Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? — сказал, наконец, Иван Иванович.— Ведь из этакого обеда чего бы только ни натворил француз? Ведь это было бы вавилонское столпотворение! А эти — нет! Не хватает на выдумку, на притворство... Дело, дело, дело! Реальная деловая мысль работает упорно, безостановочно, по вершочку идет вперед и вперед... а вот на соус, на куплет, на курбет неспособна! Правда! правда! вот где корень всей этой жизни!

И затем по пословице: «на ловца и зверь бежит», все, что мы ни видели в Лондоне, все поражало нас со стороны неподдельной правды и полной безыскусственности.

Если попадалась нищета, так уж это была такая голь, такой ужас, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенеть и глядеть в истинном ужасе на безукоризненно ясное явление жизни; даже той приличной внешности, которою французская парижская нищета может прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здесь нет и помину; целые гирлянды нищих детей, целые кучи их, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больных лицах, грязи в лысых местах больной головы,— копошатся по нищенским переулкам. Да, это уж точно нищета! Неприкрытая! Гляди — и всю жизнь не забудешь этой «правды» теперешнего человеческого общества.

Но зато уж и богатство, так тоже настоящее богатство!

Посмотрите-ка вот на этого белотелого истукана с сигарою в углу рта, пробирающегося, вероятно, в парк на каком-то необыкновенном инструменте (нельзя сказать: «экипаже»). Истукан сидит на каком-то крошечном сиденьице, из-под которого в разные стороны вылезают какие-то стальные нити, как огромные ноги паука. Он весь на воздухе, высоко над толпой, а под ним как будто ничего нет, только блистают на солнце какие-то стальные иглы, а что это — колеса или ноги стального паука — не разберешь. Поглядите на него, и один вид, одна «порода», которая видна в нем, скажет вам, что он органически *не может* понять, что такое за существа копошатся у колес его паукообразного инструмента. Он органически безжалостен к нищете, к этим маленьким заморенным, почерневшим от каменноугольного дыма человечкам.

Словом, из Лондона мы вывезли довольно ценное впечатление: «Вот она, жизнь, в основе которой лежит неприкрашенная правда человеческая! Гляди и учись!»

III

Однако, несмотря на обилие материала, почерпнутого нами в эти дни беготни и касавшегося правды человеческих отношений, до которых успело дожить человечество, по возвращении в Париж нам стало почему-то скучно. В один серенький день, продолжая «досматривать» недосмотренное, мы лазили без малейшего удовольствия в парижских катакомбах, где множество боковых галерей было еще охраняемо стражей или загорожено цепями;

это делалось для того, чтобы иностранец не наткнулся в этих запутанных галереях на трупы коммунаров, которые, говорят, бросились в катакомбы спасаться от версальцев, заблудились там и погибли в большом количестве. Видели также и в тот же день знаменитый морг с массою трупов, положенных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вот тряпье, рвань, снятая с этих мертвецов, утонувших, угоревших, застрелившихся, отравившихся — рвань, развешанная тут же около трупов на веревочках, для того чтобы можно было узнать погибшего по платью, если нельзя было узнать по лицу,— этот хлам говорил о горькой безысходной бедности. У одной молодой женщины подошвы ног, обращенные к публике, были сплошной мозолью — поработала бедняга на своем веку! Хотели было идти в знаменитые клоаки, но путеводитель так расписал их, что просто дух захватило: можете представить, что одних (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей человеческих, которые плавают там, в этих смрадных водах (извините, сделайте милость), он считал десятками тысяч.

Иван Иванович уж не говорил, что «а все-таки неприкрытая правда — гляди, страдай и учись»; напротив, он предложил рассеяться от этих впечатлений дня — всё трупы! В одних катакомбах три миллиона скелетов, в морге с десяток «свежих» покойников да в клоаках сулили тысячи мертвецов. Следовало немножко и отдохнуть от всего этого, «человеческого», на чем-нибудь не столь мрачном. Но когда вечером мы уселись на железных стульях какого-то кафе-концерта в Елисейских полях, и когда перед нами началось веселое кривлянье (повторяю, не утратившее еще следа недавнего удара), и когда вспомнилось, что, может быть, тут же, в клоаке, проходящей под Елисейскими полями, плывут тысячи неродившихся, когда вспомнилось, что в Версали раздается еще «ррррран...» — когда вспомнилось все это, так и совсем стало скучно.

На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды» получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни. Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало

мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему, тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; — и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий, бывший в Лувре, знает и, наверное, помнит во всех подробностях.

Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «что такое со мной *случилось?*» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость... До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного *существа*. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил

сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть; точно так же я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку во время франко-прусской войны в деревянный дубовый ящик и схоронив этот ящик в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какой-то кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить *это* в мелкие дребезги, мне казалось в эту минуту таким злодейством, за которое нельзя отомстить всеми жестокостями, изобретенными на свете. Разбить *это!* Да ведь это все равно что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать *этого!* Какие подлецы! Еле-еле домучаются до гороховой колбасы и смеют! Нет, ее нужно беречь как зеницу ока, нужно хранить каждую пылинку этого пророчества. Я не знал «почему», но я знал, что в этих витринах, хранящих обломки рук, лежат действительные сокровища; что надо во что бы то ни стало найти эти руки, что тогда будет еще лучше жить на свете, что вот когда-то уж будет радость настоящая.

Долго ли я недоумевал над выяснением причин, так неожиданно расширивших, выпрямивших, свежестью и спокойствием наполнивших мою душу, я не помню. Появление какого-то россиянина, вся фигура которого говорила, что он уже вполне разлакомлен бульварными прелестями, а развязный взгляд этого человека, очевидно только что позавтракавшего, стал так бесцеремонно «обшаривать» мою загадку, не находя, по-видимому, ничего особенного по своей части (такие ли он уж видал виды!), заставило меня уйти из этой комнаты. Я мог оскорбиться на этого развязного человека, а мне *невозможно* было даже мысли допустить, чтобы в эту минуту я мог даже подумать жить чем-нибудь таким, что составляло простую житейскую необходимость *той поры,* то есть того времени, когда я был скомканной перчаткой. Опять позволить скомкать себя так, как это было час тому назад и всю жизнь до этого часа? Нет, нет! Я не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне казалось это ненужным и обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в мою комнату.

С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так ска-

зать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить черную душу — теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью» принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было. И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: «ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!» — и уйдешь.

И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне, наконец-таки, возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?

Совершенно случайно припомнилось мне старинное стихотворение в «Современнике» 55—56 годов; стихотворение носило название «Венера Милосская» и, кажется, принадлежит г-ну А. Фету. Когда-то я знал это стихотворение наизусть, но теперь не мог припомнить всего и вспомнил только несколько строк, не имеющих никакой друг с другом связи. Мне вспомнились такие стихи: «До чресл *сияя наготой,* цветет *смеющееся тело* неувядаемой красой...» С словом *красой* рифмовала совершенно оди-

ноко возникшая в моей памяти строчка: «И *млея* пеною морской» или *«млея негою одной»*. Наконец, припомнилась и еще строчка: «И вся *кипя* (а может быть, и не так) пафосской (и это, может быть, неверно) *страстью...»* Вот и все, что мне припомнилось; но то, что рисовали эти строчки — «кипя страстью... смеющееся тело... млея пеною морской» или *«негою одной»,* «цветет неувядаемой красой»,— все это до такой степени было *не то* сравнительно с моим ощущением, что мне даже стало смешно.

В самом деле, всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность «выпрямить» мою душу и идти в Лувр взглянуть, «все ли там благополучно», я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту. Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять «горе» человеческой души, «горе» всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя «выпрямленным», я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастие, этой шумящей за стенами Лувра улицы и невольно, в смысле этого «человеческого горя», начинаю группировать все мною пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня включительно, но я не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях собственно *женской* красоты видимой мною загадки.

Просто в голову даже не приходит думать, что перед тобой что-то «по части» тела, а напротив, непостижимо, почему думаешь, например, о том, что Иван Иванович Полумраков, сказавши, что вот этот лакей, несмотря на свое лакейство, все-таки сохранил в себе человека, решительно не понимал, какую огромную подлость лепетали его уста. Как! человек — и лакей? Человек — и принужден подавать тарелки? Это *человек*-то должен безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су

на пропитание? Вот как, вдруг, переиначивалась во мне фраза Ивана Ивановича «о человеческом достоинстве», переиначивалась мгновенно, от одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознания себя человеком.

Вчера я, может быть, еще бы мог радоваться вместе с Иваном Ивановичем, что вот эта уличная женщина сохраняет свое «человеческое достоинство», но *сейчас* я понять не могу, каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен. Человека, и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью!..

Нет, не «правда человеческая» рисуется передо мною теперь, не «правда», до которой, по словам Ивана Ивановича, дожило человечество, а самая страшная *неправда* и никогда мне так не ясна она, эта неправда, как сейчас. Униженным, осрамленным представляется мне этот человек и в виде того лондонского богача, один вид которого дал Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породе и природе нет фальши: теперь этот породистый тип казался мне унижением человека; как можно было довести человека до такого типа, до такого душевного состояния, которое даже органически не может понимать, что такое за мразь человеческая копошится у колес его экипажа? Как можно было довести человека до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающего себя на каторжный труд, на голод, на грязь, на безграничное душевное отчаяние? Все это ужасная неправда для *человека;* во всех этих неподходящих друг к другу положениях видно только, что «человек» скомкан, изуродован, «осрамлен» в своих человеческих побуждениях; изуродован необходимостью унижать себя до раба, до торговли своим телом, до желания наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убив такого же, как и сам, человека, до потребности ограбить человека, до потребности, наконец, щеголять чрезвычайной добротою. Во всем этом, то есть во всем, что только ни видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека... И страшно становилось за душевную участь теперешнего *человека,* за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души... И обо всем этом думалось благодаря «каменной загадке»; она «выпрямляла» во мне скомканную теперешнею жизнью душу

человеческую, знакомила, неведомо как и в чем, с радостию и широтою этого ощущения.

Не «смеющееся тело», и не «пена», и не «кипя», и не «сияя»,— очевидно, не они выпрямляли и выпрямляют в этом художественном произведении душу человеческую; очевидно, что автор стихотворения не только не овладел всей огромностью впечатления, но даже к краешку его не прицепился, а, соблазненный, так сказать, «званием» Венеры, как бы уже не мог не воспрославить *женской* красоты и без малейшего основания заставил смеяться несмеющееся, млеть немлеющее и кипеть некипящее. И в самом деле, как же изобразить очарование женской красоты (ведь это Венера!), если не воспеть тела, если не разнежить им зрителя, заставив это тело млеть, заставив его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г-н Фет все это так точно и воспел, и все это совершенно несправедливо, то есть на воспевание только *этого* он не имел никакого права.

В самом деле, если говорить о женской красоте, о красоте женского тела, «неувядаемой» прелести, так ведь уж одно то, что Венера Милосская — калека безрукая, не позволяет поэту млеть и раскисать; тут же в коридоре, ведущем к Венере Милосской, вот близ тех, других «Венер», которых там так много, зритель, точно, может размышлять по части наготы тела; там женские черты выделены с большою тщательностью и лезут в глаза прежде всего; вот этим (также знаменитым) Венерам действительно под стать и млеть, и кипеть, и щеголять смеющимся телом, и глазками, и ручками, «этаким вот» пафосским манером изображающими жесты стыдливости... Там, «у тех Венер», любитель «женской прелести» найдет на что посмотреть и пред чем помлеть, а здесь? Да посмотрите, пожалуйста, на это лицо! Такие ли, по части красоты женского лица, сейчас, сию минуту, тут же рядом, в Елисейских полях, можно получить живые экземпляры? Вот тут, в Елисейских-то полях, действительно могут встретиться такие смеющиеся тела, женственность которых чувствуется зевакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самым тщательным образом. Здесь, в парижских-то Венерах, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этот нос, на этот лоб, на эти... право, сказать совестно, почти

мужицкие завитки волос по углам лба... Положительно сейчас, сию минуту в Париже найдутся тысячи тысяч дам, которые за пояс заткнут Венеру Милосскую по части смеющегося естества.

Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова «Венера», обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело «до чресл»? Уж коли тело, так давай его все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая «неувядаемой красотой», должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что «красоту», а «истину», «милосердие», «отчаяние» — все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в каталоге: «Истина», а глаза-то смотрят совсем не туда... «Отчаяние»... подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об «отчаянии», а о том, что «эко, мол, баба-то... растянулась — словно белуга».

А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же это такое? Что руководило художником? Но это еще не все: закутав тело своего создания «до чресл», что он дал по части женской красоты — лицу, лбу, носу, выражению глаз?

И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.

Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту *человеческого* существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастия быть *человеком,*

показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой.

Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а, пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту *нет* ни в ком, ни в чем и нигде, но что *есть* в то же время в *каждом* человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.

Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе.

IV

Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближнего,— был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем же-

лании идти в темную массу народа. Теперь благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам и можно и должно «идти туда».

— Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унизить до размеров той «сущей правды», которая так обрадовала Ивана Ивановича в Европе! Есть из-за чего, в самом деле, мучиться, чтобы не то что сохранить свое человеческое достоинство, будучи лакеем, банкиром, нищим, кокоткой, а чтобы унизить себя до необходимости переносить все эти уродства!

...Года через четыре я опять был в Париже и опять «жаждал» ощутить «радость» существования, посетить Лувр, но, увы, не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не выпрямишь... Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым воротам, но просто совестно стало идти: «что ж я пойду *понапрасну* беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а *ее* только сконфузишь!..» Постоял и пошел в русскую библиотеку упиваться газетными известиями о градобитиях и неурожаях.

А теперь вот опять — да где? в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной зимней ночи — вспомнилась радостная минута и оживила. Бывают же случаи, когда оживают члены, разбитые параличом. Теперь я употреблю все старания, чтобы мне не утратить проснувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и... такую сделаю «овацию» волостному старшине Полуптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить донесения!..

ЗАГРАНИЧНЫЙ ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА

I

Уличная сцена.— Я возроптал на современность.— Сигары.— Кое-что из газет: силы клерикалов; отправка рабочих в Филадельфию.— Студенческий конгресс.— Письма г. Мерже.— Г. Гамбетта.— Вообще довольно скверно.— Письмо Ж. Занд к Луи Ульбаху.

Проходил я как-то на днях мимо одной из мэрий и от нечего делать остановился вместе с толпой других зевак посмотреть на свадьбу. Крыльцо мэрии было наполнено расфранченными мужчинами и дамами, с минуты на минуту ожидавшими приезда жениха и невесты. Угрюмое, казарменное здание и фигуры городовых на углу и на крыльце как-то странно смотрели на эту расфранченную, сияющую предстоящим праздником публику; эти цветы на голове и букеты в руках как-то вовсе не шли к пыльной чиновничьей мурье, с темными коридорами, запыленным, грязным полом и запахом махорки капораля. Я десятки раз видал и прежде эту уличную сцену, но обыкновенно бывало как-то так: посмотришь и пойдешь; на этот же раз контраст между веселым смыслом сцены и жестким впечатлением чиновничьей мурьи как-то очень сильно и неприятно подействовал на меня. А когда к толпе расфранченной родни, стоявшей на крыльце мэрии, подкатила новенькая, с иголочки каретка; когда из нее вышли жених и невеста, оба молодые, красивые, веселые; когда вся эта праздничная толпа, мешаясь с полицейскими и мешая запах цветов и духов с запахом махорки, направилась в глубину мрачной мурьи,— так мне стало скверно, тоскливо, что я, сам уж не знаю, как возроптал на цивилизацию, возроптал на то, что она, поглотив такую массу умов, жизней, пролив такую гибель крови, не только не осуществила так называемых «золотых грез»,— что уж! — но даже удобств че-

ловечеству не дала никаких, если не считать за большое одолжение, что через семь тысяч лет по создании мира, наконец, ухитрилась провести в кухню к человечеству воду и на всем земном шаре вымостила асфальтом только парижские бульвары... Даже деликатного обращения с человечеством не выработала эта удивительная история удивительной цивилизации... Вот перед вами Ромео и Юлия,— положим, что жених и невеста, которых я видел в мэрии, точно любят друг друга так, как любили друг друга Ромео и Юлия; предположим, кроме этого, что читателю известны также в совершенстве те веронские ночи, которые проводили эти влюбленные,— поглядите теперь, что делает с ними эта цивилизация: после веронских ночей она, заприметив их страстную любовь, тащит их, с цветами в руках, в квартал, в часть!.. Ну, есть ли тут хоть капля приличия, деликатности? Какое же сравнение с этим плодом борьбы за благо человечества простой, милый, невинный «ракитовый куст» — свадебка вокруг ракитова куста?.. Где лучше впечатление: там, у куста, или тут, во французской, республиканской кутузке?.. Неужели из всей суммы этих боровшихся за счастие человечества умов и народов не могло выйти самого простого соображения,— что если ракитовый куст неудовлетворителен, то его надо заменить не кварталом, не кутузкой, а чем-нибудь поудобнее — каким-нибудь веселым храмом, а если уж храма много, то хоть сараем, что ли, просторным и чистым, хоть таким сараем, в каком здесь, в Париже, помещаются выставки экипажей и распродажи зонтиков... Нет! тащить в кутузку, в фартал... удивительно как деликатно и остроумно!..

Разогорченный этой аляповатой сценой (читатель, конечно, уж успел совершенно основательно объяснить себе причину такой чрезмерной раздражительности пишущего эти строки исключительно только скукой и бесцельным, а потому расстраивающим нервы скитанием по надоевшему Парижу),— разогорченный этой сценой, я уж не мог оторвать своей мысли от ропота на скудость результатов борьбы за человека, на ничтожность добытых этою борьбою плодов, и стало мне казаться, что человечество непременно должно же, наконец, заступиться за себя, обуздать эту цивилизацию, заставить ее держаться прилично и вообще образумить ее. На что это похоже: в Жомоне Французская республика *отнимает* у меня сто штук сигар,— отнимает и *не отдает*. Мало

того: роется в моих карманах, щупает бока,— есть ли тут хоть крупица здравого смысла? Я еду в эту республику жить, стало быть, буду пить, есть, курить; я везу ей, этой республике, доход, самый чистый, она будет тянуть с меня за эти мостовые, за эти деревца на улице, за спички, за табак, за железную дорогу, за омнибус,— словом, будет получать доход с каждого моего шага и, вместо того чтобы сказать мне спасибо, хватает за карман: «Отдай!» Загораживает (буквально ведь) дорогу обеими руками какого-то солдата: отдай ей, республике, мои сигары! На, матушка, подавись моим добром, s'<il>v<ous>p<lait>![1] Эта удивительная цивилизация сумела так зарекомендовать человека перед человеком, что... подите-ка вот, например, попроситесь ночевать к вашему соседу,— часа этак в два ночи,— пустит ли он вас? Нет, не пустит; он боится, что его «ограбят»... Подите-ка потом, попробуйте просто на улице провести ночь (так как никто не пустит, если не заплатить),— позволят ли сделать это? Нет, сгонят с мостовой, сгонят с тротуара, с тротуарной скамейки... да и скамейки-то на улицах тоже только в одном Париже; на всем земном шаре только здесь,— слава тебе, господи,— додумались, что если человек устал (и очень можно устать от благодеяний этой цивилизации),— так надо ему где-нибудь сесть и отдохнуть... Кроме Парижа — нигде этого нет. Сел — сгонят; стал — «чего стоишь?»

— Меня, друг ты мой любезный,— рассказывал мне извозчик,— один городовой, так веришь ли, как есть *из всей улицы* выбил...

— Как так из всей?

— Так вот и вышиб вон из всей улицы. Стану так — «пошел прочь»... Перееду на угол — «чего стоишь?» Подвинусь подальше — нагонит,— «ишь нашел место!» Вышибает вон — да и на поди... Бился, бился я,— так из всей Покровки и вышиб, как есть начисто вылущил из всей улицы!..

Да, то ли еще придумано: ни с того ни с сего вдруг запрут целое море, и если, наконец, пустят какой-нибудь пароходишко, так не иначе, как после страшной драки, притом денег изведут — тьмы тем, людей перебьют — видимо, невидимо... Не дают ни сесть отдохнуть, не дают ни пить, ни есть (сочтите, сколько ежедневно умирает с голоду на всем земном шаре),— и все-таки кругом виноват!.. А главное — *подо все* это подведены принципы

[1] Пожалуйста *(фр.)*.

разные — законы, и, что самое главное, никто не знает, зачем все это (то есть принципы и законы) подведено... Спросите-ка попробуйте хоть у г. Мак-Магона,— зачем это он у меня отнял сигары и куда их дел?.. Ведь, наверно, он отопрется от этого... J'y suis, j'y reste[1] — только всего и будет вместо сигар-то... а сигар все-таки мне не видать, как своих ушей, и где они — известно единому богу. Нет, решил я,— непременно надобно что-нибудь переделать во всей этой бестолковщине. Если уж нельзя совсем отдать назад принадлежащие мне сигары, то нельзя ли хоть сказать мне, каков у них вкус? Если уж нельзя совсем перестроить эту неудобную, закопченную нору, то побелить ее, подновить — решительно необходимо.

Убедившись в необходимости такой ремонтировки, я, придя домой, принялся за чтение французских газет с целью найти что-нибудь, что убедило бы меня, что ремонтировка эта уже идет и что мысль моя, стало быть, верна. Теперь, думал я, наконец-таки установилась республика,— и разумеется, ее первая обязанность — похлопотать, чтобы человечеству, хоть только французскому, было поудобнее жить на свете.

«В 1844 г.,— читаю я,— белого духовенства (clerqe seculier) было во Франции 41 619 человек (священников). В 1872 г. их стало уже 52 148 человек. Прибавилось на 10 529 человек. Монахинь в 1844 г. считалось во Франции около 25 тысяч, а в 1872 г. их набралось уже 84 300. Прибавив к этим цифрам 32 102 монаха, получим сумму в 149 550 человек, причем окажется, что с 1844 г. по 1872 г. духовенства *увеличилось на 69 тысяч 529 чел.*, в том числе одних женщин прибыло 59 000 (Manuel du droit public ecclesiastique français, M. Dupin.)[2]

«Что же касается размеров материальных средств духовенства, то о них можно судить по размерам его расходов, о которых в книге Блока «La statistique de la France»[3] находятся следующие цифры: «В 1820 расходу было — 24 061 399, в 1832 — 33 049 361, в 1851 — 40 083 947, а в 1873 расходу уже 52 261 595 франков».

Читаю я это и думаю: «Недурно! Эти люди, очевидно, делают дело и умеют делать его. В тридцать лет они увеличивают свою корпорацию почти вдвое, а в пятьдесят лет умеют увеличить свои доходы в два с половиною раза. Нет никакого сомнения, что они работают, да

---

[1] Так было и так будет (*фр.* поговорка).

[2] Руководство французского общественного церковного права. М. Дюпен *(фр.)*.

[3] Статистика Франции *(фр.)*.

и не только работают, а дают в своих монастырях прибежище массе женщин, очевидно оставшихся на свете одинокими благодаря войне 1870—1871 годов. (Иначе невозможно объяснить такой наплыв в 1872 году женщин в монастыри.) Такой успех партии, с которой просвещенному человеку почти обязательно вести войну,— заставил меня тотчас же обратить внимание на успехи, какие сделал сам этот просвещенный человек. В войну 1870—1871 годов просвещенный человек (хотя и не теперешний) ухлопал двести тысяч человек, некоторая часть вдов подобрана монастырями, духовенством. Затем из дебатов об амнистии видно, что теперешний, уже просвещенный человек в самом начале своей деятельности устранил из обращения более пятидесяти тысяч человек — тридцать три тысячи изгнал и, заковав в цепи, разослал в Нумею, Новую Каледонию, Кайенну, а семнадцать тысяч с лишком расстрелял; еще некоторая часть вдов подобрана духовенством и монастырями. Увеличивая ряды своего противника, хлопочет ли просвещенный человек о том, чтобы на будущее время не пришлось ему вновь устранять из обращения собственных своих граждан, представителем которых он служит и от которых получает за эту службу вознаграждение? Нет! Не только не старается,— а как бы стремится ожесточить против себя собственную свою партию. Вот пример. Несколько времени тому назад в газетах печаталось объявление о так называемом *Fête du travail*[1]. Праздник этот состоял в том, что парижские мастеровые решились уступить вознаграждение одного рабочего дня в пользу делегатов от рабочих обществ, отправляющихся на Филадельфийскую выставку. Этот день даровой работы и назван *праздником*. Необходимость такой жертвы со стороны рабочего человека в пользу своих братьев рабочих объясняется удивительно остроумным поведением вышеупомянутого просвещенного человека. Мысль об отправке рабочих на Филадельфийскую выставку пробудилась в рабочих синдикатах Парижа и мотивировалась самым основательным доводом. Член общества переплетчиков Винена, избранный этим обществом в делегаты, вот как изложил эти доводы перед своими избирателями: «Я уже имел случай и прежде путешествовать по Англии и Бельгии, и уж не раз приходилось задуматься о том, чего

[1] Празднике труда *(фр.)*.

заслуживают рассказы о благосостоянии рабочих, существующем в каких-то отдаленных странах. Преимущества положения бельгийских рабочих, превознесенные нам несколько лет тому назад точь-в-точь так, как теперь превозносят нам положение рабочего в Америке, оказались, по моим наблюдениям, чистыми бреднями, существующими только в воображении их сочинителей. Собственный опыт убедил меня в том же относительно Англии. И в Америку я еду почти уж убежденный, что прелести рабочего быта, которою нас мажут по губам, не существует и там; никакими и ничьими указаниями и руководствами я пользоваться не буду и положусь на собственные наблюдения и собственную работу; буду наблюдать и работать, как умею. Особенное внимание я обращу на машины. Машинам предстоит в будущем принести нам, рабочим, громадные выгоды. До сих пор они помогали только благосостоянию отдельных лиц, но когда всеми будет хорошо понята необходимость товарищества,— они будут улучшать благосостояние лиц, уменьшать работу рук и дадут время поработать и мозгу». Подобного же рода цель, то есть желание изучить технические усовершенствования разного рода ремесел, была заявляема во всех рабочих синдикатах, оттененных разными специальностями, и нет никакого сомнения, что желание изучить свое дело — желание вполне законное — и должно быть предоставлено именно специалистам. Что же делают просвещенные люди? Они вручают шестьсот тысяч франков хозяевам фабрик, зная, что не всякий хозяин имеет ту же цель, что и рабочий, и зная кроме того, что не всякий хозяин — специалист: одному фабрика досталась по наследству, другой, будучи, положим, сам мыловар, получил железный завод в уплату долга и т. д. Наконец, немало есть и таких, у которых, помимо фабрик и заводов, на руках имеются громадные капиталы и все время которых поэтому занято игрою на бирже и другими спекуляциями, отнимающими всякую возможность посвятить себя изучению техники каких-нибудь мастерств. Так вот этим-то людям палата и вручила шестьсот тысяч франков, хлопоча о том, чтобы право распоряжаться посылкою рабочих на выставку было отнято от синдикатов и оставлено в руках неспециалистов: то есть делая как раз не то, что нужно. Рабочие синдикаты отказались признать за неспециалистами право распоряжаться в их собственном деле и продолжали настаивать

на том, что именно они, а не кто другой, должны и имеют к этому все резоны,— сами выбирать людей, которых надо послать в Филадельфию. Тогда, видя, что дело поставлено довольно глупо, национальное собрание просвещенных людей решилось дать рабочим сто тысяч франков, но тут же спохватилось и не замедлило поступить еще хуже: сто тысяч франков оно давало с тем, чтобы право назначения делегатов от рабочих обществ было предоставлено министру внутренних дел,— то есть лицу, которое отдалено от рабочих обществ, как земля от солнца, и уж не имеет ровно никакого понятия ни о специальностях, ни о лицах, которые посвятили себя той или другой из них. Синдикаты отказались и от этого одолжения своих представителей и решились отправить делегатов на собственные средства и на то, что даст подписка...

Органы буржуазной реакционной и умеренной прессы потешались над отказом синдикатов от подачки, издевались над их желанием самим остаться хозяевами в собственном своем деле, прохаживались насчет будто бы очень изысканной щепетильности, вовсе не подходящей к блузе, осмеивали то неуместное и аляповатое чувство собственного достоинства этой блузы, которое позволяет человеку обращаться за помощью и не позволяет ее принимать, когда дают. Несмотря на все это, синдикаты стояли на своем, и подписка продолжалась, но, к сожалению, так как у этой партии нет ни органов специальных, нет ни права сходок, а главное, нет самого необходимого — средств, то сборы подвигаются сравнительно плохо, и нет никакой возможности избежать приношений доброхотных дателей, вроде депутатов того же умного собрания, театров и т. д. И при всем этом в течение месяца собрано только пятьдесят тысяч франков. Более двадцати франков не давал ни один из самых радикальных депутатов, в том числе г. Гамбетта — сия опора угнетенных и униженных; остальные — два и один франк, даже пятьдесят сантимов давали некоторые депутаты. Из таких грошей кое-как и набралось пятьдесят тысяч. Наконец рабочие сами решились устроить упомянутый выше fête du travail; что он даст — еще неизвестно. Делегаты некоторых синдикатов уже отправлены в Америку.

А вот в 1872 году то же самое национальное собрание отняло государственную субсидию от разных религиозных обществ, и точно так же была открыта подписка,— и опять оказывается, что враги просвещенных лю-

дей умеют помогать своим. В четыре года одна газета Вильмессана собрала около *полутора миллиона* франков, а в нынешнем, в 1876 году та же газета, на тот же предмет, с 13 по 23 мая, то есть в течение десяти дней, собирает девяносто тысяч франков. Деньги эти, поступающие в распоряжение религиозных обществ, раздаются последним своим членам, большею частию — аристократам, *которые и помогают* бедным — тем самым бедным, у которых просвещенный человек разогнал и перестрелял родителей и детей и которым отказывает в желании учиться и улучшить знанием свое положение, если они не пожелают подчиниться все тем же лицам, которые присвоили себе удовольствие *помогать* чужими деньгами. Вот как либералы умеют помогать своим врагам! При таком образе действия будущность, ожидающая этот прекрасный город Париж и нас, случайных его обывателей,— не блистательна. В речи Виктора Гюго, прочитанной на могиле Жорж Занд, есть фраза о том, что каждый умирающий гений ведет за собою другого, молодого гения; что если в последние годы Франция потеряла так много сильных голов, то это значит, что на место утраченных явятся новые и новые силы и что, сообразно обилию утрат, надо ожидать и обилия грядущих и обновляющих сил. Передать в точности подлинные выражения Гюго я не могу,— у меня нет под руками подлинной речи, да и трудно вообще передать красноречие этого маститого оратора и романиста, который говорит и пишет как-то *колесом*, как *ходят колесом* наши деревенские ребята. Но смысл приведенного отрывка, как мне кажется, передан точно. Прочитав это, я порадовался: авось, подумал я, придет кто-нибудь из свежих людей, принесет свежие силы и примется поступать рассудительно. Гюго говорит — грядут! И действительно, за несколько дней до смерти Жорж Занд вдруг пронеслась весть о том, что французская учащаяся молодежь задумала устроить конгресс — собрание учащейся молодежи всех стран, для того чтобы сплотить *во имя братства* все эти молодые силы, разумеется на служение общему благу. Повеселел я, узнав об этом, и с нетерпением стал ожидать первого собрания. Наконец это собрание состоялось,— и что же? Из братского общества для начала сплочения были на первом же собрании выгнаны немцы. Признаюсь, немало это удивило меня, особливо удивило тогда, когда коновод этого конгресса, г. Мерже,

один из здешних студентов, обнародовал в газетах письмо в объяснение недоумения общества и литературы, сочувствовавших этому братству. Письмо это адресовано к журналисту Шарлю Ревер. «Вы говорите,— пишет Мерже,— что «у знаний нет родины», и потому на студенческий конгресс должна быть допущена учащаяся молодежь всех национальностей. Но цель наша — не знание: мы, как учащиеся, не беремся за то, что составляет дело учителей; наш конгресс — не академия и не занимается научными вопросами. Цель конгресса — во имя всемирного братства сплотить молодежь всей Европы. Вы находите, что и ради этой цели немцев-студентов устранять не следовало бы,— но я не согласен с вами. Наша вражда к немцам не патриотическая; они взяли у нас Страсбург, но мы можем напомнить им и Берлин и Иену; точно так же русским можем напомнить Севастополь, австрийцам — Вену и т. д. Стало быть, поражение, нанесенное нам немцами, не имеет тут никакого значения. Дело все в том, что войны Франции всегда велись за освобождение, за идею, за прогресс, тогда как немецкие войны велись только ради захвата, ради того, чтобы завладеть чужим и угнетать его. Немецкая молодежь вовсе не чужда этой идее, руководящей немецкой нацией в ее войнах, и не только не чужда, а прямо воспитывается в этой идее, и особенно во враждебных чувствах к нам, французам. Почитайте немецких поэтов: Арндта, Кернера, Шенкендорфа; они еще с начала столетия поучали необходимости пролить французскую кровь. Таково воспитание немецкого студенчества до сих пор».

Мне, как закоренелому российскому патриоту,— говоря правду,— очень по вкусу такой афронт, нанесенный немцам; но если я, подобно г. Мерже, изгоню из своего миросозерцания такую вещь, как вражда, то поступок юного конгресса, с г. Мерже во главе, утрачивает для меня всякую прелесть. «Не имея вражды, мы изгоняем немцев из общества, образовавшегося во имя всеобщего братства, потому что они питают к нам вражду». Тут даже и глупости очень довольно, и уж ни единой капельки нет нового. Напротив, само французское юношество, полагающее необходимым напомнить о том, что должно быть между людьми что-то братское, само начинает, подобно ненавидимым им немцам, также воспитываться во вражде. Что ж тут нового? Вот если бы г. Мерже сказал, что даже тех самых немцев, которые враждебны к нам, мы

приглашаем примкнуть к братскому союзу,— это было бы ново и нужно. В настоящую минуту именно и необходим, в частной и общественной жизни народов, этот *новый* род взгляда, который бы именно отрицал вражду во всевозможных видах и показывал бы пример этого. Этого только и нужно, а этого именно и нет ни в чем *новом*. Старый человек Жорж Занд выводит рабочего Пьера Гюгенена и заставляет влюбиться в него маркизу — это ново, это действительно говорит о правде. Распайль, восьмидесятилетний старик, просидевший в тюрьме большую часть своей жизни, почти тотчас по освобождении начинает говорить об амнистии и грозит не закрывать рта, покуда она не будет дана,— это тоже ново, тоже справедливо, тоже пробуждает в сердце человека добро. А г. Гамбетта, который *отказывается от подачи голоса об амнистии,*— это ни старое, ни новое, а просто скверное явление.

Итак, покуда ничего еще и ниоткуда не грядет. Напротив, г. Гамбетта получил уже от своих марсельских избирателей письмо, в котором они высказывают сожаление, что подавали свой голос за него, так как его *основательное* молчание в самых существенных вопросах — для них явление совершенно неожиданное, особливо со стороны *главы* республиканской партии, и притом тогда, когда республика установлена окончательно. Кстати о г. Гамбетте, который в последнее время сильно пошатнулся в общественном уважении. Недавно, а именно 23 июня умер от удара некто г. Теофил Сильвестр. Умер он за завтраком, поутру, причем оказалось, что завтракал этот человек у г. Гамбетты. «Каким образом могло случиться,— обратились газеты к г. Гамбетте,— что у вас возникла дружба с г. Сильвестром, бывшим секретарем г. Пиетри и ревностным сотрудником Поля Кассаньяка в издании реакционной и бонапартистской газеты Pays[1], каковым Сильвестр был по день смерти? Если в настоящее время, г. Гамбетта, вас окружают люди, подобные г. Сильвестру, то мы вас не поздравляем. Кроме того,— констатируем еще следующий факт: г. Гамбетта, принимавши г. Т. Сильвестра за своим столом, не удостоил, однако, проводить своего знакомого на кладбище, когда он умер».

Итак, вот что покуда виднеется на горизонте: не-

[1] Страна *(фр.)*.

сомненный успех врагов республики и несомненное озлобление против представителей республиканской партии, которая ровно ничего не делает, а продолжает, в лице своего главы, систематически отлынивать от разрешения самых насущных вопросов. «Когда в 1880 году,— говорит одна хорошая газета гг. радикальным депутатам,— вы вернетесь к своим избирателям, то последние непременно спросят у вас: сделали ли вы что-нибудь из того, о чем трубили в ваших программах? Пытались ли вы делать изменения в нашем военном законе? Сделали ли вы какие-нибудь улучшения в наших судах? Подумали ли о более правильном распределении налогов? Замолвили ли хотя словечко об отделении церкви от государства? Нет,— ответите вы,— ничего этого мы не делали. Мы просто были умны и вели себя умно, так умно и тонко, что сенат решительно уже не примечает нашего существования». И разумеется, делаем, что хотим, прибавим мы... А молодежь ко всему этому, во имя братства, начинает воспитывать в себе непримиримую вражду. Все это вместе дает физиономии здешней жизни весьма утомительное натянутое выражение.

А старые хорошие люди мрут. Вам, конечно, уже известна смерть Жорж Занд. Привожу здесь письмо покойной к Л. Ульбаху, которое, по мне, очень хорошо рисует эту писательницу вообще и довольно подробно знакомит с ее образом жизни в последние годы.

«...За последние двадцать пять лет в моей жизни нет ничего интересного: не спеша тянется в кругу семьи спокойная и счастливая старость... Изредка какое-нибудь личное горе нарушит ее спокойное течение: кто-нибудь из близких умрет, кто-нибудь поссорится... Вообще это такое состояние, которое, вероятно, знакомо и вам. При свидании, в разговоре, я охотно буду отвечать на все вопросы, какие вы мне предложите...

«За это время я потеряла двух любимых внучат, но у меня еще остались две малютки от моего Мориса. Невестку я почти так же люблю, как и сына, и им двоим я отдала в распоряжение все мое имущество. Время я провожу, забавляясь с детьми, занимаясь ботаникой, предпринимая долгие прогулки (я еще крепкий ходок), а когда выдается свободная минута, часа 4 в сутки, сочиняю романы. Пишу я легко и с удовольствием: писать — это мой отдых, рекреация; переписка с друзьями и знакомыми и вообще письма — вот это так уж настоящая работа! О, если бы можно было писать только к друзьям! Но кроме их писем сколько каждый день я получаю трогательных и смешных посланий. Каждый раз, когда я могу чем-нибудь помочь,— я отвечаю; если помочь не могу— молчу. Если вижу, что надобно удовлетворить,

несмотря на малую надежду в успехе,— пишу, что попытаюсь. Из всей этой переписки необходимо ежедневно отвечать по крайней мере на десять писем. Это целый потоп,— но что будешь делать?

«Надеюсь по смерти переселиться на какую-нибудь совершенно безграмотную планету. Надо быть вполне совершенным, чтобы не уметь ни читать и ни писать. В ожидании этого счастья — терплю.

«Если вас интересует мое материальное положение, то вот вам мои, очень простые, счеты. Я выработала своими трудами миллион франков и все это отдала моим детям, исключая 20 тысяч франков, которые приберегаю на случай моей болезни, чтобы в период дряхлости не обременять собою детей. Я еще не знаю — сумею ли сохранить и этот капитал, потому что то и дело нуждаются в нем то те, то другие. Если я буду в силах еще работать, то, разумеется, и это сбережение будет пущено в обращение. Пожалуйста, молчите о том, что у меня есть сбережение,— только этим вы и поможете мне сберечь его.

«Если вы будете писать о моих средствах, то не ошибетесь, сказав, что я жила изо дня в день тем, что зарабатывала, что я смотрю на такое существование как на самое счастливое и правильное. Не имеешь излишков и не боишься воров.

«В настоящее время все домашнее хозяйство лежит на руках детей, и поэтому каждый год у меня остается свободное время, чтобы попутешествовать по отдаленным и неизведанным уголкам Франции. Уголков этих так много, и они так прелестны, что, право, дальше не стоит и ездить. Здесь я получаю материал для моих романов. Я люблю своими глазами видеть все то, о чем пишу. Если мне приходится сказать два или три слова о какой-нибудь местности, мне нужно непременно самой видеть ее и крепко держать в памяти, чтобы не ошибиться.

«Все это очень мелко и мало, мой друг, а для такого биографа, как вы, мне бы хотелось быть величиной с пирамиду. Но что делать: выше лба уши не растут.

«Вообще я самая простая женщина, к которой приделали ни с того ни с сего разные совершенно фантастические эксцентричности. Обвиняли меня также, что я никого страстно не любила,— а мне кажется, что я и жила только любовью... Теперь, слава богу, с любовью меня уж оставляют в покое, а те, кто хоть сколько-нибудь еще привязан ко мне,— те на меня не жалуются.

«Старуха я еще очень живая; правда, забавлять других я уже не могу, но умею сама забавляться и быть веселой со всяким. По всей вероятности, у меня есть большие недостатки, но, как и все люди, я их не сознаю. Не знаю также, есть ли у меня что-нибудь и хорошее. Думаю часто о том, что такое истина, отвыкла понемногу от ощущения моего я. Делая добро — только поступаешь логично, и никто никогда не делал умышленно зла. Будь я развитее в ту минуту, когда я делала зло,— наверное я не сделала бы его. Так и все люди. Вообще я не верю в злобу людей, но знаю, что на свете есть масса невежества».

Справедливо!

Париж, 24 июня н. ст

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ

I. НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ В ДОРОГЕ

Пароход из Пешта в Белград[1] отходит два раза в сутки: в 6 часов утра и в 11 вечера; утренний пароход я проспал; пришлось ждать вечера и кое-как убивать время. Бродя, от нечего делать, по улицам Пешта, городка хотя и не очень многолюдного (я был здесь после Парижа и Лондона), но устраивающегося жить совершенно по-европейски, позволяющего себе даже во внешнем убранстве улиц чисто парижскую роскошь, я тысячи раз невольно спрашивал себя: да неужели правда все то, что пишут о начавшемся в русском народе движении в пользу славян? Неужели правда, что на эти широкие, асфальтовые тротуары Пешта каждый божий день железная дорога высаживает толпы простых русских людей, добровольно отдающих свою голову за угнетенного?.. Я потому задавал себе такие вопросы, что долгое время жил за границею и за границею же прожил весь период возникновения и развития начавшегося на Руси возбуждения; я знал об этом движении из газет, притом на чужой стороне значение русского движения принимало для меня поистине громадное значение по своей, почти невозможной на белом свете, *жажде — жертвовать собою чужому несчастью,* которую так необычайно своевольно обнаружил русский человек. Устраивающийся по-европейски Пешт, то есть город, обставляющий свои дома, свои улицы не только всем необходимым или удобным, но и роскошным, прихотливым, поминутно должен был напоминать мне о народе, явно стремящемся к такому неудобству, какова смерть,— народе, находящем «свое удовольствие» в жертве, в трудах и бедствиях войны за чужое, но правое дело; на этом асфальтовом тротуаре, в виду этих великолепных кафе, наполненных народом,

[1] Сентябрь 76 г.

оживленно толкующим и думающим о *своих* делах, трудно было верить возможности такой наивной, юношеской затеи целого народа, и вот почему я поминутно должен был спрашивать себя: да неужели все это правда?..

Можете судить после этого, с каким нетерпением побежал я на железную дорогу, когда часов в 6 вечера в мой нумер вошел еврей-комиссионер[1] и объявил на ломаном русском языке, что «сейчас приедут пятьдесят *россиянов*». Двор станции был наполнен каретами, колясками и комиссионерами, ожидавшими приезжих; кроме комиссионеров и полицейских, не было никаких других представителей чужой стороны, которые явились бы поглядеть или встретить наших чудаков; правда, они не мешают этим чудакам делать их странное дело, но уж удивляться этому делу и чудакам, которые взялись за него, у них нет времени. Только я один в нетерпении бродил по двору станции и рад был поглядеть на них своими глазами. Добрых пять минут, показавшихся мне пятью часами, прошло прежде, чем затряслась мостовая от въехавшего в вокзал поезда...

«Наши!» — подумал я, и действительно, гляжу — валит сибирка, гиганты-сапоги, узел в дерюге, в два двугривенных картуз... а за первой чуйкой так и хлынули мерлушки, полушубки, узлы и гремящие, как гром, сапоги...— «Наши, наши!» — твердил я себе, глубоко тронутый появлением этих неказистых костюмов, этих не очень чтоб выразительных лиц, этих полушубков на европейских асфальтах, в виду этой роскоши и блеска европейского города.

Да, неказист был русский чудак-доброволец, явившийся на чужую сторону: неказист костюмом — все здесь одеваются лучше и красивее его в тысячу раз; неказист лицом и фигурой: волосы у него были подрезаны в скобку, и уж много-много обделаны, то есть словно топором,— на солдатский манер; сбитые в войлок бороды тоже не могли служить иностранцам образцом туалетного искусства; но все это ничего, все это исчезало в его чистом желании жертвы, заставлявшем забыть все его внешние несовершенства, притом же вполне понятные: ведь *бедность* у нас на Руси! — Все это действительно и было бы забыто, если б он не привез с собою, помимо неказистой внешности, еще и других, тоже неказистых

[1] Он был русский солдат, но остался в Венгрии после усмирения.

вещей! Мне пришлось проехать с партией добровольцев от Пешта до Белграда и видеть их здесь до дня отправления на поле битвы, и если я, с одной стороны, благодаря этому знакомству с разнообразнейшим русским людом, убедился, что русский человек жив, что в нем целехоньки самые юношеские, чистые движения души, то, с другой стороны, я также воочию увидел, как русский человек измучился, как много подломилось в его еще сохранившем добро сердце, как он «измят», изломан и как настоятельно необходимо для него крепко подумать о своем здоровье.

«Партия добровольцев» — это образчик всех классов, всех состояний и всех сортов понимания и развития, живущих на русской земле. Здесь зачастую попадались такие бриллианты искренности, доброты, простоты, самоотвержения, о каких в обыкновенное время никому на Руси не приснится и во сне. Кому неизвестно, например, что такое лавочник, лавочный мальчик, бегающий за кипятком в начале поприща, ворующий гривенники тотчас по вступлении в звание приказчика и обворовывающий хозяина в момент «полного доверия»? Вот этот мальчишка здесь, среди добровольцев, не в лавке, не с чайником; посмотрите же, какое обилие негодования к неправде было скрыто в нем, скрыто так, что он и сам не знал об этом свойстве своей души; его не пускал в Сербию отец — он побежал топиться; его заперли в чулан — он сделал петлю и хотел повеситься; ему не давали денег — он ушел без копейки. Кто-то надоумил его обратиться в комитет, и там ему помогли выехать. Всю дорогу он только и думал о минуте, когда он будет колотить турок, всю дорогу ни на минуту не переставал расспрашивать каждого встречного и поперечного: «Где теперь драка? бьют ли турок?» По приезде в Белград он просит тотчас же отправить его на поле битвы, негодует до слез на то, что его заставляют ждать, негодует на сербов, про которых рассказывают, что они бегают в кукурузу, и не дерутся насмерть, как хочет драться он.— «Человека грабят, а я смотреть буду?» — говорит он в объяснение своего негодования и ничего другого, никакого другого довода, никакого другого соображения у него нет. Таких субъектов было много в каждой партии; те из них, у кого были средства запастись кинжалами (громаднейшими и острейшими), всю дорогу толковали о саблях, револьверах; по приезде в Белград,

томясь скукою и изнывая от ожидания отправки, они не могли ничего придумать, ничем развлечься, кроме всех тех же разговоров и расспросов о том, где самая настоящая драка? где можно драться тотчас, как приедешь? Не случится, с кем можно вести такие разговоры,— опять принимаются за свои ножи, смазывают маслом сабли, просят оттачивать и без того отточенные до невозможной степени кинжалы (решительно понять невозможно, где они откопали эти страшилища!), поминутно надоедая полиции просьбами о подводах — и у всех одно и то же очень простое соображение: «Как же это, человека грабят, а я молчи?»

Были в числе «искренних» также любители, «специалисты драки», которым дорого не столько то, что они идут защищать ограбленного, сколько то, что есть «хороший случай раззудить плечо»; эти не оттачивали отточенного, зная, что и без того отточено хорошо, и не волновались ожиданием подвод, зная, что «успеется», что от его «закуски» (тоже большею частью кинжал громаднейший) не уйдет никакая шельма. Были, наконец, в числе искренних любителей драки просто-напросто необычайные какие-то верзилы, гиганты, невероятнейшие силачи, которых никуда не решаются брать: в артиллерию — не умеет, горяч; в кавалерию — сломает лошадь; в пехоту — тоже не идет, странно как-то взять такого верзилу. Такие страшилища идут без оружия, чувствуя (да и постороннему это видно), что и с голыми кулаками они возьмут свое, что добром от них не отвертится ни один нехристь. Такой гигант-силач не предъявляет никаких объяснений своего волонтерства, кроме своей фигуры,— он идет, потому что куда же деть ему такую гибель силы? Всю дорогу он пьет, не шумит (потому что он сам боится своей силы: — «Боюсь ударить... убью ведь — потом не разделаешься!» — говорит он и остерегается), таскает, на удивление всех (с улыбкою, чисто детскою, на лице), сундуки, пудов по восьми, одною рукою поднимает столы и т. д. Тут только силища. Но вообще весь этот род искренних вояк почти ничего не знал: ни что такое Сербия («называется губернский город Белград,— сердился один такой-то: — а извозчика не дозовешься!»), ни что такое всеславянство, а просто шел потому, что нельзя грабить человека, и не было у них предела негодованию на грабителя, благо за это негодование не будет ничего худого. С другой стороны,

в числе «искренних» были еще и такие, которые надевали мундир только потому, что без него нельзя обойтись, но задачи которых широки и определенны. Были также простые русские люди, жертвовавшие собою «за свои грехи»: «за мои грехи мне назначено,— говорил мне старик-солдат: — вот я и иду!» Были фанатики, люди, покорявшиеся велению свыше, исполнявшие повеление божие, еще до рождения их на свет указавшее им этот подвиг. Один такой, отправлявшийся по повелению божию, всю дорогу постился, не пил, не ел, не отрывал глаз от евангелия. Много, удивительно много чудного, хорошего обнаружила эта сербская история в русском народе, но вместе с тем должно сознаться, не мало обнаружила она и весьма печального.

До сих пор я говорил об искренних; но в каждой партии добровольцев были и «неискренние добровольцы». Не могу забыть одного чиновника, всю дорогу толковавшего мне «об афере», которую он сделал с «этой Сербией». Он высчитывал мне все выгоды этого предприятия. «Ну, и начальство взглянет — все-таки в Сербии был... а в случае чего (то есть настоящего дела) можно сказаться и больным. Тем временем и жене идет пенсион, а месяца три протянется — и из эмеритуры выдадут... От комитета получил столько-то, да по званию моему капитана от сербского правительства... вот оно и образовалось кое-что... а там, может быть, и мир!»

При этом слове он весь засиял и, очевидно, ждал, что я приду в восторг от его ловкости, от его уменья всех — и начальство и историю — провести и вывести, купить и продать. Не могу высказать, до чего тяжело было видеть здесь этих представителей всякого виляния и лганья во имя веры только в прогоны, суточные, двойные какие-то выдачи. Тяжело потому, что по необычайной точности и тонкости отделки этих плутовских дел вы не можете не заключить о том, что явление это существует на Руси, что уже есть породы, которые именно и видят «настоящее» дело и настоящую жизнь только в лытаньи от дела. Я бы мог привести подробности, но боюсь утомить ими читателя. Скажу коротко: в числе добровольцев были люди, видевшие в сербском деле случай положить в карман копейку (точно ли они кладут, я скажу ниже). Но, помимо этих тонких знатоков своего дела, этих прожженных обманщиков, совершавших все на законном основании, то есть не ехавших из Белграда

до последней возможности, упиравшихся на всевозможных льготах и т. д., были, кроме их, и простые проходимцы и даже просто пьяные люди, с удивлением узнавшие, что они каким-то образом попали в Белград; пьянствовал в Петербурге, пьянствовал в Москве, в вагоне, на пароходе,— и, наконец, очнулся с ружьем и в сербской куртке. Даже и такие были.

Но и те и другие, то есть самые искренние и самые фальшивые из добровольцев,— это только крайности; большинство, масса тоже, при разговорах и расспросах, полагала, что надо сократить безобразника (турка), но не будь ей обещано того-то и того-то, она, пожалуй бы, и не была в Сербии. У всего этого народа, очевидно, было и плохо и неладно в делах: не клеилась ни семейная ни служебная жизнь; весь этот народ был и беден и несчастен и не мог справиться с собою, и надоело биться ему — и вот он сказал себе: «пойду в Сербию, жив буду — ничего, а убьют — *все один черт!*» Поистине становится ужасно за это холодное состояние души, которое встречаешь нередко в русском человеке, особенно здесь... Плохо ему было дома, без всякого сомнения; расспросите кого угодно из этих людей об их жизни — все переломано в ней и исковеркано: жизнь скомкана, растоптана; но все-таки, как бы она ни была безобразна, там, на родине, у него было на что жаловаться; под хмельком находил он виноватого в жене — и буйствовал, отводил душу; ругал знакомого, злился на экзекутора — словом, имея возможность ощущать ежеминутно неудобства своей жизни, быть может, даже и привык к этой бестолковщине. Я даже собственными глазами видел в Белграде одного русского чиновника, который всегда оживлялся, когда начинались в его делах «неприятности»,— например, когда не заставал дома лиц, к которым у него было дело, когда он в пять дней *не мог добиться* чего-то очень нужного. Попав в эту бестолковщину, он вдруг заговорил, и заговорил довольно умно, браня того и другого, высказывая разные взгляды, забегая поминутно в кафе выпить,— все второпях, все «некогда», все спеша, спеша нарочно даже, с желанием не застать, прийти не вовремя, чтобы опять роптать. В это время он был боек и разговорчив, лицо и глаза были оживлены. Но вот вдруг все пошло как по маслу: всех он в одну минуту застал, все получил — и... весь свет опустел вокруг него! Казалось, ни одной мысли у него не

было другой, кроме ропота на «неприятности», «несправедливости», ропота, к которому теперь не было никаких поводов, и он стал пить (другого не находил занятия), пить зря, без аппетита, без надобности, что-то пытаясь думать, но ничего не говоря, кроме — «все один черт!». Не в такой мере, но у многих «средних» русских добровольцев, русских простых людей, замечалось это незнание, неуменье, полная отвычка от того, чтобы быть самим собой как-нибудь иначе, чем в изломанном и изуродованном виде. Переезд через границу, мундир сербского войска, надетый им, — эти два обстоятельства отрезывали за ним все худое, все, что его изуродовало, исковеркало, и я с ужасом видел, что больше у него ничего нет, что для него «все один черт!». Без глубокой жалости, переходящей иногда в негодование, нельзя было видеть этих мучений человека, который не может, не в силах чувствовать в себе что-нибудь, кроме наковальни для разных «неприятностей».

Помимо неказистого костюма, неказистого лица, наш доброволец принес в чужую сторону и это отчаянное воззрение на себя и на других. Сколько я мог понять, у серба вследствие продолжительного угнетения выработалось нечто другое. Для него, говорю вообще, тоже «все один черт», начиная с соседа, но сам он, его «куча» (семья) — это другое, это для него все. Один долго живший здесь русский характерную черту серба назвал мне «любовью к мужицкому кейфу», любовью к теплу, покою и удовольствию своей норы; он дошел в этой любви к норе, как говорят, до того же почти, до чего дошел парижанин, не считающий благоразумным иметь больше двух детей. Они мешают этому мужицкому кейфу.

Судите сами, какое впечатление на серба, любящего «кучу», должен был производить вновь прибывший брат, для которого — «все один черт» и который, напротив, бежит «от кучи», то есть от бездны всей массы условий его личной жизни, условий, которые заставили его находить удовольствие в смерти почти только потому, что «все один черт».

Этот-то в обыкновенное время кейфующий и даже изнеженный серб вдруг, в военное время, когда он сделал небывалую попытку, когда он решился оставить «кучу», когда у него умирают родные и знакомые на войне, стало быть, когда он грустен, огорчен, печален, испуган, — словом — когда он вконец расстроен непривычным положе-

нием,— на каждом шагу встречает проявление нашего «наплевать!», этого неизбежного результата тысячи условий нашей жизни, и я никак не думаю, чтобы эти встречи действовали на него благоприятно. Сербам на каждом шагу приходилось видеть людей, не уважающих ни себя ни других, ни бога ни черта.

В октябре 76 г. военный министр собрал всех русских волонтеров и просил их не заживаться в Белграде, уезжать в армию, не дожидаясь ни обмундировки ни оружия. Эту просьбу объясняли именно начинавшимся раздражением в белградском населении против таких поступков, в основании которых лежит принцип: «все один черт!» То-то и обидно, что все это делалось невольно, «ни с того, ни с сего», единственно только оттого, что человек не знает, что значит чем-нибудь дорожить в себе самом. То-то и горько, что человек не дорожит ничем в себе, бросает самого себя во всякую опасность, потому что — «все один черт!», «наплевать!».

Право, я не знаю ничего трогательнее зрелища похорон такого русского добровольца. Эти самые улицы, по которым с музыкою и провожатыми несут его, были свидетелями его ежеминутных доказательств, что для него — «все наплевать!». Ходил он тут и шумел, и дебоширничал, и безобразничал, удивляя всех и вся своим презрением к себе,— и вот умер, умер на поле битвы за правое дело. «Бедный человек! — подумал каждый при виде этого зрелища: — сколько в тебе было добра, если и изувеченный, доведенный до того, что тебе стало *все один черт*, ты все-таки нашел в себе силу так благородно умереть!..»

II. НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

«Здешних», местных, причин, дурно влиявших на русского добровольца, было многое множество. Решаясь идти на смерть, русский доброволец хотя и имел полное право утверждать, что для него «все один черт», но сознание, что это дело приносит ему «во всяком случае» «непременно» *честь*, играло в его решимости едва ли не такую же значительную роль, как и его изломанное прошлое. Так вот одна из первых причин множества неудовольствий, наполнявших сердце русского добровольца, состояла именно в том, что на первых же порах по прибытии сюда доброволец не находил почти ничего, что

ласкало бы его самолюбие; дома, в России, он в последние дни перед отъездом привык считать себя выше других, привык получать похвалы и восторги, пил, сколько хотел, и т. д. Этого же самого ожидал он в глубине души и подъезжая к Белграду, к Сербии — и, к удивлению своему, ничего такого не находил; Белград не делал ему никакой «шумной и крикливой чести»... Доброволец как-то забывал, что Белград не только не «продолжение» его торжеств, начавшихся в России, но, напротив, полнейшее и решительнейшее их прекращение; забывал, что именно с этого пункта его путешествия и начинается «служба», «подвиг», «жертва», на которую он шел добровольно; забывал, что здесь лазареты наполнены ранеными, что здесь то и дело хоронят убитых, что здесь все задумчиво и озабоченно и что, следовательно, нет никакой возможности требовать, чтобы так уныло настроенный город каждый день являлся на пристань и орал «живио» и делал бы угощения, овации... Ничего этого доброволец не принимал в соображение, полагая, что в Белграде, напротив, для него будет устроено нечто гораздо более забористое, чем то, что было устроено в Москве, в Саратове, в Харькове. Мало того, нередко даже обижался, если слышал, что ему, например, придется жить в *казармах*.

— Как в казармах? — удивляясь и негодуя, восклицал иной доброволец из благородных или состоятельных.

— Да так, в казармах, как все.

— Я-то?

— Ты! А что же ты такое?

— Да если они только посмеют упрятать меня в казармы, так мне черт их возьми и с Сербией! — сейчас уеду назад... Чтобы я со всякой сволочью...

— Да ведь ты волонтер или нет?

— Ну, волонтер!

— И вот этот солдат — волонтер...

— Нет, разница!

— Никакой разницы нет...

— Нет, уж извини, большая разница!

— Никакой нет разницы,— ты теперь солдат, и он солдат... Какая же разница?

— И очень большая разница! Он свинья, а я...

— А ты что?

— А я со свиньей не хочу быть вместе, вот и все! Черт их возьми! в казарму?! Я еду на свой счет...

— Да ведь ты в солдаты идешь-то? Ведь ты солдат — ну, и иди в казармы... бери ружье!

Многие поистине с удивлением узнавали, что между одним солдатом и солдатом другим, третьим — нет никакой разницы в правах и обязанностях и что быть волонтером — значит быть солдатом, значит переносить все трудности военной жизни. У иных, по-видимому, образовалось представление о волонтере, как о существе, решительно ничем, никому и ни перед кем не обязанном: иному казалось, что раз он пошел в волонтеры, так это значит, что он получил право отклонять от себя какие бы то ни было обязанности, пользуясь, напротив, всевозможными правами.

— Я волонтер! — кричал один доброволец на начальника партии, к которой он был причислен: — мне никто не имеет пр-рава приказывать.

Многие из этих господ, свирепствовавшие все три тысячи верст своей дороги, полагали, что все это «еще не то», не настоящее, *так*, от скуки, «в дороге», а что вот в Белграде — так там уже только держись, что начнется... А в Белграде-то именно — все это и прекращалось.

На пароходной пристани при встрече добровольцев обычно не бывало никакой толпы, ни криков, ни оваций. Захлопотавшиеся члены «Красного Креста» почти молча вели прибывших добровольцев в небольшой домик, построенный на берегу, отделяли офицеров от рядовых, складывали вещи тех и других на полу и рядовых уводили в казармы, а офицеров в гостиницу — но тоже пешком. Наши ждали извозчиков, даже не простых извозчиков, а каких-то княжеских карет, в которых их повезут по трактирам и гостиницам, а тут иди пешком по темному, мертво спящему, плохому городу, по плохой мостовой, напоминающей наш уездный город, в такие гостиницы, где не только ничего не достанешь в такую пору (ночью), но и не достучишься — все спят и, по-видимому, ухом не ведут, что приехали какие-то великолепнейшие люди.

Такой сухой прием, крайне неприятный тем, кто рассчитывал в Белграде «развернуться», вообще довольно уныло действовал на всякого русского. Уныло действовал и самый вид этого небогатого городка и эти похороны с музыкой, встречаемые почти тотчас же по приезде... Вся веселая сторона волонтерства была уже изжита в России — здесь приходилось сейчас же браться за дело,

и русскому становилось с первых же дней скучновато в Белграде: так был резок переход от ожидания дела к самому делу, к его сухой, прозаической стороне. Всем без исключения — и искренним и неискренним добровольцам — было скучно. Одни начинали поднимать свой дух возлияниями, результатом которых оказывались скандалы и всевозможные безобразия, другие рвались поскорее в армию, и вот тут-то, как на грех, сейчас и являются те местные затруднения, о которых я намереваюсь поговорить в этом письме.

Всякому русскому добровольцу необходимо было сделать в Белграде три дела: одеться в сербскую форму, получить оружие и затем вытребовать себе колу (подводу), чтобы уехать. Кажется, вещи нехитрые; но посмотрите, сколько тут являлось затруднений и всяческой путаницы, как мало было сделано для того, чтобы облегчить эти очень простые дела. Обыкновенно на одном пароходе приезжало несколько небольших провинциальных партий, вверенных славянским комитетом одному какому-нибудь лицу; лицо это было обязано заботиться об этой партии и руководить ею в Белграде, которого оно также не знало, как и любой отставной солдат-волонтер, находившийся в его партии. По прибытии партии ее размещали по казармам и по гостиницам, в каждой по нескольку человек,— в одной три, в другой семь, и т. д. Начальник партии также помещался в той гостинице, где есть пустая кровать. В результате выходило то, что ни начальник не знал, где его партия, ни партия не знала, где ее начальник. Проснувшись в гостинице, добровольцы начинали ходить по незнакомому городу, искать своих товарищей, а товарищи тоже искали их, совсем по другим местам и улицам; в то же время и начальник партии также бегал, разыскивая своих и, встречая их случайно на улице, в кофейне, где одного, где двух, решительно не мог добиться видеть их всех, чтобы всем одновременно объявить — что им надо делать. Большинство добровольцев, таким образом, бороздило город безо всякого дела по разным направлениям и от нечего делать брело туда, куда им посоветует идти первый встречный. «Идите, господа, к министру» — и пойдут гурьбой, человек в пять-шесть, к министру, где им, разумеется, скажут, что не имеют о них никакого понятия. Скажет кто-нибудь: «идите в славянский комитет»,— пойдут туда, и там тоже скажут им, что ничего неиз-

вестно... Так шатается вся партия по министерствам и комитетам, никого не находя и ничего не добиваясь; иным это приходилось «по натуре», как я уже и писал, но большинство утомлялось этим; помотавшись день, утомишься скукой, волей-неволей займешься «сатликом вина». Примите во внимание, что этот самолично, но бесплодно добивающийся и ищущий места, откуда отправляют в армию,— этот народ из тех, кто хотел дела, кто рвался к нему. Один день такой бестолочи неприятно действует на него, раздражает; не знать языка, не знать цены и названия денег, не уметь спросить поесть, расспросить дорогу,— все это только усиливало раздраженное состояние духа, потому что поминутно заставляло человека чувствовать свое одиночество, свою заброшенность на чужую сторону, где никто не обращает на него внимания, никто не заботится о нем...

Понятно, что простой, не умеющий себя сдерживать человек (к тому же иной раз остававшийся без еды по целым суткам, благодаря чьей-нибудь оплошности) невольно должен был возроптать и на сербов и на своих. В то же время и министерства и комитеты не знали ни дня ни ночи покоя от этих посещений растерявшихся по городу добровольцев. По целым дням, таким образом, люди изнывали в беспрерывной ходьбе, в беспрерывном незаставанье, в неизвестности, что с ними будет, когда их ушлют в армию и куда.

Результатом такого порядка дел были толпы ропщущих добровольцев, тысячи неприятностей жителям города, сербам.

— Мы за вас, за каналий, кровь пришли проливать, а ты обсчитываешь? Мошенник!..

— Да на много ли он вас обсчитал?

— Черт его знает, на сколько! Я знаю, что много... С Андреева он взял вчера две вот таких (показывает деньги), а с меня — вон какую кучу!

Рассмотрев и «вот такие» деньги и те, которые платил Андреев, вы увидите, что деньги эти разные, одни австрийские, другие сербские; по-сербски взята куча, а по-австрийски маленькая штучка — в сущности же взято с нашего негодующего добровольца как раз столько же, сколько и с Андреева.

— А черт их знает, какие там у них, у подлецов, деньги!

Результатом этой бестолковщины являлась очень ча-

сто встречавшаяся фигура русского добровольца из простых, то есть живущих в казармах, которая ко всякому встречному обращалась с просьбой дать ему хотя один динар.

— Обещали мне выдать по приезде, а ничего нет! Думал послать жене, а теперь вот хоть самому умирать. Ну уж будет нашему брату, что вспомнить! Кабы знато да ведано.

Он, конечно, получит то, что ему следует (все получили!), но покуда это случится, покуда он случайно наткнется на человека, который получал сам и знает, как это делается, он в отчаянии, в негодовании, он ропщет и бранится и увеличивает собой толпу людей, точно так же ропщущих, недовольных, которые, запутавшись в этой бестолковщине, с тоски и с горя пьют, а в пьяном виде, с тоски и горя, делают бог знает что. Но это еще не все.

К числу элементов, портивших кровь и дух русского добровольца на чужой стороне, следует отнести также беспорядочность в выдаче обещанных разными комитетами денег.

Один из добровольцев, например, всю дорогу рассчитывал, что столько-то рублей он пошлет матери, столько-то оставит себе. По приезде же оказалось, что из денег, которые он должен получить, ему ровно ничего не следует, или же причитается такая сумма, которую можно только пропить. Такие случаи встречались поминутно: «обещали сто рублей, а дали грош» — фразу эту я слышал очень и очень часто. По-видимому, кто-то что-то такое обещал; быть может, об этих ста рублях доброволец слышал и не в славянском комитете, а где-нибудь в кабаке от случайного знакомого, не имеющего о деле никакого понятия, тем не менее слуху этому человек верил и, может быть, только веря ему, и пошел в добровольцы; когда же все мечты его оказались вздором, он, разумеется, не задумываясь, возвестил повсюду, что его обманули.

Усилению этих финансовых недоразумений много способствовало также и то, что провинциальные комитеты наделяли отправляемых ими добровольцев неодинаково: одни давали на руки, положим, по сто рублей, другие — по тридцати; одни давали на дорогу по рублю, другие — по тридцати копеек. Почему один получает больше, другой — меньше, хотя и один и другой одинаково оба отставные солдаты и одинаково служили по 25 лет

и теперь одинаково едут умирать рядовыми,— наш доброволец понять не может, да и не хочет: «Тут,— думает он,— все равны, отчего же ему больше, а мне меньше?» Очевидно, кажется ему, что тут какой-то обман или несправедливость,— и ропщет. Бывает еще и так, что в одном и том же отряде люди наделены неодинаково: так, я ехал с добровольцами одного провинциального отряда и слышал жалобы на то, что вот, мол, пятерым выдали одеяла, а четверым — нет, а купечество, мол, выдало на всех. Такой беспорядок поселяет личную рознь и неудовольствие даже между людьми одной и той же партии, и действительно, редко можно встретить такую партию, где бы добровольцы не препирались всю дорогу друг с другом, именно из-за этих бесчисленных недоразумений и недосмотров власть имеющих.

И опять-таки это еще не все...

Как видите, читатель, лицам, власть имеющим, было о чем позаботиться и что делать. Дела много, дела самого настоящего. Если бы даже был устранен весь беспорядок делавшихся здесь дел, то и тогда, и при полном порядке, их хватило бы на всех по горло. Так вот — нет же! К этому запутанному положению вещей поминутно присоединялись так называемые на Руси «неприятности», то есть совершенно ненужные и совершенно неуместные претензии, придирки, дерзости и т. д., на которые «и здесь», то там, то сям, поминутно натыкался не только русский, но и сербский доброволец...

— Вы почему же это, господа, не кланяетесь мне? — заявляет вдруг некоторое русское лицо, входя в столовую, где обедают русские же доктора. Любовь некоторых наших соотечественников, преимущественно «власть имеющих», идти наперекор делу и привычка усложнять его вздором или дерзостью, совершенно ненужною, поминутно заставляла «не добром» поминать русскую чиновничью школу. Слухи насчет этих ненужных деяний ходили в громадном количестве. Рассказывали о волонтере, просившем отправить его в Россию, человеке крайне больном, который в ответ на свою просьбу получил такое изречение: «взял деньги — так служи!» Я исписал бы несчетное количество листов бумаги, если б захотел передать все, что говорили, что ходило в кругу добровольцев по поводу бывших здесь порядков, но довольно и этого. Не спорю, все это, может быть, и вздор и ложь; для меня важно то, что все эти, быть может, ложные

и вздорные слухи ходили в кругу добровольцев, принимались ими к сведению, влияли на них, на их состояние духа, раздражали их. Если вы дадите себе труд сосчитать все, что перечислено мной, в объяснение дурного состояния духа русского добровольца, то, надеюсь, поверите (приняв во внимание, кроме того, и его жизнь дома), что, садясь в «колу», чтоб отправиться в армию, он не мог хотя на минуту не подумать о том, что «хорошо было бы теперь воротиться домой!».

III. ОТ БЕЛГРАДА ДО ПАРАЧИНА И НАЗАД

19-го октября на измученных, истомленных противоречивыми известиями, получавшимися каждый день из армии, жителей Белграда точно громом грянули невеселые известия об оставлении Джюниса. Погода числа с 15-го из теплой и ясной круто изменилась в холодную и дождливую; резкий ветер, слякоть и холод (на котором в это время лежали в Топчидере раненые) вместе с неудачной войной сделали пребывание в Белграде весьма тягостным. У многих явилась мысль тотчас отправиться к Делиграду и своими глазами «посмотреть» — что же это такое там творится? В числе таких желающих был и я. Х — в, известный русский купец-путешественник, собиравшийся уехать в Делиград на следующее утро, предложил мне ехать с ним, чем я и воспользовался; доставать «объяву» на право получения почтовых лошадей и дожидаться этих лошадей при страшном разгоне по дню и более — дело скучное и надоедливое; у Х—ва же была какая-то особенная объява, по которой ему должны были выдавать лошадей немедленно. Решено было выехать на другой день, 20-го рано утром.

В 9 часов утра лошади уже были готовы, и, несмотря на дождь и грязь, мы тронулись в путь. Сербскую природу и виды сербских городов и деревень, без сомнения, описывали столько раз, что я уже и не буду пытаться говорить о моем восхищении и людьми, и природою, и жилищами. Довольство, поистине незнакомое никому из русских, даже хорошо знающих Россию, даже имевших возможность видеть деревни «зажиточные»,— довольство, виднеющееся здесь повсюду,— вот что сразу и на первых порах поражало русских. Нигде, ни в России ни за границею, не приходилось видеть мне такого равного благосостояния, простора, достатка. Везде капризно

разбросанные каменные белые дома, построенные просторно, весело, в зелени, в садах; везде большие прочные амбары, риги, точно маленькие помещичьи усадьбы. Можно с уверенностью сказать, что никто еще из русских, живших здесь и писавших о Сербии, не знал ни Сербии ни сербов; но и самые ярые противники сербов соглашались в том, что благосостояние их не подлежит никакому сомнению; иные «из сердитых» говорили даже, что сербы слишком богаты, слишком зажирели, заелись, и что не мешало бы поспустить с них жиру. Действительно, серб нежен, даже изнежен, нервен, капризен. Зарычать на него, оборвать, окрестить хорошим русским словом — значит заставить его упереться, заартачиться; к несчастью, этот последний способ понуждения к исполнению требований очень широко практиковался здесь нашими соотечественниками и сильно вредил им во мнении сербов.

Недолго пришлось нам любоваться природой и довольством; со второй станции нам стали попадаться плохо одетые, видимо недовольные и неохотно направляющиеся в армию группы новобранцев последнего призыва. О выступлении в поход было объявлено только день тому назад, 19-го октября. Часов в 5 вечера, когда начало уже темнеть, по Белграду в разных направлениях ходили барабанщики и барабанным боем созывали рекрут, читали им распоряжение военного министерства о немедленном вступлении в армию. Это 19-го вечером, а 20-го утром, часов с 2-х дня, мы уже встречали этих новобранцев на пути, верстах в 30—35 от Белграда; чтоб пройти такой путь пешком, надо было выступить из Белграда в тот же день ночью,— можете судить по этому факту, точно ли правда то, что говорилось о сербской лени и неповоротливости.

Весь этот двигавшийся по размытой дождями дороге народ, очевидно, ушел, в чем был, не успев запастись теплым платьем, необходимой обувью и провизией; иные из городских мастеровых шли просто в одних сюртуках, довольно-таки плоховатых, в обыкновенных городских уже промоченных и хлебающих грязь сапогах; тут были действительно все возрасты: и старики, явно дряхлые, больные, и мальчики, почти дети, иные моложе даже 20-ти лет. Некоторые из них уже успели получить оружие, и некоторые, слишком юные и слабые, изнемогали под тяжестью старого кремневого или пистонного ружья. Один

такой мальчик, буквально изнеможенный, больной, весь в жару, плохо одетый и плохо обутый, до того разжалобил нас своим видом (он не жаловался никому ни на что), что мы упросили его возвратиться в Белград в русскую больницу,— что он и сделал после продолжительного раздумья.

Кстати сказать здесь два слова о больных, которые не ранены.— Вследствие холодов, недостатка одежды и дурного помещения (на позициях под Зайчаром сербские войска, в числе которых было много и русских добровольцев, двадцать четыре дня стояли под дождем и спали на голой земле, не имея другой одежды, кроме шинелей) количество больных внутренними болезнями увеличивалось с каждым днем в громадном количестве, и госпитали, находившиеся в Белграде, решительно отказывались принимать их, так как были завалены ранеными. Куда было деваться этим больным? Вы поминутно встречали на улицах Белграда добровольцев, еле передвигавших ноги, перебираясь из одного госпиталя, где его не приняли, в другой, где тоже не примут. Масса больного народа, из которых иные страдали лихорадкой, иных же мучили ссадины от кавалерийской езды, от седла, ссадины, превращавшиеся в громадные раны, люди простуженные, кашляющие — все это оставлялось на произвол судьбы и только по случаю попадало в госпиталь; большею же частию такой больной народ без всякого призора и внимания валялся где-нибудь в холодных казармах, леча себя собственными средствами, прикладывая к ранам и ссадинам всякую дрянь, или даже на улице, охая и трясясь от боли, перевязывал грязные, покрытые гноем, тряпки, которыми были обвязаны раны. По дороге от Белграда до Парачина поминутно встречались эти несчастные, громко вопиявшие о помощи, причитывая о своей двадцатипятилетней службе богу и государю, о своих стараданиях на позиции и о том, что вот болен, и нигде не принимают, и есть нечего. Действительно, людей — из русских, у которых нет ни копейки, которым буквально есть нечего — встречалось по дороге (и туда и назад), и особенно в Белграде, великое множество. Шли они, сами не зная куда и зачем, проклиная свою судьбу и Сербию и жизнь свою распроклятую.

Дождь и ужасный холод заставили нас остановиться на одной из станций и ночевать, то есть три или четыре

ночных часа продрожать в холодной, нетопленной комнате почтовой станции. Все это время с дороги доносился скрип телег, к свету превратившийся в непрерывный рев колес и голосов. Тронувшись в путь, мы узнали, что навстречу несчастным новобранцам, направлявшимся к Делиграду, идут из-под Делиграда и Алексинца внутрь страны массы семей, выбирающихся из сожженных турками деревень; из расспросов оказалось, что, несмотря на перемирие, черкесы в полную волю хозяйничают и грабят в оставленной войсками стране. «Турци! турци!» — отвечали некоторые из бежавших и показывали на горло, как бы говоря: «режут». Переселявшийся народ был в самом жалком виде; видно было, что он действительно «бежит», хорошо не зная еще «куда» и захватив с собою все, что первое попалось под руку, иногда совершенно ненужное и не ценное, например — дрова, кукурузную солому. Из этой соломы торчали детские головы, плохо прикрытые, а иной раз (и очень, очень часто) совсем не одетые, мокрые от дождя и синие от холода лица. Переселенцы эти вообще представляли раздирающую душу картину, хотя и плелись молча, не говоря ни слова, еле передвигая усталые ноги. С каждым шагом далее нашей почтовой тележке (коле) становилось труднее подвигаться вперед; к шедшим в Делиград и переселявшимся оттуда стали все чаще и чаще присоединяться группы солдат, возвращавшихся тоже из Делиграда. Боже милосердный, в каком были они виде, что был за костюм, что были за лица — зеленые, бледные, отеклые, обернутые тряпками! Буквально еле двигались они по глубокой грязи, в истрепанных мокрых опорках; почти в клочья изодранные военные шинели, от которых не осталось ничего, кроме лохмотьев и дыр,— вот примерно внешний вид возвращавшихся из Делиграда войников. Один этот поистине нищенский костюм, весь мокрый, запачканный грязью, говорит вам, сколько они перенесли трудов, пережили трудных дней, а больные, зеленые лица говорили, кроме того, о страданиях, лишениях, болезнях. Плелись они буквально еле-еле, шаг за шагом, и иной раз нельзя было не заметить, что этим измученным людям не по силам даже такая тяжесть, как ружье, которое он несет на плече и которое гнетет его и гнет к земле.

Кофейни, попадавшиеся на дороге, были буквально переполнены народом, большею частию солдатами; все это мокрое, рваное, без копейки в кармане, больное или

заболевающее, теснилось к огоньку погреться, чтобы опять шлепать по грязи и мокнуть на дожде. Среди такой-то безотрадной обстановки было поистине удивительно встретить двух россиян, которые как будто совсем не замечали, что тут такое делается. Это были певчие, тоже возвращавшиеся в Белград. Спокойно сидели они у столика в одной кафане, пили вино, говорили о своих делах.

— Вот часы выменял...— говорил один басом.

— Много ли дал?..

— Сам взял придачи дукат.

Рассматривают часы, хвалят.

— Куда вы едете?

— Да вот, *велено* здесь ждать! — весело, точно дети беспечные, отвечали басы — и, казалось, *ждать* для них — уже само по себе препровождение времени.

— Вот оцените часы, господа!

Точно никакой толкотни, ничего возмутительного, словом — *ничего* ровно кругом их не было, так были они спокойны, так спокойно попивали винцо и говорили о своих делах.

Ближе к Парачину поток людей, стремившихся туда и оттуда, шел буквально во всю ширину дороги. Целые ряды телег, запряженных волами и нагруженных разным скарбом, плелись в глубокой грязи по краям дороги; стада свиней и овец, которые переселенцы вели с собой, заставляли нашу колу поминутно останавливаться, и последнюю станцию, от Чуприи до Парачина, всего верст восемь-девять, мы ехали по крайней мере часа два, и с каждым шагом вперед, в эту все более и более беспорядочную массу людей, телег и животных, терялась и потребность и возможность сообразить — что такое это творится? Лошади шли и люди плелись туда, куда их вели ноги, словом — всякий двигался туда, куда его двигали, чувствуя, что ни соображать ни хотеть поступить так или иначе для него нет возможности. Такое поистине бессмысленное положение увеличилось во сто раз, когда мы, наконец, въехали в самый Парачин. Здесь волны народа, напиравшего в Парачин со всех сторон, бурлили как в омуте, и никто не знал, куда идти, что делать, куда ехать, а ехал, погоняя лошадь, и шел туда, куда его несло... Не думайте, что в этом омуте, в этой толкучке участвовало что-нибудь вроде страха или раздражения — ничего подобного не было; была потеря вся-

кой возможности о чем бы то ни было думать, что-нибудь чувствовать или о чем-нибудь говорить: стоит человек, стиснутый со всех сторон толпою, и ровно ни о чем не думает, словно чего ждет; толкнула его толпа, которую толкнула телега,— пошли, и стоявший тоже пошел, и идет до тех пор, пока другая толпа не повлечет его назад. Терялось даже сознание, что надо есть, спать: всякий вспоминал об еде, наткнувшись на съедобное, о сне вспоминал только тогда, когда ноги заносили его куда-нибудь в совершенно чужой дом, в чужую комнату, к чужой постели...

Представить всю стихийность этой наполнявшей Парачин толпы я не берусь. Добрые пять часов по приезде в Парачин находился я в этом удивительном состоянии — без всякой воли и желания двигаясь то туда, то сюда, ничего не желая и ничего не видя. Только случайно занесенный в какую-то комнату, где была толпа русских, я стал приходить в себя и задумался о своем приезде в Парачин. Когда я ехал, мне что-то было нужно; теперь я решительно не мог припомнить, зачем я приехал, что мне нужно и что такое творится.

В холодной комнате, наполненной табачным дымом, вокруг стола с бутылкою «лютой ракии» и остывшим куском баранины, заседали почти в тупом молчании несколько офицеров; поминутно входили новые, совершенно незнакомые люди, которые садились на что попало и молчали. Каждый из вновь прибывших, усевшись на каком-нибудь чемодане, продолжал сидеть на одном месте час, два, три — словом, бесконечное число часов, ничего не говоря и, по-видимому, ни о чем не думая. Никто не знал и не мог знать, зачем он здесь и куда пойдет отсюда. Если бы была возможность, я тотчас бы уехал из Парачина куда глаза глядят,— так с каждой минутой становилось тягостнее это бессмысленное положение.

Ужас объял меня, когда я вместе с другими поздно вечером вышел на улицу; темь была непроглядная, грязь — непроходимая; масса народу, людей конных и пеших; масса телег, скота продолжала наполнять улицу так же точно, как и утром. Все это шло и ехало взад и вперед, натыкаясь и толкая друг друга. Слышались ругательства, в грязи валялись пьяные добровольцы и проклинали свою участь. «И вот награда! И вот (крепкие слова) награда! Ах, вы (опять крепкие слова)...»

— «Арестовать его, каналью!» — слышался в темноте начальнический голос тоже с приправою русских слов... Нужно сказать, что, раз выйдя из тупой апатии, всякий делался зол и раздражителен. Таких озлившихся людей в обезмысленной толпе к вечеру было великое множество: всякий, кто вышел из себя, принимался отдавать приказания, арестовывал, ругался... Но и арестуемых, напившихся мертвецки, было тоже великое множество... В гостинице, где более всего столпилось народу (посреди Парачина, близ главной квартиры), слышался рев и визг: какого-то офицера, всего красного от злости и от лютой ракии, связывали и тоже хотели арестовать; он стрелял из револьвера в кого попало и колотил, кажется, тоже кого попало. Пьянство, холод, скука, злость, глупость, голод, дождь — все это спутывалось в нечто поистине невыносимое, мучительное до последней степени. Передать это мучительное состояние так, чтобы оно было вполне понятно читателю, я, право, не берусь. Бежать, вырваться на свет божий из этой тьмы кромешной — вот было единственное желание всех волею-неволею сбитых в кучу в такой маленькой деревушке, как Парачин. Ниоткуда не было видно никакой надежды, чтобы кто-нибудь пришел и помог разобраться, найти что-нибудь, уяснить, что будет, что надо делать... В штабе, в квартире главнокомандующего, говорят, шла такая же свалка. Являлись за наградами. «А мне-то? Этому подлецу даете, а мне?»

Чем свет, продрогнув ночь в холодной собе (комнате), отправился я искать колу, чтобы ехать назад. Я потом раскаивался в таком поспешном отъезде, но это было уже тогда, когда я выехал и очнулся от ужасного впечатления. Находясь в Парачине, ничего другого, кроме желания уйти отсюда хотя к туркам, куда угодно,— ничего другого чувствовать не было ни малейшей возможности.

Лошади по всей дороге заезжены и разбиты совершенно. Передавать, что было за мучение эта тиранская езда, тоже невозможно. Судите, что должны были испытывать раненые, которых также великое множество ехало по дороге к госпиталям, расположенным в Ягодине, Семендрии и т. д. Может быть, со временем, я найду в себе силы хладнокровно передать впечатления этих дней, но тогда этого невозможно было сделать. Тогда можно было только хвататься за голову и желать уйти из этого омута.

Между прочим опять пришлось встретить певчих. Сидят на какой-то станции вокруг столика, пьют, разговаривают...

— Куда вы?

— Едем в Семендрию, оттуда, *говорят,* на пароходе повезут.

— Как же вы сюда-то добрались?

— Попался мужичок, дал свою лошадь.

— Добровольно?

— Да, хороший человек, довез.

— А отсюда-то?

— Ждем вот... Доставят!

— Доставят?..

И не скучают, не скучая «ждут», попивая винцо.

Точно манна небесная такие физиономии среди этого ужасного пути.

В Семендрии все гостиницы были битком набиты народом, ожидавшим парохода. Кое-как мне удалось найти кровать на одну ночь за 5 динар; в комнате спало, кроме меня, еще два серба; я пытался разговаривать, но ни один из них не ответил мне ни одного слова, и я очень понимаю и вполне извиняю эту грубость и невежество.

Наконец-то мы дождались парохода. Все тут собрались, все великие и малые деятели, все знаменитости, герои войны и «сундучка», и всем было нехорошо и неловко.

Певчие также ехали на пароходе. Х — в повелел им петь. Они уселись на палубе, на ветру, и отличными голосами запели какую-то малороссийскую песню. Пели превосходно.

— «Перинушку», «Перинушку»! — просили их, и они немедленно спели и «Перинушку». Толпы русских и сербских оборванных добровольцев с удовольствием слушали стройное пение. Наконец, они спели «Боже царя храни». Всем страстно захотелось поспеть в Белград; по мере приближения пассажиры выбирались на палубу. Дунай был удивительно хорош при закате солнца... Какая гибель птиц налетела сюда! уток... нырков... Наконец, вот и Белград! Было совсем темно, когда мы приехали. Вся набережная была полна народа. «Ура! живио!..» — доносились оттуда на пароход. И все-таки было и больно и нехорошо на душе у всех.

IV. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

I

По заключении перемирия ни для кого не было уж тайной, что скоро последует и настоящий мир. Множество народу разом хлынуло назад в Россию, а оставшиеся в Белграде волей-неволей должны были присутствовать при неприятном процессе ликвидации всевозможных непорядков и недоразумений, накопившихся всюду и везде, во всех и каждом!.. Наряду с «отместками» за старые обиды,— отместками, иногда принимавшими размеры буйных свалок в кофейнях,— наряду с всевозможного рода ропотом, раздававшимся на всех и на вся, и притом повсюду,— кое-как, из пятого в десятое, шла сдача дел старыми уезжавшими начальниками новым, с раздражением и неохотою принимавшимся за испорченное дело. Писались отчеты, и как писались!

— Пишите,— говорит, например, составитель «такого» отчета фельдшеру, сидевшему с пером в руке.— Пишите: ножей пятьдесят.

Фельдшер пишет.

— В Чуприю — тридцать.

Пишет.

— В Иваницу — тридцать.

— Ведь это шестьдесят выйдет,— возражает фельдшер.

— Как шестьдесят? Ах да. Ну пишите так: в Чуприю — двадцать, в Иваницу — десять, в Прнявор... ну, хоть... штук восемь...

— Это вы так-то отчет составляете? — в изумлении спрашивает фельдшер, молодой впечатлительный человек.

— Да как же иначе-то? Я знаю, что сколько-то ножей дали, а куда — могу и ошибиться... Пишите: доктору Д. клеенки тридцать аршин.

— Ну уж этого я теперь писать не стану!

— Отчего?

— Да ведь я сам получил клеенку для доктора Д. и очень хорошо помню, что получено только десять аршин.

— Ну, пишите хоть и десять; я двадцать поставлю в Чуприю...

— Это черт знает что, а не отчет!..

— А вы думали, в самом деле, что ли, я должен

о каждой тряпке беспокоиться? Как же! Черт *с ним* совсем, я *ему* такой отчет составлю, что сам черт не разберет...

Тут есть, как видите, какой-то *он*; не общество, не общественные обязанности и деньги, а какой-то *он*, у которого утаскивают все эти ножи и клеенки и которого обмануть даже прямо следует.

Наряду с таким составлением отчетов и получением наград шло получение денег на проезд, пособий, вспомоществований и жалованья. Получали все (по крайней мере офицеры), и — сколько я знаю — получили действительно все до копейки, за все месяцы, и за проезд, и за приезд, и за отъезд,— и все-таки на белградских улицах поминутно встречались разного звания добровольцы, которые на каждом шагу обращались к вам с такими вопросами:

— Вы русский?

— Русский.

— Скажите, пожалуйста, где раздаются деньги?.. Я офицер... Нельзя же так!..

Или так:

— Вы русский, кажется?

— Русский.

— Скажите, пожалуйста, не знаете ли, не раздают ли где-нибудь денег?

— Где-то раздают.

— Где? Вот именно этого и не добьюсь! Я знаю, что раздают: быть этого не может, чтобы не раздавали. А где? Скажите, ради бога!

Иной раз наскочит на вас где-нибудь на улице или в кафане до последней степени раздраженный человек и прямо возопиет:

— Да нет ли *каких-нибудь* денег, черт возьми эту Сербию!

В конце концов, однако, можно сказать не ошибаясь, что получили решительно все и решительно все, что следовало. Даже и те из добровольцев, которых прямо надо считать людьми состоятельными, богатыми даже, и те получили и жалованье, и пособие на проезд, и по даровому билету на каждого из этих богачей. Была ли какая-нибудь «раздача» каких-нибудь денег простым добровольцам, солдатам,— не знаю. Знаю, что *на руки* им денег не давали, а чтобы во время дороги скрывать их от глаз Западной Европы, чтобы не дать пищи насмешкам

над русским некультурным человеком, их отправляли отсюда на баржах, прицепляемых к пароходу, как обыкновенно возят лошадей, телят...

II

Пора было уже и мне собираться домой, а собираясь покинуть чужую сторону, чтобы возвратиться на родину, я невольно раздумывал и о родине, и о чужой стороне, и о «старшем брате», и о младшем. «Вот теперь,— думалось мне,— на дворе стоит ноябрь, даже конец ноября, а этот младший брат живет в тепле и приволье: «припадок» зимы, случившийся в октябре и продолжавшийся несколько дней, прошел; теперь, в конце ноября, с 11 часов утра, смело отворяйте окна, и комната будет тепла от настоящего солнца, а не от дров. Теплый туман дымится по горам и рекам, теплый дождь мочит рыхлую, жирную землю... А старший брат, живущий, положим, в Петербурге, стоит теперь замерзлый, обледенелый; замерзли пятиэтажные дома, замерзли сверху донизу; снаружи замерзли водосточные трубы, внутри в стенах замерзли водопроводы; отвернешь кран — и из него несет 40-градусным морозом, гриппом... Замерзли двери, окна; замерзли, обледенели бороды, носы; птицы валяются мертвыми в еловых и сосновых лесах... А эта еловая или сосновая зелень, или, вернее, зелень, сделанная из елового и соснового дерева,— зелень на зиму и лето одна и та же (напасешься ли разнообразной и настоящей зелени на десятки тысяч верст, от Петербурга до Камчатки?)... Ух, как жутко жить старшему брату — от одного только климата! Не будь искусственных приспособлений, старшему брату, пожалуй, даже и жить бы нельзя было совершенно; младший растет на настоящем солнце, наш — на банном пару, дровяном тепле, на водке, которую также пьют «для тепла»,— словом, разводится так же искусственно, как искусственно разводятся цыпляты, рыба и т. д; помощью привозного образования — развивается его ум, мозг, которые без этого не много бы взяли, взирая и лето и зиму на сделанную из елового дерева зелень и мерзлых ворон... Иной раз, раздумавшись об этом предмете, невольно приходишь к мысли, что «весь старший брат» просто выдуман, искусственно разведен для уплаты иностранным банкирам процентов по займам... Конечно, такие мысли нельзя считать здра-

выми, но они приходят под впечатлением тех вообще довольно жутких условий, в которых живет старший брат и которые представляются здесь, в земле брата младшего, еще более жуткими... Уж одно то, что младший брат *может быть ленивым,* может не спешить, может думать об удовольствиях жизни, может прихотничать и франтить (полушубок у него расшит разноцветными узорами) — уж одно это как не похоже на старшего брата, у которого постоянный недохват, недоимки выше головы, который постоянно виноват, постоянно в работе, постоянно *«гонит»* куда-то, который не только не имеет возможности отдыхать или лениться, но, напротив, почти зауряд обязан совершать подвиги, требующие сил и энергии, немыслимых для обыкновенного, не искусственно приготовленного человека... Младший брат, сытый и с ленцой, не спеша плетется на сытых волах, в «свою» светлую, полную довольства «кучу»... Старший «гонит» от «кучи», по чужой надобности, гонит не евши, гонит на некормленной лошади, а иногда умеет тысячи верст ехать *на одном кнуте...* Кто не слыхал этого выражения: «всю дорогу, братец ты мой, на одном кнуте ехал!» Это значит, что для выполнения надлежащим образом упомянутой езды необходима была какая-то сверхъестественная, могущественная сила — кнут, так как естественных сил ни в людях, ни в животных, участвовавших в езде, не хватало; они были ничтожны и, только благодаря кнуту,— вытянулись в струну, напряглись до сверхъестественной силы и вынесли[1].

Ввиду обилия вот таких-то мелочных черт в характерах и нравах двух братьев, черт, свидетельствующих о значительной между этими братьями разнице решительно во всем, кроме общей для обоих потребности освободиться от подчинения западноевропейскому ходу жизни,— причем младший брат отлично знает это подчинение, а старший, хоть кряхтит от убытка, но откуда он идет не знает, а полагает только, что виноват тут волостной старшина или пьяница-прохвост писарь,— ввиду вот этой-то сложности явлений, обнаруженных сербским делом, размышления мои невольно опять при-

[1] Один русский «народный» балет, «Конек-Горбунок», весь построен на необычных свойствах кнута. Здесь волшебная палочка обыкновенных иностранных балетов заменена кнутом, который в течение 5 действий лупит всех и вся и достигает изумительных результатов. *(Примеч. Г. И. Успенского.)*

водили к вопросу о том, каковы-то «мы» были во всей этой теперь уже окончившейся истории.

Несколько лет тому назад, если помнят читатели, на Васильевском Острове, в Петербурге, было обнаружено варварское дело. Какая-то женщина, из личных расчетов, заперла другую женщину в темную комнату и продержала ее в ней целых пятнадцать лет. Только через пятнадцать лет кто-то совершенно случайно узнал об этом заживо погребенном человеке — и двери тюрьмы были открыты; заточенная женщина найдена была в ужасном положении; в грязи, одичалая, почти превратившаяся в скота... Я прошу читателя воспроизвести только впечатление, которое могла бы произвести на него эта женщина, если бы он сам увидал ее... Ну, так вот такое же впечатление произвел «средний» русский человек, хлынувший нынешним летом за границу... Повторяю еще раз, я прошу помнить только впечатление, производимое человеком, отвыкшим жить на белом свете, разучившимся жить, не говоря о причинах, которые отучили его от жизни — одичать можно и от страшного труда и от утомительнейшего бездействия, как одичала заточенная. Так вот именно, благодаря такой-то «одичалости», мне казалось, что большинство простонародных, да и благородных, добровольцев, попав в чужую сторону, например, в Австрию, были как будто сконфужены за себя, как был бы сконфужен обыватель мансарды, неожиданно перенесенный в бальную залу. Он ничуть не хуже этих расфранченных танцоров и тузов; он знает хорошо, что он умней, даровитей большинства их, но он будет все-таки растерян, так как у него нет каких-то пустяков для того, чтобы, не насмешив общество, дать заметить всем свои неотъемлемые достоинства: у него нет манер, у него худы сапоги, плох костюм, у него нет привычки говорить светским языком, а тот, на котором он привык изъясняться, никому непонятен и смешон; наконец, он нервно расстроен до того, что и притворяться-то человеком, знающим себе цену, не может; он не выдержит пяти минут того пустого разговора, который светский человек ведет целые часы, потому что ему противно, глупо; в конце концов такой человек вместе с полным презрением к «пустоголовым франтам», берущим внешностью, которая ровно ничего не значит, которую он, очень умный бедняк, мог бы легко приобресть, если б не был бедняк,— в конце концов такой действительно умный, действитель-

но в сто раз более правдивый, честный человек — всетаки будет чувствовать, что он подавлен прочностью самодовольства этих глупцов, самодовольства, не подлежащего для них ни малейшему сомнению.

Вот подобное-то ощущение, как кажется, испытывало за границей громадное большинство русских добровольцев. Они были сконфужены *прочностью* заграничного человека, его достоинством, его уменьем жить; были сконфужены, как дети, как ребенок, которому не подарили таких же фольговых часов, какие подарили его приятелю-ребенку. Значительный процент ссор между добровольцами во время дороги можно положительно приписать этому неловкому ощущению человека без манер, попавшему в общество с манерами; по крайней мере количество людей между простым народом, особенно нападавших на людей, не умевших себя вести, было... да прямо можно сказать, что каждый нападал на каждого за то, что тот пьянствует и скверно себя держит.

— Срамят, чисто-начисто срамят партию! — душевно убиваясь говорит старшой.— Нешто это Россия? Ведь в ведомостях пишут, пьяная твоя морда!.. Вот наказал господь!.. Двадцать лет отслужил богу и государю, честно, благородно, а тут не знаю, за что наказал господь батюшка,— в старшины к эфтим мошенникам выбрали... Спи! Сейчас спи! — ревет он на какого-нибудь мечущегося на нетвердых ногах по пароходной палубе добровольца.— Сейчас, приказываю тебе — ложись!.. Срамники этакие!.. Не хочешь?.. Погоди, я пойду графу доложу... Что это за наказание! Тьфу!..

И торопливо идет с палубы вниз, а здесь — буфет, где прежде, нежели попасть к графу, старшой, разгневанный поведением своих подчиненных, выпивает рюмочку, непременно, конечно, обругав немца за то, что немец долго ничего не понимал из русских разговоров и требований водки на русском языке.

— Шнапу! рюмочку... аль ты оглох? Им хоть говори, хоть нет!..

Явись граф или каким другим образом титулованный начальник партии, все начинают жаловаться друг на друга.

— Ваше сиятельство! Позвольте вам сказать... Как он смеет? Я стрелок... вот у меня ордена-то!

— Какой ты (такой-сякой) стрелок! — прерывает другой, ожесточенный голос,— ежели ты мараешь свою честь

на чужой стороне?.. У тебя, у дурака, должон быть крест во лбу, а ты пакостничаешь в чужой земле!

— Сам ты, старая ворона, нализался вперед всех. Погляди-ко вон на тебя-то как пялят глаза, на пугалу...

Явившийся разобрать дело начальник партии, если он не брал горлом (горлом-то брать стыдно перед иностранцами), непременно должен был уйти, ничего не добившись.

В продолжение дороги все пережаловались друг другу, друг на друга; я, человек посторонний, и то переслушал этих жалоб бесчисленное множество; всякому было противно неуменье вести себя не только в других, но и в себе, и всякий поэтому хотел убедить кого-нибудь, что он вовсе не похож на этого пьяницу; всякий норовил доказать, что он, хоть и выпил («Отчего не выпить для тепла, да ведь и то сказать: голову отдаем — авось можно?»), но что он не кто-нибудь, и лезет непременно за орденами в карман... Убедившись в том, что ни от начальника партии, ни от посторонних, ни, наконец, от самих себя нельзя добиться никакого результата, положительно все стали объяснять дело тем, что «некому жаловаться...».

— Нешто это Россия? Кому тут жаловаться будешь?.. Это не Россия, жаловаться тут некому... Нет! кабы жаловаться было кому, так я б тебе показал... в чем она ходит!

А иные, самые благообразные, просто сновали по палубе и в виду широкого Дуная, как бы в отчаянии, расставляли руки и говорили:

— Вся причина — некому жаловаться, ничего не поделаешь!

Но если бы, на счастье, и было в чужой земле что-нибудь такое, что могло бы воскресить вдали от родины представление о бараньем роге и о прочем в этом же роде, то и тогда едва ли бы доброволец наш мог бы вести себя как-нибудь иначе, то есть без постоянного питья вина и рому (некоторые умели пропить по 15 рублей в полторы суток от Пешта до Белграда, *пропить* буквально, не принимая пищи, как говорится, и «маковой росинки» в течение этих полутора суток), так как иначе нечем ему было занять себя; *проводить время* он не умел, так как никогда даже не знал, что это такое если не пьянство в кабаке или у Бореля — все равно. Ведь вот тут же ехали прусские солдаты, ехали также волонте-

рами в Сербию, также готовы были умирать — а сумели о чем-то проговорить друг с другом полтора дня и две ночи (спать было невозможно за теснотою); а у наших, оказалось, не о чем разговаривать: все разговоры свои они оставили дома. Оставили дома мы ропот на свою горькую участь, на несправедливость батальонного командира, ропот против жены, против тещи; оставили дома всего Островского, всего Решетникова — и нету ничего другого, хоть шаром покати! Человеку так пусто, так дико и так одиноко, что он тащит вам, постороннему человеку, свои ордена, говорит: «ведь я не кто-нибудь... я кавалер» — чувствуя, что так просто он ничто, и никто его знать не хочет... Ордена вытаскивали после двух-трех слов первого знакомства положительно все, у кого только они были. Всякий объявлял, что это он только так, потому что за границей, в штатском, а в сущности вы, пожалуйста, не пренебрегайте им, он капитан... О Сербии, об общем, кажется, деле почти не было разговоров (только под конец пути зашел разговор о славянском деле, и то потому, что на пароход сел серб, ехавший в Белград окольным путем из Болгарии с важными поручениями, и сам завел оживленную речь в общем смысле). Всякий был изломан и ныл про себя, чувствуя себя чужим среди иностранцев, которые (это обижало бессознательно) — также люди, да не те... Вот хоть мадьяры, простые мужики, целую ночь хором пели, да как пели, артистически; наших забрало за ретивое: «давай, ребята, нашу!»... Чуть не все сразу затянули «Вниз по матушке», и оказалось, что никто не знает песни не только до конца, а даже с пятой строки, то есть по окончании первого куплета, уж никто не знает, как дальше. Не в музыкальных школах спевались мадьярские мужики, спевались они, надо думать, в деревне; и наши тоже родились и жили в деревне, но, очевидно, некогда им было спеваться, заниматься пустяками, досуга не было... И затянули-то они кто в лес, кто по дрова... «Погоди, я им завинчу штучку!» — подзадоренный неудачей «своих» проговорил какой-то, по-видимому, бывший военный писарь и, проворно стащив с плеч одеяло, которым наградило его славянское общество, крякнул и затянул:

В пол-денный жар в овраги на Капказ-зи
В груди моей с винцом дымилась кровь.

Но и этот на втором куплете осекся, а уж врал — не приведи бог!

— Ах, забыл, как дальше-то... Погоди!..— Писарь вновь было начал сначала, но его перебил громадного роста мещанин, необычайно вертлявый, бывший сыщиком, драгуном и монахом и оказавшийся впоследствии плутом...

— Будет тебе нищего-то через каменный мост тащить! Ты погляди-ко, как я их, немцев-то, сразу разодолжу... У нас — по-русски, живо!

И повернувшись на каблуках, он довольно-таки бесцеремонно влез в самую середину мадьярского хора и, вопреки всяким смыслам, начал кричать кукареку... Мадьяры продолжали петь, не обращая внимания, думая, должно быть, что чудак опомнится, увидит, что мешает, и уйдет,— ничуть: чудак орал петухом и представлял всей свой фигурой поднимающегося на цыпочки и вытягивающего шею петуха. Мадьяры замолкли. Некоторые из наших — далеко, впрочем, не все — смеялись, а мещанин-петух также молчал и ждал. Мадьяры опять запели. Мещанин тотчас же опять заорал. Кончилось тем, что один из певцов, как бешеный, подскочил к нашему артисту и обругал его самым громогласным образом; наш мгновенно схватил его «за бочка», как «друга-приятеля», но венгерец весьма энергически отстранил его от себя. Хихикая, с ужимками и обезьяньими изворотами наш таки убрался. Немедленно принялись его ругать за неприличие, и так, ругаясь, все вместе пошли в буфет.

Выручил всех солдат.

— Эх, вы! — сказал он,— певчие! Ну-ко — нашу солдатскую! — И, притоптывая каблучками и повертывая согнутые фертом руки, пропел какую-то песню, в которой слышалось беспрестанно:

Полковые командирчики,
Батальйонные начальнички,
И батальйонные начальнички,
Штаб-и обер-офицерики!

С точностью не могу припомнить слов песни, но помню положительно, что, кроме какой-то радости от обилия начальства, выраженной музыкой песни, в ней было одно только перечисление разных наименований этого начальства, даже жен и деток господ начальников.

— Вот как у нас! — окончив песню (эта песня была

допета до конца), гаркнул солдат и, конечно, последовал в буфет.

По пути из Семендрии в Белград, как я уже писал ранее, мне удалось слышать «Вниз по матушке по Волге», пропетую чудовскими певчими. Что за слова чудесные, что за дивная музыка, но зато ведь чего и стоит чудовский хор московским купцам, но зато ведь и слушают их только за деньги. А так, в толпе, забываются и слова и музыка народных песен.

Так-то вот и скучно было русскому человеку на чужой стороне, скучно было ему потому, что и веселиться он не умеет, окроме как пить, к приятельству он не привык, окроме что тоже в пьяном виде, и живет он в лачужках, а не в таких деревнях-картинках, и разговаривать-то ему не о чем, окроме как жаловаться да искать места: нет ли где местечка, где можно было хорошенько пожаловаться на вольного человека? Не зная, чем взять перед немцами, один из наших (конечно, в пьяном виде) съел, напоказ своей удали, целую солонку с красным кайенским перцем и, обжигая рот каждым глотком, приговаривал (действительно, не моргнув глазом, не поморщившись):

— Вот как у нас... У нас нешто такой перец-то?.. Это разве перец?..

— Али съел?

— А то что же! Эй, ты, дай, еще фляшу шнапу!

III

Унылую эту картину позвольте заключить следующим отрывком из одного дневника.

«...А какие есть из них (из добровольцев) старые-престарые!.. По шестидесяти и более лет иным! Меня особенно заинтересовал один старик-доброволец, человек угрюмый, лет свыше пятидесяти, ничем не напоминавший солдата. Борода у него черная, по пояс; на голове сербская шапка, а весь остальной костюм — мужицкий, то есть мужицкий полушубок, мужицкие онучи, да сербские, тоже мужичьи, опанки. Поразило меня необыкновенно строгое и серьезное выражение лица,— куда как мало (не строгих, нет) серьезных-то, умом и мыслью, запечатленных лиц, да еще таких трезвых лиц, между нашим братом, русским добровольцем... Глянул я на его щети-

нистые густые брови и подумал: «ну, это, наверное,— настоящая Русь, беспримесная, нетесаная...»

— Сядь-ко здесь, родимый,— заговорил старик сам: — не слыхал ли чего?.. Как пишут-то: под туречиной христианству быть, али освобождение выйдет?..

Дело было в белградской крепости, где помещаются теперь русские добровольцы. Много их толпилось и сидело, как попало, близ казармы.

— Не знаю, дедушка, ничего не слыхать. Конференция, стало быть, совет такой, идет теперь: как этот совет скажет, так и будет...

— А как под туречиной оставит совет-то?

— Оставит, пожалуй, и под туречиной.

— А чего же христианство-то смотрит?

Поистине я глубоко смутился от этого простого вопроса, произнесенного хотя и старческим голосом, но освещенного искреннейшим гневом живых, умных, выразительных глаз. И что я мог ему отвечать? Подумайте-ко хорошенько, что я мог *серьезно* ответить этому серьезно проникнутому делом человеку, этой неломаной, нетесаной святой Руси? «Что же христианство-то смотрит?» — этот поистине грозный вопрос и сейчас звучит в моих ушах.

— Ты, верно, не солдат, дедушка? — не ответив путем на его вопрос, спросил я старика, необыкновенно меня заинтересовавшего.

— С роду в солдатах не бывал... Хрестьянин...

— От комитета приехал?

— Сам приехал, на свои... Не бывал в комитетах... Своих собрал деньжонок, распродался, приехал... Дорогой уж к партии пристал...

— Бывал в сражениях?

— Привел бог!

— Не ранен?

— Нет, бог миловал... Царапать, точно, царапали больно, до крови,— ну, а настоящих ран не получал, бог миловал.

— Как же так царапали-то?

— Да так; глянь вот, только снаружи... Вот погляди.

Он открыл плечо.

На плече был шрам, обложенный тряпицами; потом показал ногу (правую), икра ниже колена была прострелена.

— Вишь, как царапали-то! Все наружу выходило,

а так, чтобы нутренной раны — нет, не бывало... бог миловал.

Подивился я на эти царапины, оказавшиеся самыми настоящими ранами «навылет».

— Что же ты в больнице-то не лежишь?

— Лежал было, да бог с ней совсем... Там теперь погляди-кось, заботы сколько: кому руку, кому ногу отнять... страшно смотреть. Что мне! Моя болезнь — только всего грудь вот расшиб; ну, а в больницах не время этим заниматься...

— И грудь-то расшиблена?

— Грудь-то точно, что расшиб я... Это с Дюниша бегли... Горы, друг ты мой, и боже мой, какие горы! А тут так вышло, бег-то задом, все палил, отбивался... Так-то пятил-пятил, да на камень, что ли, на древо ли наткнись — и полетел кубарем под гору... *Сам ничего,* а грудь, надо быть, расшиб (он поминутно кашлял)... Вот в баньку бы сходить... авось отпустит.

— В больницу иди, а не в баньку... В больнице-то, гляди, и поправишься.

— Ну уж, чай, не справишь грудь-то... Лежал я... Страшно на мучения-то смотреть; нет, не пойду в другой... Чего там? Там и дыхать-то не свободно... Ишь тут-то каково любо... Вот Дунай-батюшка... Ишь, он какой!.. То-то гадал поглядеть-то... а теперь он всегда на глазах... Дунай-батюшка — великая, вольная река! да! Не запрудить тебя никому, право слово! Никому не запрудить, великий ты Дунай-батюшка!..

Мороз меня подирал по коже от того необыкновенно страстного тона, которым полна речь старика.

— Не то ты, Дунай великий, что малые реки... Те запрудят! Начнут кидать камни да песок, да навоз, да сваи вколачивать — и стала реченька... А великая река... Глянько, эво место!

Старик показал на то место, где Дунай, сливаясь с Савой, разлился просторно и широко.

— Удержишь ли этакую-то силу господнюю в неволе-то?..

Какая-то необычайная сила охватила меня, расслабленного, расслабленной сербской возней. В течение трех месяцев я в первый раз увидел, что есть смысл в деле, за которым я приехал сюда, в первый раз дело это показалось мне свято и велико. Каждое слово старика, который под малыми и великими реками разумел нечто

другое, точно волшебством каким укрепляло и оживляло меня. Широко и здорово как-то чувствовалось от этих простых речей.

— И народ-то — то же самое... Малый народ христианский в неволе, что речка малая. Запруди ее — и не вырваться ей из неволи-то... силушки-то нету у ей... Не хитро малые-то народы в неволе держать... А великие реки, хоть Дунай, хоть Волга великая река, как поналягут они на запруды, да на кольи вбитые...

Старик долго, хотя и несколько тяжеловесно, но умно и убедительно вел свою параллель между великими и малыми реками и народами, но я не буду приводить ее здесь, так как и после трех-четырех строк стариковских речей, приведенных выше, мне уже читатель не верит.— «Таких стариков нет,— твердо произносит он и добавляет: — то есть, пожалуй, такие старики и есть, но уж чтобы разговаривать так о таких высоких предметах — уже это присочинено». Русский человек не верит, то есть отвык ценить свою собственную мысль, не верит, что она что-нибудь вообще значит, хотя для него самого; не верит даже, чтобы кто-нибудь, а тем паче простой мужик, мог рассуждать и поступать; русский человек знает, что рассуждай не рассуждай, а всегда выйдет по-другому, и вот эти-то другие (не свои) мысли он и считает настоящими... и, я убежден, «даже любит», когда всем его собственным мыслям и планам настоящие, «другие», мысли вдруг дадут, как говорится, «по шапке»... Я уверен, что он уж полюбил эти удары.

Солнце садилось; Дунай весь блистал золотом, слегка начинавшим затуманиваться поднимавшимися от воды, вечерними испарениями.

— Вот под вечер дыхать-то уж и несвободно! — прошептал старик, задыхаясь от мокроты: — не пущает в груди-то!

Я проводил старика до казармы и, простившись, подошел к другим добровольцам, чтобы спросить — кто такой этот старик?

— Раскольник!

Все отозвались о нем с полнейшим уважением.

— Больше начальника почитаем! — сказал один.

— Вот грудь-то расшиб,— жалели другие: — расшибся-то весь — грех какой... Теперь уж, знамо, никуда не годится...»

Этим симпатичным типом добровольца-крестьянина и я закончу мои беглые и невеселые заметки.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

(Страницы из одних записок)

I

Года полтора тому назад печать и общество были, если помнит читатель, одно время сильно заинтересованы так называемым куприяновским процессом, разыгравшимся в нашем богоспасаемом городе и сразу занявшим в ряду рязанских, харьковских и других, родственных по своему внутреннему содеражиню процессов — весьма почетное место. Подобно своим достойным сотоварищам, начался он от совершенно ничтожного обстоятельства, так сказать, загорелся от копеечной свечи и, быстро достигнув громадных размеров, вытащил на божий свет великое множество самых темных и скандальных дел и делишек, совершавшихся, как оказалось, в среде так называемого образованного общества.

Я не имею намерения перечислять здесь все темные и скандальные дела этого процесса, так как, помимо утомительности этого труда, интерес скандала не имеет ровно никакого значения для предлагаемых читателю записок. Для пишущего их вся эта вереница обнаруженных безобразий интересна исключительно только относительно тех непривлекательных, но подлинных, неподдельных, ничем не прикрытых желаний, целей, жизненных руководителей, которые обнаружились, благодаря процессу, в человеке, обязанном, казалось, руководствоваться более широкими, более светлыми целями и желаниями...

Вялый, не всегда аккуратный исполнитель тех идей, за которые платит начальство, не сумевший наполнить своею личною волей даже тех пространств, которые отведены и дозволены для этой воли, слишком терпеливо скучающий с своими приватными идеями,— этот вялый, бесхарактерный человек вдруг оказался и смелым и сильным, ни пред чем не задумывающимся, ничего не

шадящим на своем пути,— в таких делах и делишках, где не требовалось никаких, ни оплачиваемых, ни неоплачиваемых идей, где не требовалось ничего, кроме самых грубых, животных аппетитов.

Все обилие скандалезных и темных дел процесса показывало именно всю ничтожность этих аппетитов, которые все сию минуту можно перечислить на трех пальцах, так их мало, так они просты и первобытны... Глядя на ничтожность той сферы, где интересующий нас человек является полным хозяином,— невольно становилось страшно за микроскопические размеры, до которых доведена личность этого человека. Боже милосердный, как он мал, этот человек! Разумеется, с такими средствами и оплачиваемые и неоплачиваемые дела вечно будут оставаться без результата или очень остроумно сводиться на ноль...

Вот каков был смысл этого процесса.

Много было по поводу его шуму и толков, но ни на кого он не произвел такого сильного впечатления, ни для кого так много не значил,— как для пишущего эти строки. Впрочем, быть может, и я бы, подобно другим, впоследствии позабыл его,— если бы сам не попал в этот процесс каким-то свидетелем каких-то пошлостей и, благодаря этой неожиданной связи с очень маленьким человеком, не задумался о себе, о подлинных размерах моих сил, моих личных желаний,— сравнительно с теми, которые признавал я за собою до сих пор.

Я позволю себе два слова о том, чем именно был я до сих пор.

Лет шесть-семь тому назад один из моих деревенских соседей, человек, не отличавшийся никакими умственными богатствами, совершенно случайно так метко определил мою особу и мою профессию, что кличка, данная им мне, признана за мною всеми единогласно, и я ношу ее в моей семье и в кругу соседей даже до настоящего времени. Подъехав как-то вечерком к воротам моего хутора, он попридержал лошадь и просто от нечего делать спросил дворника: «Что, дома ваш... *читатель-то*?» Случайно мне пришлось видеть из окна физиономию дворника: не более одной минуты на лице его было как бы некоторое недоумение, происходившее, очевидно, от незнакомого слова *читатель*; но это краткое недоумение почти мгновенно заменилось светлой улыбкой, какая бывает, например, когда у трудной загадки оказывается

самая простая разгадка. «Читатель-то? — весело переспросил он,— дома, дома, да вон они»,— и он указал на меня. Я видел, что это слово пришлось ему по вкусу,— отворяя гостю ворота, он продолжал улыбаться... «Читатель! — казалось, думал он,— вот что...» И он понял, что именно этого слова недоставало ему для того, чтобы разрешить себе все недоумения относительно моей особы. Ему стало ясно, отчего я не хожу по утрам в конюшню, не веду разговоров с лошадьми (их, впрочем, немного), не торгуюсь, не меняюсь, как делал бы всякий барин моих лет, не принадлежащий к особенно знатной семье. Ему стало ясно, почему это если и забредет этот барин в конюшню, то, вместо разговора о деле, продолжает смотреть в книгу, которую потом долго ищут по всему дому, пока сам дворник Петр не предъявит ее, объявив, что вот, мол, нашел что... Теперь он знал, что все это оттого, что это не барин, а *читатель*... Подобно дворнику, с появлением этого меткого слова — поняли меня и жена, смотревшая на меня с каким-то недоумением чуть не с первого дня брака и, кажется, втайне считавшая меня за сумасшедшего, и теща, при всем ее уме до сих пор затруднявшаяся сказать обо мне что-нибудь определенное и невольно разделявшая, кажется, взгляды моей жены... «Читатель!» Это слово объяснило им все: вот отчего я помещик, но не занимаюсь хозяйством, вот отчего я отец семейства, но как будто не забочусь о детях, муж, не выказывающий никаких, ни хороших, ни дурных качеств мужа,— теперь все это стало понятно; скоро и соседи, когда до них дошло это слово, поняли, отчего им не о чем со мной говорить, отчего я не езжу в гости, отчего, когда эти гости приедут ко мне,— вдруг, среди беседы, скроюсь и оказываюсь спящим так, что не могут добудиться... За соседями из благородных поняли соседи крестьяне, и в очень короткое время кличка *читатель* осталась за мной навсегда. «Я у *читателева барина* пять с полтиной получал, что вы?» — торговался мужик, нанимаясь к соседу. «Ишь *читателевы* теляты-то как отощали!» — говорит другой. Пошли «читателевы хомуты», «читателевы родители» и т. д.

Особенно старательно занималась укреплением этой клички за мною матушка моей жены, женщина удивительно даровитая. Природный юмор ее вдруг проснулся от одного прикосновения этого меткого слова, и нельзя не сознаться, что она сумела разработать этот эпитет в са-

мую смешную, нелепую сторону. Вот пришел дворник Петр и объявляет, что сегодня ночью пропали хомуты. «Давича с забором, теперь с хомутами! То забор завалился, то хомуты пропали... Пропали! — будто бы с негодованием отвечает на это заявление моя теща.— Неужели вы не можете понять, что барину вашему с одними заграничными делами только-только впору справиться, а не то чтобы еще и этакой, прости господи, дрянью заниматься... Хомуты! Ты бы поглядел, как он, бедный, сегодня с приятелем всю-то, всю-то ночь убивались, успокоиться не могли до шестого часу: всё хотели сделать во вред французскому начальству... Иная какая-нибудь дура-жена прямо бы вышла да огрела бы по шее и гостя-то и барина-то, чтобы они не орали по ночам да не пугали детей, а мы, батюшка мой,— как можно! Я вон как пьяная хожу, глаз сомкнуть не дали всю ночь, покуда у самих языки-то, должно быть, не окостенели. А ты лезешь с хомутами». «Аль вы проснулись? — необыкновенно ласково и весело восклицает она, адресуясь иной раз непосредственно ко мне...— А тут гости приезжали и, представьте, какие невежи, обиделись! ехали за пятнадцать верст, всей семьей, думали, как у других у соседей,— чаю напиться, поговорить,— а вы спите на самом на парадном диване... Я подвела Ивана Ларивоныча,— «вот, говорю, до чего утомлен заграничными беспокойствами, что среди бела дня свалился... Говорю: такие беспокойства имеет, такие беспокойства, что вот уж, кажется, спит, а и то весь в ведомостях, весь в газетах. Уж извините», говорю... Плюнул даже, невежа... А вы из этих, из газет-то, только личико свое прекрасное показываете, ровно вот как иной раз свиньи, ежели, знаете, зарываются в грязи...» Иногда она как бы выходила из терпения, и тогда юмористическая речь ее принимала оттенок некоторой серьезности. «А что, Иван Андреич, как вы думаете, что ежели, храни бог греха, да как-нибудь ночью, нечаянно, вспыхнут эти ваши ведомости и депеши, что тогда можем мы сгореть или так пройдет?» Но неудовлетворительность ответов с моей стороны делала этот тон совершенно бесполезным, и ей оставалось одно — по-прежнему только подтрунивать надо мной... «Что это какой я сон странный видела сегодня,— сидя за утренним чаем, начинает Марья Ивановна, искоса бросив взгляд в мою сторону.— Вижу, будто бы в детской потолок эдаким манером провалился и всех ребят

и нас — всех задавил... Что бы это значило? Уж не к плотнику ли? Да нет! ежели бы за плотником посылать, так уж давно бы пора было. А то не посылаем... Нет! стало быть, надо понимать на другой манер... Уж все ли за границей благополучно? Помилуй бог!.. Иван Андреич! Нет ли чего об этом в газетах? Успокойте, пожалуйста...» И т. д.

Вообще кличка «читатель» имела в себе, несмотря на очевидную насмешку, некоторую долю правды. Иностранные беспокойства действительно приобретались мною почти помощью беспрерывного чтения и рассуждения над вопросами, ничуть не похожими на рассуждение о пропавших хомутах, о проваливающихся потолках, о неудовлетворительности исполнения помещичьих, супружеских, родительских и тому подобных обязанностей. Мысль моя, под влиянием непрерывного и разнообразного чтения, постоянно держалась на такой высоте, что оттуда все эти обязанности, хомуты, потолки и другие будничные заботы и явления представлялись мне как бы в тумане или как вещи, которые теперь неизбежны, но которых не должно быть... Ждать этого, по-видимому, я мог довольно терпеливо. На этой высоте, в этом далеке я не ощущал даже собственного своего веса, не замечал самого себя до тех пор, покуда не брякнулся в куприяновское дело, которое и показало мне этот вес, поставив на одну доску с «очень маленьким человеком», вследствие чего вся прошедшая жизнь моя приняла совершенно другой цвет.

Мне стало приходить в голову, что обилие и превосходное качество идей, исповедуемых мною, ничуть, однако ж, не мешало быть мне самому вовсе не тем, чего бы требовали эти идеи. Так, не исполняя всех помещичьих обязанностей, я тем не менее был все-таки помещик, жил на чужой труд, ел не заработанный хлеб и не замечал этого... Я не замечал, как пропадали хомуты, не интересовался тем, кто подал прошение становому об разыскании воров, но не замечал также, что мне бы должно быть очень горько при известии, что хомуты найдены, а воры схвачены и сидят... Нет, стало мне казаться, мои идеи не составляли моей жизни, иначе как бы могло случиться, что вокруг меня в течение тридцати пяти лет во имя их не изменилось ничто ни на один вершок, что, как и тридцать пять лет назад, становой охраняет мою собственность, а рабочий своим трудом дает мне хлеб. Правда,

во имя исповедуемых мною идей я постоянно желал предпринять нечто очень большое, но всякий раз находилось множество весьма основательных доводов, вследствие которых я не предпринимал ровно ничего. Единственное воспоминание, имевшее для меня кое-какое оправдательное значение,— шесть месяцев занятий в сельской школе,— представлялось мне такою ничтожною попыткою делать дело, что я охотно объяснял ее теперь простым желанием не делать ровно ничего...

Все эти соображения показали мне, что между мною и маленьким человеком существует самая неразрывная связь: обоим нам не пошли впрок ни дозволенные, ни недозволенные идеи: ни в тех, ни в других мы не были заинтересованы жизнью, довольствуясь очень малым, с тою разницею, что я был этим малым очень доволен и был вполне спокоен, а маленький человек выделывал разные штуки, проявлял в них удивительную природную даровитость; в остальном мы были равны. Это меня глубоко опечалило... Под влиянием глубокого личного огорчения я невольно должен был задуматься и о других таких же маленьких, как и я, людях, у которых,— как доказали проделки процесса,— есть и сила, и ум, и воля, которые почему-то проявляются покуда только в области самого мелкого эгоизма, делающей жизнь скучною, мертвою, и, вопреки здравому смыслу, ровно ничего не делают в пользу тех идей, которые могли бы сделать жизнь — жизнью, которые носятся в воздухе, которыми нельзя не дышать даже самым отъявленным зверям куприяновского процесса.

Все, что придумалось и припомнилось мне в ту пору, я и хочу теперь изложить в этих записках, соблюдая в изложении моих впечатлений тот порядок, в котором они следовали одно за другим.

II

«Умереть!» — вот что сидело у меня в голове, когда я выходил из залы нашего окружного суда после того, как она огласилась рукоплесканиями по случаю полного оправдания всех подсудимых по куприяновскому делу. «Зачем жить, зная, что ничего не можешь, что даже ничего не хочешь?» — твердил я себе в каком-то столбняке, шлепая по грязи среди темной августовской ночи... Только что вынесенные мною гнетущие впечатления и темная

неприветливая ночь, с мертвыми улицами и глубокими лужами, спирали дыхание, теснили грудь... Мне страстно хотелось воздуха, явилась неотложная потребность уйти куда-нибудь непременно, сейчас же... Как-то добрел я до гостиницы, где ожидала меня жена, что-то говорил ей в объяснение необходимости моего немедленного отъезда и уж не помню, как очутился потом на пароходной пристани.

По счастью, у пристани стоял большой американской системы пароход, остановившийся ночевать благодаря очень значительной особе, занимавшей на нем весь первый класс. Я мог уехать... Много народу спешило воспользоваться этим случаем и толкалось на пристани с узлами, подушками, чтобы пораньше занять местечко и залечь спать. Много народу плелось так, от скуки, поглядеть особу и выпить рюмочку. Меня долго толкали взад и вперед, и так как, пораженный столбняком, я вовсе не думал сопротивляться этим толчкам, то иной раз ноги мои заносили меня вовсе не туда, куда мне было надо. Я бы очень долго не попал на пароход, если бы случайно меня не втянула в свои недра кучка народу, направлявшаяся туда, и, подхватив меня под бока подушками и сундуками, не доставила прямо в верхний этаж, где помещаются первый и второй классы.

В первом классе, с опущенными на окнах занавесками, пропускавшими довольно сильный свет, к которому льнули любопытные глаза, помещалась особа. Во втором классе было шумное общество. В табачном дыму можно было разглядеть несколько лиц, севших на пароход из нашего города. Всех, очевидно, занимал только что окончившийся процесс, о чем я тотчас же догадался, услыхав две, три знакомые фамилии, с прибавлением не совсем лестных эпитетов. Эти толки не могли быть интересны для меня, которому процесс задал такую нравственную муку,— я ушел из каюты и, выйдя на галерейку, идущую вокруг всего второго этажа, сел здесь на лавочку. . За спиной моей лежал по склону горы темный, скучный город, впереди тусклый отсвет Волги, которая по временам хлестала в пароходные бока, а в голове тянулся ряд нестройных тягостных мыслей. И вот что, сидя на той лавочке и припоминая путь, по которому я дости до куприяновского процесса,— вот что припомнилось мне о житье-бытье очень маленького человека, угнета-

емого очень маленькими целями среди довольно больших идей, которыми пропитан воздух...

Прежде всего я должен сознаться, что общество, в котором возможны куприяновские истории, весьма понравилось мне при первом с ним знакомстве. Мне пришлось встретиться с ним после продолжительного пребывания в деревне, где у меня очень долгое время не было ни единого человека, которого я бы мог взять за пуговицу и, продержав таким манером около себя часа два-три подряд, излить на него все мои не подходящие к окружающей действительности и никем не разделяемые заботы.

И вот, наполненный этими заботами, однажды отправился я в город с весьма простыми хозяйственными целями: нужно было купить чаю, сахару, свечей и т. д., о чем у меня хранилась подробная записка, в конце которой была прибавлена убедительная просьба: «не забыть и поторопиться», ибо иначе весь дом будет сидеть без продовольствия и освещения. Ехал я за покупками, думал, разумеется, о чем-то вовсе не соответствующем моей простой миссии и прибыл в город, но о покупках забыл совершенно и вспомнил о них только через два дня после приезда.

Произошло это именно оттого, что общество, с которым мне пришлось познакомиться, произвело на меня самое приятное впечатление, отодвигавшее всякие мелочи на задний план. Закадычных друзей-приятелей у меня не было в городе, но было множество знакомых, которых я знал и которые меня знали.

Тотчас по приезде я случайно встретился с одним из таких знакомых; этот знакомый повел меня к другому знакомому, ночевал я уже у третьего, а завтра шел с ним к четвертому; так прошли два дня, но я не заметил их — и вот почему именно: несмотря на разнообразие профессий, которые занимали посещаемые мною люди, все они, как мне показалось тогда, вполне разделяли вышеупомянутые мои заботы, которыми я, как «читатель», был постоянно проникнут, все они понимали их и даже как будто бы только что думали о том, о чем думал я. Положительно среди этих новых знакомых не было ни одного человека, который бы не высказал самых новых мыслей, и что особенно подействовало на меня тогда, так это то, что новые мысли разделялись людьми, профессии которых, по-видимому, и были учреждены собственно затем,

чтобы мысли эти прекращать. Мне, как человеку, удаленному от интересов действительности, было весьма удивительно видеть такое обилие свободно мыслящих людей, и самое противоречие между свободомыслием и профессиею казалось мне в то время еще большим доказательством успеха новых идей, которые, как я думал, проникают уже в сферы явно им враждебные. Под влиянием этого-то свободомыслия я забыл совершенно о покупках, о продовольствии и, уж не могу сказать почему, стал крепко подумывать о поездке за границу, во Францию. Впрочем, не один я задумывал об этой поездке,— очень много людей, из числа моих новых знакомых, тоже хотело со временем ехать туда же...

Повторяю, я вспомнил о покупках спустя два дня после приезда, когда увидел перед собою некоего Федосеева и услыхал кое-что из его разговоров. Федосеев этот — человек просто голодный. Он нигде не кончил курса, нигде не нашел места, а между тем он здоров, молод, имеет огромный аппетит и очень мало средств к удовлетворению его. Аппетит его, разумеется, направлен к хорошему иску — но иска нет. С утра до ночи он бесполезно шатается по всем местам, где есть хорошие иски, где глотают хорошие куски, и злость его к окружающему возрастает с каждым днем. В стареньком пиджаке, плотно облекающем его плотное юное тело, он мрачно пробирается в какой-нибудь суд или съезд с маленькой трубочкой какого-то копеечного векселя в больших красных руках, исподлобья оглядывая идущих и едущих; ему кажется, что каждый из встречных только что проглотил какой-нибудь очень жирный кусок, целую деревню, купца с пароходом и т. д. «Чем я хуже их?» — горько жалуется он своей старушке-матушке и, сравнивая *ихние* аппетиты, *ихние* приемы и взгляды на все и всех с своими, находит, что ему не хватает только костюма, ибо в остальном он ничуть от них не разнится и все понимает точно так же, как и они, хоть и не имеет на это диплома.

Я решительно не заметил, когда и как около меня очутился этот Федосеев, но помню, что он бродил со мною по всем моим новым знакомым и говорил про них, оставшись со мною наедине, что-то вроде следующего:

— Во Фран-ци-ю-у? Это Иван Иванович-то едет? ха-ха-ха! Да у него здесь пять содержанок... Чего ему еще?.. Или еще, может быть, каких-нибудь мужиков обделал, денег много сграбил?

— Каких мужиков обделал?

— Должно быть, каких-нибудь обделал,— мало ли их... Намедни вон с кузминских пятьсот рублей неустойки взыскал,— полчаса опоздали с деньгами...

— Кто это взыскал?

— Да все он же, Иван Иваныч,— я сам был тут, видел... Он им показывает часы — половина первого, а у ихнего ходока без пяти двенадцать. «У меня часы по суду поставлены». И взял... Я теперь эти деньги с него взыскиваю,— да что!.. Хоть бы в самом деле уезжали уж, что ли, во Францию-то...

Подобным образом Федосеев относился ко всем почти моим новым знакомым и всегда рассматривал их с какой-нибудь совершенно неожиданной для меня точки зрения. Взгляды его, разумеется, были крайне узки и пошлы, но хотя я и понимал это, однако настойчивость и постоянство, с которым Федосеев их высказывал, невольно незаметно повлияли и на меня, и я волей-неволей должен был обратить на них внимание, так как и сам невольно припомнил такие мелочи, которые как будто бы подтверждали, что в этом свободомыслящем обществе есть какие-то шероховатости. Так припомнилось мне, что когда я входил в кабинет одного из весьма приятных молодых людей, последний вел какой-то весьма оживленный разговор, из которого у меня в памяти осталось несколько весьма отчетливо произнесенных слов, что-то вроде: «Принес?» — «Ваше высокое...»— «Рта не открою, покуда все сполна... А-а-а! — приветствовал молодой человек меня,— причем все выражение его лица заменилось выражением гражданской скорби.— Читали?» — с грустию указал он на газету, и пока я читал, он поспешно окончил разговор с мужиком в передней и, воротившись, начал, по поводу газетного известия, один из тех разговоров, которые так пленяли меня.

— Явите божескую!..— между прочим донеслось из передней, когда я брал газету.

— Сполна, сполна!

Припомнилось мне еще, что в другой раз, в другом, не менее симпатичном для меня кругу, где шел разговор о женском вопросе, причем было много высказано самых новых мыслей, с которыми согласны были *положительно все* присутствовавшие, кто-то, во время закуски, упомянул о некоей девице, отправившейся в Петербург, в академию. «Ну-ну,— проговорил еще кто-то, прожевывая

бутерброд, после второй рюмки: — это академики, батюшка, нам очень коротко известны: просто поехала родить...» Последовал хохот, после которого кто-то сказал: «Что за вздор, не может быть, я никогда не поверю». Я тогда не заметил этого, даже, кажется, сам засмеялся, когда расхохотались все; я не вник тогда хорошенько в эту болтовню за закуской, у меня было в голове что-то другое. Но теперь, под влиянием тлетворных разглагольствований Федосеева, мне все эти мелочи и много, много еще других подобных мелочей припомнились и зародили во мне некоторое недоумение, очень тщательно поддерживаемое Федосеевым.

— Не поверит,— как же, так он и не поверил! — злобствовал Федосеев, припоминая слова того господина, который высказал недоверие, распространяемое невежами относительно женщин.— Подите-ка спросите у его жены, каков он, насчет синяков например.

— Что вы, Федосеев, с ума вы, что ли, сошли? какие синяки?

— Что мне с ума сходить! Синяки самые настоящие... какие же еще они бывают. Вы подите спросите у нее,— он вам порасскажет кое-что. Он ведь ее в Москве бросил, когда получил место-то сюда,— она из простых, из швей; ну, а здесь он как приехал, и стал ухаживать за Ломовой,— дочь богача-рыбника. Совсем было дело ладилось, вдруг эта московская-то и приезжает... Она вам сама расскажет...

С каждым днем разладица в состоянии моего духа делалась заметнее и ощутительнее, но все-таки не было никакой еще возможности решить, чего больше в этих людях, веры ли в сундуки купчих Ломовых или в женские вопросы, в судейские ли часы или в право ближнего опоздать и не платить того, что по совести платить не следует.

Определить настоящее, подлинное покуда не было никакой возможности, потому что всевозможные грубые вещи, сообщаемые Федосеевым, объяснялись моими знакомыми с самой интересной и неожиданной точки зрения. Например. Не кажется ли вам несколько странным воспользоваться просроченными минутами и, не принимая в расчет ничего, кроме права получать деньги,— получить эти деньги? А между тем, когда вам объяснит это дело тот, кто его сделал, то оно выйдет совсем не то; по этому объяснению выходит, что сдирание таким

образом денег может благотворно повлиять на народ, который, изволите видеть, наконец сообразит же, за что это дерут с него, и... ну, и т. д.! Вам странным покажется, почему это один из ваших друзей, занимающий довольно видное место в новом суде, решается обвинять какого-то странного человека, из религиозных теорий собственного сочинения положившего себе быть молчальником, то есть просто молчать на все вопросы, обращенные к нему людьми какого бы то ни было звания; странным и несправедливым покажется вам, что это больное существо обвиняют в анархии, в неповиновении и, благодаря ловко подделанным фактам, сажают в острог или ссылают в Сибирь. Федосеев говорит, что это не в первый раз, что прошлым годом, когда в суде присутствовала знатная особа, имеющая власть, наш новый друг показал себя еще более ревностным слугою порядка,— но Федосеев невежа, умеющая видеть только дурное, а сам автор этих анархий, сам он вот что говорит: это, по его мнению, тоже как и по мнению адвоката, единственный путь, единственная возможность расшевелить, заставить думать и т. д. Вот как умно и ловко объясняют они свои подвиги, и не знаю, как другие, но я, как «читатель», некоторое время верил этому и чуть не с умилением смотрел, как они, продолжая быть свободомыслящими людьми, ловили карманы на просроченных минутах, отыскивали анархии, получали крестики и т. д., даже попросил Федосеева больше не бывать у меня.

И несмотря на то, что этот злой дух оставил меня и не смущал более моего веселого расположения духа,— подлинные верования продолжали выясняться все более и более. Шила в мешке не утаишь! И кто же обнаружил или по крайней мере дал мне возможность увидеть если не всю правду, то большую ее часть? Они же сами, мои новые знакомые, они выдали себя с руками и ногами. Как ни были они согласны друг с другом в объяснении своих дел (как видел читатель, анархию и просрочку они объяснили почти одними и теми же соображениями), но ни один из них не верит ни на волос словам другого. Едва я одному из моих новых приятелей объявил, что человек, напавший на молчальника, объясняет этот поступок так-то и так,— как тот, которому сказал я это, тотчас же усумнился.

— Ну не думаю,— сказал он...— Это говорит Иван Кузьмич?.. Навряд, чтобы общественная польза руко-

водила им... Я, конечно, очень и очень ценю его ум и вообще,— но вот прошлый год какая вышла история...

История была такая, что оставалось только развести руками.

В свою очередь откапыватель анархий, узнав о том, как его друг объяснил геройский подвиг свой с просрочкой, произнес:

— Да, ловко!.. молодец, право молодец, но уж насчет просрочки-то он врет! Просто сорвать любит, какие там идеи! Знаем мы... Третьего дни он тут одного армянина общипал, так это тоже из-за... Врет!..

Вот как они относятся друг к другу.

Да не подумает читатель, что такое недоверие друг к другу обнаруживается между очень маленькими людьми исключительно только в области идей приватных, в области свободомыслия, увы! как только вы начинаете терять к нему уважение в области этих идей (а это доверие вы должны потерять очень скоро) и убеждаться, что в сущности он душою и телом предан тем идеям, за которые ему платят, тотчас же оказывается, что участь и этих последних ничуть не лучше участи первых!

Стоит только попристальней вглядеться в дело, чтобы убедиться в этом. Возьмите, например, моего недавнего знакомого, откапывателя анархий: он получает за ревностую и усердную службу награду; им очень была довольна важная, влиятельная особа, присутствовавшая в суде в момент самого процесса этого откапывания. Но ведь и я тоже был им доволен: я обманулся; обманулась и особа, полагая, что тут происходит ревностная и усердная служба: этого-то именно здесь и нет, хотя, быть может, откапыватель анархий, ожесточенно нападая на молчальника, объяснил влиятельной особе эту ярость примерно хоть тем, что, мол, самое молчание свидетельствует о вредности этого человека для общества, ибо, не решаясь защищаться, он, очевидно, имеет какую-нибудь личную выгоду, боится высказаться, проговориться, открыть сообщников и так далее. Начальство его хвалит, а в сущности, кроме глубокой несправедливости, здесь не сделано ровно ничего другого. Уважает ли свою профессию этот ревностный слуга отечества? Очень мало. Уважает ли он такой же ревностный поступок в другом, своем сотоварище? Почти никогда.

— Вы слышали, как недавно такой-то спас основы?

— Как же, как же... отличился! Теперь он, посмотрите, какую карьеру сделает... Дочь председателя...

— Но я говорю не про карьеру, а про то, что основы-то едва-едва не погибли...

— Какие основы! Черт знает что! Просто обделал дело и все... Знаем мы это! — и т. д.

Таких примеров можно бы было привести множество, но пусть это делает сам читатель, у которого в настоящую минуту под руками, может быть, более свежий материал, чем у меня, и он убедится, что у этого народа нет веры даже и в то, за что он получает деньги.

Во что же он верит наконец?

Неужели в купеческий сундук и т. п., а не в женский вопрос, не в «единственный путь к расшевелению тьмы», не в колеблющиеся основы, не в необходимость спасать общество и т. д. и т. д.?.. Не решаюсь сказать определенно то или другое,— воспоминания мои происходят под слишком сильным гнетом личного огорчения, но не могу не сказать одного, что верою в первые, очень простые желания сильно пропитан воздух, которым дышит общество, и жизнь, если только хватит охоты вглядеться в нее, дает много материала, доказывающего, что все, что вообще должно жить мыслью, новая она или такая, за которую платят деньги, все это чуть живо, чуть дышит.

Вот семья, попробовавшая устроиться на так называемых новых началах, что же происходит в ней? Происходят в ней невеселые вещи, о которых общество узнает по какому-нибудь крупному и неожиданному происшествию — выстрелу, яду и так далее. И если есть у вас желание добиться сущей правды, то в конце концов, разбирая подробности этой истории, вы увидите, что идея, во имя которой устроилась эта семья, пожрана, так сказать, совершенно простыми аппетитами очень маленького человека, пробужденными временем.

То же самое случается и в другой семье, где есть глубокий аппетит к канкану и где пытаются устроить все на основании основ, завещанных предками. Здесь, быть может, не будет яду, но отсутствие веры в эти основы будет непременно, иначе зачем бы сюда попал канкан и потом разыгрался скандал, о котором «даже писали в газетах»?

А бывает и так, что, вовремя узнав себя, примутся люди делать какое-нибудь очень простое дело — наживать, «нравиться», и все пошло как по маслу!

А учреждения общественные, не пускающие пуль в лоб и не принимающие яду, живут ли они тем, во имя чего устроены, во имя чего требуют хорошего продовольствия. Осуществляется ли в жизни хотя сотая доля целей, во имя которых учреждение это сделано, не говоря о том, что при искреннем убеждении одушевляющая деятеля мысль непременно бы, так или иначе, старалась проникнуть иногда и за дозволенные пределы, как свет проникает в такие щелки, которых и не заметишь.

Итак, по мере более ближайшего знакомства с окружающей действительностию я невольно, но тем не менее весьма основательно должен был убеждаться, что ни приватные, ни оплачиваемые идеи как будто бы не имеют ровно никакого значения в жизни «очень маленького человека», хотя он и не задумывается быть запанибрата и с теми и с другими, зная, что в сущности жизнью его руководят идеи самые простые, самые первобытные, даже самые не хитрые, достигаемые, однако, с удивительной энергией и настойчивостию. Как и зачем попадают сюда какие бы то ни было идеи — этот вопрос неоднократно приходил мне в голову, но всякий раз оставался без результата.— Спустя только долгое время, при обстоятельствах совершенно иных, я мог, так или иначе, ответить себе на него, и когда мне придется говорить об этих иных обстоятельствах, я изложу все, что пришло мне в голову по поводу появления и исчезновения идей в обществе; — теперь же, сидя на пароходе и вспоминая куприяновскую свалку, мне не приходило в голову ничего стоящего, и казалось даже, что только отвиливание от идей и от дел, которые бы должны были делаться во имя их,— и составляет если не прямую задачу, то все-таки довольно характерную черту очень маленького человека. В этом отвиливании он дошел, как мне тогда казалось, до удивительного совершенства. В самом деле, посадить невинного человека в острог, сорвать просрочку и скрыть истинные цели этих поступков государственными или высшими либеральными соображениями, скрыть это от себя и от всех, да так скрыть, что никто не заметит и проглядит существеннейшую и самую ощутительную выгоду, которая осталась в карманах у вышепоименованных деятелей, это, как хотите, дело, достойное полного удивления.

Но как ни прочны результаты этого виляния, как ни прочны, казалось бы, земные блага, достигаемые с таки-

ми ухищрениями и стараниями,— положение каждого отдельного человека, дышащего этим воздухом вранья,— поистине ужасное. Пробыть пять минут в обществе, которое устроил себе очень маленький человек,— чистое наказание. Земные блага приедаются, наскучают наконец, нервы когда же нибудь да одеревенеют, хотя на короткое время откажутся служить, и что тогда должен ощущать человек, поставленный с самим собою на очную ставку? Душевное состояние его весьма нескладное,— и эту-то нескладицу, это неуважение самого себя (а уважать себя он не может) — человек переносит невольно и на соседа, на ближнего, проделывающего то же самое — и, разумеется, ощущающего то же самое. Раздражительность, злость человека против человека — острою струею по временам проносится в воздухе, отравляя всякого, попавшего в область вранья, и эту злую струю ощущал, думаю, не один только я. Каждый как бы ищет случая вывести ближнего наружу и тем облегчить свою душу. Именно эта злость против человека, отсутствие веры в его слова и перетолковывание его поступков на свой образец — разрушает всякое дело, начатое во имя какой бы то ни было идеи. Потребительное общество распалось именно от неуважения людей друг другом, оттого, что всякий считал другого лгуном, проповедывающим разные громкие идеи так, потому что чешется язык,— а ведь вся материальная часть дела не оставляла желать ничего лучшего: были и деньги, была и чудесная цель, а кончилось все скандалом и мордобитием. Да одна ли история с потребительным обществом! А все эти клубные, семейные и общественные поволочки, что это, как не проявление того же неприязненного, неуважительного отношения к человеку, порождающее злость, ищущую ничтожного случая, чтобы вырваться наружу.

Итак, вот до какого нищенства душевного доведен человек, сделавшийся очень маленьким. Он утратил веру в мысль, он приведен к необходимости быть хозяином только в навозной куче дрянных побуждений и, сознавая свое падение, негодует на себя и на всех...

Чтобы яснее показать читателю всю силу пропитывающей воздух злости, как результата полного душевного опустошения, я укажу опять же на куприяновскую свалку, которая никогда бы не всплыла на божий свет, если

бы не существовало всего несчастия, о котором было говорено.

Вся эта унизительная комедия произошла, как я уж сказал, от одного совершенно ничтожного в нашей стороне обстоятельства: богатый купец Куприянов якобы переломил ребро солдатской дочери Перушкиной.

Эта продувная и смазливая девица, связавшись с родным братом богача Куприянова, так ловко повела свои дела и так ловко опутала этого простоватого парня, что тот решил вступить с ней в законный брак; свадьба должна была происходить в подгородном селе потихоньку, но брат богач узнал эти планы и с толпою своих молодцов напал на свадебный поезд, отбил жениха и в происшедшей при этом свалке будто бы переломил ребро. Началось дело; Купрянов стал платить; дело стало прекращаться и потухать и несомненно потухло бы, если бы у Куприянова не было связи со всеми вышеупомянутыми недугами общества. Во-первых, была связь по делам — поставки, подряды, отступные и т. д. и т. д.,— дела, в которых вечно надо что-то заминать и тушить: он, Куприянов, тушил кое-что в делишках общества, и общество тоже «замяло» не одно дело в пользу Куприянова... Во-вторых, была связь в виде жены, взятой Куприяновым из благородного семейства за красоту. Эта связь с обществом была самая опасная. Жена его была женщина весьма красивая и весьма легкомысленная, неутешно страдавшая в золотых палатах невежи рыбника, жаждавшая настоящей оценки; оценить ее могли, конечно люди образованные,— и действительно, Куприянов неоднократно заставал ее сидящею на коленях у людей, игравших весьма видную роль в общественной иерархии. Долго терпел купец эти просвещенные взгляды, будучи подвержен этой иерархии своими потушенными, темными и другого рода обыденными делами, но видя, что иерархия, занявшись эмансипацией его супруги, забывает и свои темные, мутные и других цветов дела, забывает эти поставки, неустойки и тому подобные детали будничных своих занятий,— не выдержал и однажды даже занес палку над особой весьма значительной. Особа ушла невредимою, но ненависть к купцу залегла в ее душе неизгладимая...

Вдруг является на сцену ребро; дело о ребре возникает и, по-видимому, прекращается... «На что же существует прокурор Протоклитов? — думает особа.— Про-

токлитов, который, по-видимому, ухаживает за племянницей особы и норовит при помощи брака с хорошей фамилией, имеющей связи в Петербурге, сделать карьеру...» И вот в тот же самый день, когда мысль о прокуроре пришла особе в голову, встретившись с Протоклитовым, особа намекнула ему, что вот, мол, у нас что делается: толкуют о женском вопросе, пишут,— а тут под носом не видят, что купец, мошна, ломает женщинам ребра, колотит палкой образованную женщину и живет как ни в чем не бывало... «Как же вы, молодые люди, хотите, чтобы после этого вас любили женщины, хе-хе-хе-хе-хе...» Протоклитов очень сочувственно отнесся к положению женщин вообще и тотчас сообразил, что, поднявши женский вопрос судебным порядком, тем самым приобретет право на благодарность со стороны особы, а следовательно: «племянница...», «в члены...», «в товарищи председателя» и т. д., наконец «Владимира четвертой степени» — и вот почти с быстротою молнии купец сидит в остроге. «Я вас не понимала,— сказала Протоклитову, вскоре после этого происшествия, племянница особы...— Я думала, вы злой!» Но теперь она почему-то поняла его и, зная, что он добр, просила кстати вывести на свежую воду Сергеева, который прежде все юлил вокруг ее дяди, а теперь связался с купцом и осмеливается делать дерзости с этой шлюхой, Антоновой, которая прошлый год в маскараде, и т. д. и т. д. Но и Сергеев, который, по словам племянницы, был кругом виноват,— едва только услыхал про то, что сделали с купцом,— тотчас же, припомнив прошлое, сказал себе так: «Так вы вот как! Насчет женского вопроса изволите действовать? А забыли вы дело о подкинутии младенца мужеского пола к лабазу купца Куприянова?.. Забыли?.. да еще воротишь морду? Нет, погоди, слава богу случай подвернулся, я вас выведу на свежую воду»,— и, пристав к купцу, поднял в отместку *тем* пять, шесть таких дел, которые вдруг втянули в свалку человек пятьдесят народу... «А,— говорит одна из втянутых,— так ты так-то! А кто пять лет тому назад получил из-за границы прокламацию и съел ее? Слава богу, подвернулся случай...» И донесение о прокламации шло по форме... Злость закусила удила. Сначала, и то в самые ранние моменты свалки, можно было отчасти, и то на очень короткое время, видеть, что общество как бы распалось на две партии — одна за купца, другая за особу,— но эта

ясность была почти моментальная. С удивительной быстротой эти две партии раскололись каждая пополам, потом еще пополам и т. д. и т. д., накопившееся раздражение, неуважение друг к другу — не могли долго сдерживать потребности выйти на свежий воздух и вывести ближнего на свежую воду. «Что я за дурак, что стою за него,— невольно думал всякий, приставший к той или другой партии,— что я вру? Разве я не знаю, кто они...» И партия раскалывалась пополам, и в каждом уголке ее кто-то хотел вывести другого на свежую воду, кто-то доказывал другому, что он врет, что он вот что такое, а вовсе не то, что представляет... От ребра, как от центра, рассыпалось по окраинам мировых судов, съездов, апелляций много дел об оскорблениях, о пощечинах в публичном месте, об угрозе застрелить из револьвера, «о сдернутии меня с кресла за ногу в бенефисе госпожи Ленской, в оперетте «Прекрасная Елена»...», «о зашвырнутии моей калоши из швейцарской благородного собрания в дегтярный клуб дворянином Еруслановым, съевшим три прокламации» и т. д., без конца. Редкий из обывателей не платил адвокату и не имел где-нибудь дела, которое по своей нелепости, отдельно взятое, не значило ровно ничего, но объясненное помощию вдруг возникшей в обществе потребности вырваться из болотной тины на чистый воздух — значит очень много. Общая зараза злости охватила и меня. Наглядевшись и насмотревшись на действительность, взбесился и я — и попал в свалку.

Одна только солдатская девица Перушкина и осталась в барышах от всей этой передряги. Так как корень процесса составляло все-таки ребро, с которым неразрывно был связан карман Куприянова, в свою очередь связывавший с своим и множество других карманов, то показания девицы относительно того, переломлено ли ее ребро или нет, очень много значили для разных партий. Партии эти ей платили, и девица Перушкина, получая деньги, старалась услужить каждой из них, и ребро поэтому оказывалось то переломленным, то нет. «Так переломил он его мне, что даже я решилась всякого аппетиту!» «Что вы, помилуйте,— кабы переломил он мне, нешто бы я не сказала, а то нет, ни-ни... А это я так сказала, потому меня господин следователь напугали...» — и т. д. Переменив эти показания в течение процесса раз двадцать, девица Перушкина приобрела значительный капиталец и впоследствии, выйдя замуж за перекрещен-

ного еврея, оказавшего ей значительную пользу во время процесса своими юридическими познаниями,— открыла вместе с ним на берегу Волги кафе под названием «Шато-де-Калипсо».

III

Признаюсь откровенно, все, что вспомнилось мне под влиянием неприятного состояния моего духа,— все это крайне односторонне и вовсе не рисует настоящего положения дела. Я был слишком недоволен сам собой, чтобы раздумывать о таких вопросах, которые в более спокойном состоянии духа неизбежно должны бы занять мое внимание, как это и случилось впоследствии. Если бы мне пришло в голову подумать о том, что мысль, не пользующаяся правом жизни, должна неизбежно сгнить в уме, обладающем ею, должна пройти все фазисы разложения, то мне, наверное, стали бы понятны все явления куприяновского процесса, не относящиеся исключительно к желудку и карману. Мне бы стали понятны и злость, наполняющая воздух, злость на себя и на других, и желание на все плюнуть, пустить в лоб пулю и проч.

Но тогда ничего подобного не приходило мне в голову. В ту пору я мог чувствовать только сумбур, царствующий в человеке и в том обществе, в которое я попал. Жизнь этого общества, так, как я мог видеть ее, представлялась мне каким-то балаганным, но тягостным представлением, кошмар которого мучил меня всю ночь.

Я то сидел на лавочке, на ветру, то уходил в каюту, где уже спали, но опять возвращался на воздух, подавляемый все тем же сумбуром.

Проснулся я в каюте на койке, когда уже пароход шел на всех парах. День был превосходный. Волга сияла солнцем. Воздух был чистый, свежий и целительной струей лился в грудь. Я начинал было уже подумывать о том, какие, должно быть, глубокие страдальцы все эти люди,— но, к моему несчастию, и тут, на пароходе, то там, то сям я продолжал встречать кое-какие слова и речи, напоминавшие всё о том же кошмаре.

— Ежели бы мне сто-то рублей, как вот вы ежемесячно получаете,— говорит какой-то священник какому-то чиновнику,— я бы бога благодарил... Ни минуты бы не остался в духовном звании...

Чиновник возразил на это, что сто рублей вовсе не сладки, что за них надо переделать тьму таких дел, в которых сам черт сломит ногу...

— А у вас что? — прибавил он.— Появился червь, пошел поп, отслужил молебен, мужики его угостили, денег дали,— чего ему? лежи да спи... А тут сиди, усчитывай там кого-нибудь...

— Червь! — воскликнул священник,— рубль серебром вы за него получили, прекрасно; а позвольте узнать, стоит ли этот рубль того огорчения, которое он несет вам в душу?.. Да, я рубль этот получу, принесу домой и могу лечь спать, но засну ли? вот что!

— Отслужил молебен,— рубль взял, да и спи, вот и все!..— твердил чиновник.

Ложь и вранье до такой степени мне опротивели, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства; какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует сдирать рубли за заговоры от червей, словом, какое-нибудь подлинное невежество,— лишь бы оно само считало себя справедливым... Я ушел с верхней палубы вниз, где сидел народ все больше серый, черный даже, и скоро увидел, что желания мои могут быть удовлетворены весьма щедро.

Чтобы отдохнуть и дать отдохнуть читателю, я приведу здесь кое-что из слышанного мною в толпе, тем более что со временем это слышанное мне очень пригодилось.

Я вошел в толпу и остановился где пришлось.

— Вот как перед истинным богом! — крестясь и снимая шапку, говорил мещанин двум девушкам, тоже мещанкам, ехавшим со старушкой матерью.— Умереть на месте, ежели вру хоть на волос!..

— Вот чудеса-то! — воскликнули девушки, как, должно быть, восклицают, когда действительно случаются какие-нибудь чудеса.— И где же это было?

— Околеть на месте: в Казани было!.. Видите, как: я, деверь, кума, золовка, шурин,— все мы ходили вместе туда. Приходим — а он ест ее!..

— Кошку? — привскокнув, воскликнули девицы.

— Ее-с! Живую кошку, как перед истинным Христом моим! — воротит шкуру с затылку и питается ее кровию... Так и на афише было сказано. За вход двадцать пять копеек взяли...

— Ну уж это удивление! — сказала мать девушек.— Именно удивление! У нас бы,— в нашем городе, по три рубли платили бы, ей-ей... Ну и что же?..— как бы растерявшись от разнообразия и силы этого впечатления, продолжала она.— Как же он... Я думаю, ведь его не допустят к святому причастию после этого злодейства?

— С дозволения начальства! — сказал мещанин с покорностию в голосе.

— Что ж такое, что начальство дозволяет,— вмешалась одна из девушек: — он сам должен отвечать на том свете... Нешто можно есть кошек? Глядеть-то на это и то грех перед богом.

Это было сказано с такой энергией и убеждением, что мещанин не пытался возражать и в раздумье сказал:

— Так-то так...

— Отчего же смотреть-то? смотреть-то не грех, я думаю? — попробовала было вставить мать.

— Что смотреть, что есть — все одно! — сказала дочь решительно.— Не платили бы ему денег, небось не ел бы...

— Мату-ушка-а! — перебил эту негодующую речь какой-то старик, сидевший на полу.— Не платили бы, не ел бы и сам бы с голоду помер! Начальство и это дозволяет, да что хорошего!.. Ведь и ему есть-пить надо! Родная! Он бы, может, говядинки-то и охотнее бы поел, чем кошку-то, да нету ее... Чай, и самому не сладко...

— Это верно! — оправившись, вставил мещанин: — потому он из дворовых людей господ Елистратовых, а уж это через великую бедность за иностранца объявился...

— Бедна-асть! бедность, матушка, кошек-то ест, она и виновата, она и перед богом ответит!..

Девушка даже вспыхнула, так подействовала на нее речь старика, вдруг осветившая совершенно новым светом все ее с таким искренним убеждением высказанные соображения...

Давно уже я не видал такой искренности, и теперь мне стало немного повеселей на душе.

— Да,— со вздохом произнес кто-то, продолжая раз-

говор в стороне.— Тоже трудновато наживать эту проклятую деньгу!..

— И-и-и трудно!..— тотчас же последовал ответ.— Кого деньги полюбят — сами к тому идут, а уж кого не полюбят, ну — уж тут, брат!

— Тут, брат, лучше человеку лечь да помереть! — сказал отставной солдат.

— Первое дело!..

— Нет! — весело проговорил молоденький купчик.— Нет, что-то, я гляжу, мало охотников помирать-то из-за этого!.. Вишь вон, кошек едят...

Смех.

— А не это,— продолжал купчик,— так и так как-нибудь, своим судом с ними справляются...

Говоря эти слова, он поглядывал на толстого угрюмого купца в лисьей рваной шубе, сидевшего поодаль. Купец как будто понимал, что в этих словах есть для него что-то очень неприятное, и отворачивался в сторону.

— Вот у моего одного приятеля,— продолжал купчик, очевидно намекая на этого же купца,— тоже денег долго не было, тоже они его не любили, а потом вдруг совершенно сделались в него как влюблены... Откуда что взялось!

— Ну-ну-ну!..— сказал купец, отодвигаясь.— Очень влюблены!.. Глотка-то больно широка у тебя!..

— Нет, ей-богу, правда! — все веселей и веселей продолжал купчик, очевидно, намереваясь произвести потеху.— Ей, ей, влюбилися... Я уж сколько раз его спрашивал: «Как, мол, ты, Иван Иваныч, разбогател?» — «От бога!» говорит. «Да каким манером? говорю, ты вот что расскажи». Станет рассказывать, все хорошо идет, покуда еще в мальчиках первые сто рублей наживал, все богу молился, а уж за сотней и неизвестно что... Прямо говорит: «А как стало у меня денег тысяч двадцать...» — «Да как же это у тебя стало-то? седой шут!» — Ну, и «бог»!

— Ну-ну-ну... Эко глотка-то!..— ворчал купец.

— Нет, должно быть, что полюбили они его,— не унимался купчик.— Допрежь этого они всё хозяина любили, а потом вдруг все к приказчику повалили, а у хозяина-то ничего и не осталось. Это через влюбленность.

Все поняли, какая насмешка скрывалась в этом рассказе, и все захохотали.

— Черт эдакой! — негодовал обиженный купец.— Ме-

лет, мелет, идол, не сообразится с умом... В бога не верит... Откуда вы только народились, ахаверники...

Но смех долго еще разносился из одной кучки людей в другую, каждый раз приправляемый каким-нибудь метким, веселым словом, от которого становилось еще смешней.

Осмеянный купец скрылся.

Все эти разговоры и шутки с большим вниманием и снисходительностию слушал седой старик, тоже по-видимому, из купцов, человек очень пожилой и серьезный. Рядом с ним сидел молоденький мальчик, одетый, как и старик, очень тепло и опрятно. Когда смех несколько поутих, старик, не обращаясь собственно ни к кому, произнес:

— А вы как же полагаете, без божия, например, надзирания возможно человеку богатство приобрести?

— Да он просто хозяйские деньги нечисто в руках держал! — ответил за всех купчик.

— Н-ну, это дело не наше... Он дурно делал, и ему будет дурно, это дело его... А вот вы, будто бы, насчет бога...

— Какое! это я так, подшутить.

— Да! Ну только бог в эфтом деле — все! Я верно вам говорю. Я скажу про себя... Я вот теперь, слава богу, имею достаток, а ведь начал — железного гроша не было, а кто помог и указал! все бог! Как, например, мудры его указания, например... да, премудро даже! (Говоря это, купец выписывал что-то пальцем вокруг своего лба). Каждый шаг, помышление, каждое, например, предприятие — всё по божию благословению.

Все внимательно слушали эти слова. Кой-где только мелькала веселая усмешка. Не смущаясь ею, купец продолжал.

— Всего этого я рассказать не могу, этого не расскажешь во веки веков. А вот хоть и то примерно вспомнить, как я дочь свою замуж выдал: так и это вполне удивительно, ибо единственно по божескому приуготовлению. Изволите видеть, какое было дело... В начале всего надо взять материю из древности... Ехал я со всем семейством на жительство из одного города в другой,— все равно, какие там города ни будут,— перебирался я на житье. Сами судите,— едем в новый город, к незнакомому народу,— что с тобой может быть? — Может, и разоришься, может, и сгоришь, помрешь,— мало ли что? со-

храни только и помилуй царица небесная всякого православного христианина! Вот едем мы и думаем так-то. (А на переезд тоже было указание!) И думаем — «что-то, мол, будет?» Стали подъезжать к городу,— так сердце и замирает... Дело было днем,— город виден, осталось только лесок миновать; только что мы с лесочком поровнялись,— слышу пение, вроде как с небеси ангельские хоры... Гляжу: из лесу выступает крестный ход — с образами, с хоругвями, с певчими и народ: несут икону неопалимой купины, из дальнего монастыря в город, в этот самый, куда я еду. По положению так каждый год бывает, а я ехал — хоть бы вот раз об этом слыхал; как есть, как есть, ни от кого, ни единого слова,— и вдруг она, матушка, мне в сретение, потому мы как раз выехали ей навстречу. Боже милосердный — какая мне была радость! «Ну, думаю, означает хорошо! Во сретение! Следовательно, дело идет, слава богу!» Помолился я, повеселел, приударил по лошадям,— да как обогнали мы всю церемонию-то — и еще оказалось: в напутствии все она же, матушка, за мной! И в сретение и в напутствие! — уж так я был доволен,— совсем осмелел, а через недельку бог мне послал хо-оррошую поставку в казенное место. Сразу! Видите, господь-то. Мало ли и без меня там купцов, охотников на это дело? — а я пришел, чужак, оглянуться не дал — и ухватил. Вот он перст-то, где!

Старик был в большом волнении.

Публика удвоила внимание, и улыбок не было видно уже нигде.

— Погоди! — продолжал он: — всё ли тут. Тут еще пойдет не то! то ли еще будет! Как сцапал я у купцов этот подряд, все купцы тамошние ровно как затмились, ошалели... Тут торги, там статьи оброчные, леса,— но они вроде как в обмороке каком,— ничего не видят, не понимают, расчет потеряли... а я приду и возьму, приду и возьму... Нахватал я дел, слава богу. Думаю, надобно мне эту икону приобресть, иметь в своем доме. Стал искать по церквам; пошарил у себя в приходе — есть! И того же размеру и письма; приценился, говорят: «Образ местный! Ему цены нету». Толконулся туда-сюда, видят, нужно человеку, заламывают. Ну, думаю, бог с вами, стал ладить со сторожами, авось, думаю, нет ли где простенькой, из старых... Мне дорога она не ценой, а памятью, следственно, мне все равно, в аршин она будет или в пять вершков,— десять целковых я за нее дам или

двадцать копеек, мне дорога память. Говорю: «Пошарьте, ребята, на чердаках, в подвале...» Прошло с полгода. Вдруг, отцы мои, приходит неизвестный человек. «Кто ты?» — «Сторож от Преображения, звать меня Степаном».— «Что тебе?» — «Так и так, батюшка наш согласен вам уступить за два с полтиной икону...» А я, перед истинным богом божусь, ни батюшки этого в глаза не видал, ни у Преображения не был, и вдруг сторож говорит: «уступает!» Показалось мне это странно. Думаю, уж не столь ли владычица вняла моему молению, что сама пожелала ко мне в дом? Потому ни сторожу этому, ни священнику ни единого слова не говорил и мысли о них не имел,— пришли сами. «Что, думаю, ежели это указание? дай испытаю. Сама она или не сама пожелала?» Спрашиваю цену. «Два с полтиной».— «Руб!» говорю. Думаю: «Ежели уступки не будет, не сама!» Что ж? Уступили ведь! Перед престолом господним говорю! Приносит икону: «Извольте, говорит, батюшка согласен!» Тут уж я ста целковых не пожалел, оковал ее в ризу, поставил в киоте, зажег неугасимую... И с этого с самого разу повалили к моей дочери женихи, офицеры, дворяне, купцы,— отбою нет. Свах вокруг дома, что воробьев вокруг овса, сила несметная. Иной по виду и по разговору кажется уж такой человек, уж такой — лучше не надо, а помолюсь хорошенько да поразузнаю, и окажется либо промотался, либо пьяница, а то и вор!.. Все бог хранил... Скажу одно,— год целый шли сватанья, все толку нет. Правда, только один из всех показался мне мало-мальски ничего, а то всё шишголь. Обещался и подумать и дать ответ. Вот, други вы мои, думаю я так-то однова, вечерком, перед образом, прошу совета,— так мне скучно что-то, неладно, а ответ надо дать завтра... Домашние уж совсем порешили на «этом», и дочь-невеста тоже на этого думала и даже имела в себе к нему любовь, но господь все перевернул по своему произволению. Думаю я, думаю, вдруг слышу, стучат в ворота. Кто такое, думаю? Слышу, отворяют. Входит, и кто же? Отец Иоанн, Преображенской церкви священник, тот самый, который мне уступил икону. Что за чудо? Почему ему быть? И тут у меня мелькнуло, не указание ли? «Что вам угодно?» Что ж он? Просит руки моей дочери для своего племянника, письмоводителя у мирового посредника! Как сказал он мне это, так ровно бы меня всего обдало варом. «Она! думаю. Она!» Она меня встречала, сопутствовала, через

нее я получил достаток, она сама пожелала в дом мой быть и теперь вновь являет себя чрез священника той самой церкви, откуда самовольно прибыла она ко мне, ну — явно! Да что еще-то? Еще-то что! Как пришел священник-то, я и думаю, уж не праздник ли забыл я какой! И вспомнил, что в тот день была память святому Стефану, да как сообразил после, что к чему шло, и вспомнил, что ведь сторож-то тоже Степан был, что икону-то принес... Как все это, други любезные, вступило мне в ум,— пал я и говорю: «Быть ей за твоим племянником». И отдал!

Все слушатели находились как бы под влиянием какого-то столбняка: так были непреложны и вместе с тем неожиданны умозаключения старика.

— А дочь ваша? — спросил кто-то спустя уже некоторое время.

— Что ж дочь! Они с матерью сдуру-то стали было ломаться, но как я открыл им, в чем дело, так и они поняли... И теперь слава богу. Так вот как премудро и как человеку надо соображаться, чтобы увидеть, где указания... А без указания — все ничего не значит!

Этот рассказ еще более, чем искренность девушек, освежил меня: тут было так много самого искреннего убеждения, неразрывного с каждым шагом человека,— какого я тоже очень давно не видал... Я глубоко был благодарен этому старику...

IV

Рассказ старика о «промысле» произвел на публику довольно сильное впечатление; по окончании его несколько голосов из разных углов ехавшей толпы подтвердило сразу, что все правильно, верно, и торопилось пояснить тот или другой памятный факт своей жизни наблюдениями, не уступавшими иной раз в точности и отчетливости наблюдениям старика... В каждом углу, под каждым полушубком и шугаем обнаруживались жизненные теории, если не всегда достаточно справедливые, то наверное пережитые и крепко обдуманные.

Последнее обстоятельство именно и было мне дорого.

С большим аппетитом вслушивался я в живую искренность излагаемой моими спутниками чепухи, когда неожиданно услыхал мое имя, произнесенное кем-то в толпе.

Я оглянулся.

Передо мной стоял молодой мальчик лет шестнадцати, одетый так, как одет всякий крестьянский мальчик, приучающийся жить в городе: на голове, обстриженной под гребенку, была какая-то пуховая конусообразная шляпа, принадлежавшая, очевидно, другой, более обширной голове, ибо только растопыренные уши да нос мальчика удерживали ее в стремлении упасть прямо ему на плечи; красная рубашка с косым воротом, подпоясанная тоненьким ремнем, и сюртук, по размерам родной брат шляпе,— вот какой был костюм мальчика.

— Неужто не узнали? — произнес он, и, сознавая, что шляпа, сидящая на носу, не может помочь мне вглядеться в его лицо, он приподнял ее и улыбающимися глазами глядел на меня.

— Федя! — воскликнул я, припоминая нечто знакомое в чертах его лица.— Неужели Федя?

— Я-с...

Всмотревшись пристальнее, я действительно узнал в нем Федю, одного из лучших учеников кратковременно существовавшей под моим руководством школы.

Мысль об этой школе явилась у меня года четыре тому назад, в один из тех моментов ясности в сознании действительности, которые по временам посещали меня. В такие минуты я замечал, и не только замечал, но видел весьма ясно, что я отец семейства, что вот эту щепку или кирпич пустил мне в голову мой собственный сын; что другой ребенок, который, очевидно, сидит у меня на шее, ибо ноги его свешиваются мне на грудь, и который, судя по довольно частым ударам в мой затылок, ударам, сопровождаемым криком: н-но-о! — очевидно, куда-то едет,— что это тоже мой ребенок, равно как и третий, который беспомощно вопиет под диваном, высунув оттуда свое маленькое сплошь измазанное ягодами лицо... Увидав это и убедившись, что я отец, я не мог не видеть, что мне действительно надо об них позаботиться, ибо, так ли, сяк ли, а ведь это будущие люди... В такие минуты я замечал и потолки, которые грозят падением, замечал и сараи раскрытые,— словом, начинал видеть все, что бы мне следовало видеть и чего я не замечал, будучи постоянно заслонен от этой действительности либо книгой, либо большущей газетой. Иногда в такие минуты на меня находил даже какой-то испуг, трепет: я ясно видел, что дела запущены ужасно, что надо хлопотать и поправлять

их сию минуту, ни на час не откладывая дела... С быстротою молнии занявши деньги, я посылал за плотниками — подпирать потолки, за кормом собакам и лошадям, за чулками, башмаками детям и т. д. и т. д.; но вдруг случится что-нибудь за границей, как говорила моя теща, и глядишь — я опять не замечаю, что творится под носом, не слышу,— хотя плотники своими топорами потрясают все до основания,— не вижу, что вымытые и приодетые ребята давно уж толкутся вокруг меня с новыми азбучками и просят учить, что кто-то из них, не добившись толку и выдрав из азбуки все картины, предпочел снова ехать на моей шее, ехать куда-то очень далеко и очень скоро, ибо прут седока хлещет не только по затылку, но и по газетному листу, который у меня перед носом...

Не одни, впрочем, домашние семейные дела и необходимости озадачивали меня в такие редкие минуты полной ясности сознания; очень часто сознание это распространялось и вообще на отечество, которое для меня, как для деревенского жителя, являлось в виде этих босых женщин, шлепающих по грязи под проливным дождем, с промокшими ребятами у груди, в виде лачуг, с вылезающим на улицу зипуном вместо окна, скотины, напоминающей по худобе самых породистых борзых собак, лишенной, однако, прыти последних,— словом, в виде бедности и невежества, искать которых никогда далеко не приходится... Под влиянием испуга я соображал все ужасно быстро, и поэтому естественно, что едва мне приходили в голову вышеупомянутые признаки отечества, как я с ужасом чувствовал, что́ нужно делать сейчас же... С тою же быстротою, вслед за тем, я не мог не сообразить, что делать всего, что именно нужно,— невозможно потому-то, потому-то и потому-то сто тысяч раз. Оставалось хоть *что-нибудь* — надежное прибежище и тихое пристанище таких пугливых душ, как моя. Из довольно значительного числа разных *что-нибудь*, переполняющих все учреждения, заботящиеся о бедном брате, ничто, разумеется, не разработано с такой тщательностью, как народная школа и наука. *Что-нибудь* в этой сфере доведено до размеров почти «ничего», а с виду кажется почти серьезным делом. Знатоки этого дела, с часами в руках, о чем они не без гордости упоминают сами, высчитали, минута в минуту, все малейшие крупинки времени, остающиеся у народа для самого себя от ежегодной и ежедневной работы для собственного пропитания,

для оплаты благочиния, благолепия ими... Такого свободного времени с часами в руках насчитано, кажется, около полутора года, и того меньше, во всю мужицкую жизнь; ни капельки не задумываясь об этакой ужасной тесноте, ибо полтора года на науку во всю жизнь — то же, что полтора аршина для прогулки или полтора глотка воздуха для легких,— поборники *чего-нибудь* сумели изобрести такую экономную науку, которая за ничтожную цену пополняет это полутороаршинное пространство битком сверху донизу; но так как эти поборники ужасно озабочены, чтобы бедный народ знал все, и знал бы так, чтобы знания эти уместились в полутороаршинном пространстве, не повредив ничего из того, что народ обязан исполнять в пользу благочиния, благолепия и т. д., то все знания приготовлены так, как готовятся консервы. Вот что-то величиной в булавочную головку: это порция науки на полчаса свободного времени, оставшиеся у бедного брата между рубкой леса на продажу для уплаты недоимок и ожиданием сотского, который через полчаса придет брать родителя этого самого брата за эту самую порубку. Невелико зернышко, но чего только нет в нем? Во-первых, естественные науки: что-то о крокодиле. Рассказано дело в трех строках, чтобы не терять времени, которое, как знает уже читатель, очень дорого: того и гляди придет сотский сажать. Крокодил, в Египте пирамиды, фараоны. Вот примерно все дело,— здесь выпущены только предлоги и кой-какие глаголы. Но в этой же крупинке с булавочную головку не одни естественные науки: здесь есть еще и грамматика, тоже очень-очень крошечная: подлежащее — *крокодил* — есть, а сказуемое для краткости опущено; здесь есть и история — фараон (фараоны были цари, и один из них утонул); здесь есть и арифметика (пересчитайте все собственные имена. Сколько? — Два.— А если я прибавлю три ноля? — Пять тысяч! — А четыре? — А пять?!); здесь есть и закон божий, и священная история, и много-много другого рода занятий, частию удовлетворяющих прямо невежеству, частию имеющих в виду цели просветительные. И все это в одной крупинке, и все это точно на почтовых.

Громоздкий груз науки, таким образом, приспособлен, приведен к возможности пройти сквозь игольное ухо. Второпях, разумеется, и я ухватился за этого рода науку. Народные беды были так велики, а времени так мало, что я принялся гнать, как говорится, по всем по трем.

Показав, например, букву *А* на доске, я, чтоб не терять времени и пользуясь свободной минутой, чтобы тронуть и воображение учащихся, которому среди недоимок и прочих забот, разумеется, ходу нет,— я спрашивал почти тотчас же, на что она похожа? Если мне не отвечали (что в самом деле довольно трудно, ибо на что же она похожа, как не на *А*?), я старался придумать что-нибудь сам, например: дуга похожа на *А*; от дуги переходил к упряжи, от упряжи к коже, от кожи к кожевенному мастерству, так что иной раз, когда на следующий день я выставлял ту же букву и спрашивал, что это такое, то ответы были самые разнообразные: один говорил «кожа», другой «мастерство», третий начинал что-то вроде «кисло... кисло», стараясь припомнить, по всей вероятности, кислород, о котором тоже шла речь вчера.

Федя, которого я встретил теперь на пароходе, один только прежде всех привык опоминаться среди этой бешеной скачки в пользу бедных братий. Он почти один только из всех моих учеников мог отвечать мне, что на доске написано *А*, когда оно было написано, и не путался во мраке обилия сведений, которые я приплетал, желая в самое короткое время сделать как можно больше *чего-нибудь*. Это была умная, внимательная и понятливая крестьянская головка, успехи которой могли бы пробудить в душе самого неверующего соотечественника веру в существование вокруг него самых живых душ. Внимательный, серьезный взгляд его умненьких глаз, ясно выражавший жажду знать, один только, сколько помню, поддерживал меня среди толпы других моих учеников, большею частью совершенно не переваривающих обилия и разнообразия духовной пищи, мною им преподносимой. Федя являлся в школу раньше всех, уходил всех позже; у меня родилась было мысль исключительно заняться им одним, чтобы сделать *что-нибудь* (разумеется, «*что-нибудь* хорошее») для одного, но, к моему удивлению, он безжалостно разрушил мои планы насчет его будущности, вдруг как-то осовел, раскис, утратил напряженность внимательности к моим урокам и скоро исчез из школы совсем. Это меня несказанно удивило и огорчило. Мне стало скучно в школе без такого ценителя, какого ощущал во время своих лекций в Феде, и этого было достаточно, чтобы это предприятие на пользу общества приняло тот оборот, который принимали все мои предприятия на пользу собственного дома.

Скоро школа закрылась.

Встретившись теперь с Федей, я заметил, что юношеское лицо его носило тот же оттенок задумчивой сосредоточенности, какой бывал у него когда-то в школе.

— Где ты теперь? — спросил я его после того, как, поздоровавшись, мы отошли к стороне и сели...

— У Семен Сергеича теперь... Тут — недалеко по Волге село будет... Немудрово — знаете?.. Семен Сергеич там на фабрике механик... Я при нем...

— Что же ты делаешь?..

— Покуда еще только начинаем... Я вот к матери ездил, билет брал,— думаю, тут, у Семена Сергеича останусь...

— Что же этот Семен Сергеич — хороший человек?

— Страсть! — с увлечением сказал Федя.— Что он для меня делает, так это только подивиться... Каким я к нему пришел и что я стал? Теперь же по крайности я могу со временем делать людям пользу.

— Что ж, это хорошо! — пробормотал мой язык, привыкший в том обществе, из которого я ушел, болтать ничего не значащие слова.

— Потому что,— продолжал Федя с прежним одушевлением и уверенностию,— я так думаю, что надо жить на пользу другим... Вы не поверите, сколько есть несчастного народу на свете... То ему надо помочь...

— Как же ты поможешь?

— Буду делать пользу!

Нельзя было не улыбнуться при виде несомненности, с которой была произнесена эта фраза.

— А те,— продолжал Федя,— которые есть не полезные люди, тех надобно искоренять, потому что от них вред... Ежели бы я прежде об этом знал, то другое бы было, а то сколько лет прошло занапрасно, теперь только стал входить в смысл...

Лицо Феди сделалось совершенно серьезным.

— Я бы уж давно,— продолжал он,— мог бы что-нибудь искоренить, а теперь, может быть, еще года три надо дожидаться... А три года — это ведь сколько времени-то! К тому времени страсть сколько народу может погибнуть занапрасно, потому что я, сколько ни гляжу не вижу старания на пользу ниоткуда, но более есть народу, который поступает не на пользу. Этого нельзя!

Последняя фраза была сказана с таким убеждением что я не посмел засмеяться, хотя и действительно было

чему. Господи, подумал я, такие ли еще вещи могу я понимать и говорить о пользе! Сколько знаю я относительно существующего «вреда», и как отлично и убедительно могу я изложить бесчисленные мысли мои по этому поводу,— а между тем я чувствовал и знал, что мое «этого нельзя» ровно ничего не значит, тогда как Федино — слово вполне живое, нераздельное с ним и поэтому непременно что-нибудь значит, а для него, для его развития значит очень много. Этого нельзя было не видеть и не слышать, глядя и слушая, как он говорит. Я не смеялся поэтому, когда Федя в дальнейшем разговоре принялся излагать более подробные взгляды свои на существующий вред, высказывая их в форме тех азбучных, так сказать, изречений: «Бедный работает, но богатый только получает, почему? Этого невозможно. Разве бедный тоже не человек? Скажите, пожалуйста! Кто это вам сказал? Нет, бедный тоже человек, это я вам могу вполне доказать, да»,— и т. д. и т. д.

Слушал, слушал я эти азбучные, но вполне искренние слова, и образ деревенского Феди, того, который с босыми ногами сидел у меня в школе, размеры его тогдашнего понимания, и Федя теперешний, с теперешними потребностями мысли,— совсем оказывались непохожими друг на друга. Как случилась такая перемена?..

— Отчего ты бросил школу? — прервал я его.

Федя остановился не сразу: он еще несколько секунд продолжал договаривать свои азбучные фразы, не имея возможности остановиться, так как высказать то, что владело всей его душой, ему было необходимо. Договаривая, он смотрел на меня как-то странно, как на человека, который тоже «неполезный», должно быть. Но окончив и успокоившись, он произнес:

— Отчего я тогда перестал в школу-то ходить?..

— Да. Ведь ты отлично учился...

— Скучно стало! — сказал он, улыбаясь мне прямо в глаза.

Мне даже стало неловко: «скучно!» — вот результат всех моих хлопот на пользу отечества. Это не много.

— Скучно? — зачем-то переспросил я.— Отчего же?

— Не по мне было... Я уж такой уродился: что мне не надо, мне сейчас скучно. Ведь я почему в школу к вам пошел? Мне битву с кабардинцами захотелось прочитать самому... К нам в избу хаживал Андрюшка,— знаете, вор известный был в наших местах; он хаживал к нам

по осени либо зимой, когда вору плохо, и что же? За лето он всех обворует, целое лето за ним гоняются с дубинами, сторожат,— и попадись — убили бы, а зимой придет, и ничего, потому что он отлично сказки рассказывал... В избе темно-темно, скучно-скучно, а Андрюшка как начнет свою канитель, все так и притаятся... Глядишь, от соседа пришла за чем-нибудь баба, а стала слушать Андрюшку, так и сидит с горшком на коленях часа два... Целую зиму его и прокормят. К весне мужики начинают подумывать, как бы его связать да представить в тюрьму, но он всегда уйдет так, что не успеют опомниться... Вот этот-то Андрюшка и корень всему делу... Страсть, как я любил его сказки... В избе у нас уж какая жизнь? Там ох, тут о-о-ох,— скука! А как придет Андрюшка да начнет рассказывать, так так башка и загорится вся... Какой-нибудь великан едет... срубил у змеи двенадцать голов, искоренил, я очень рад; хвать, а наместо двенадцати пятьдесят выросли, тут нас всех ровно варом обдает,— что тут делать? Чистая беда. И когда тот справится — так уж как хорошо-то!.. Тут Андрюшке — что хочешь! Словно бы он сам ото всего этого отбился... Ну, вот от этого мне и вошло в ум учиться, думаю, сам примусь обо всем об этом читать — больше узнаю; вот я и пошел в школу... Мне хотелось выучиться читать... Как я выучился азбуке, так мне и стало скучно у вас...

— Однако,— проговорил я, чувствуя себя слегка задетым за живое,— ведь я и кроме азбуки в то время говорил уже то, чему вот ты теперь только начинаешь учиться...

— То-то не так я был в то время налажен... Не шло мне тогда ваше в душу... Мечта действовала... Конечно, что всякий человек должен поступать по рассудку и не дозволять себе потакать в разных там пустяках. От этого может быть другим не польза, но вред (Федя произнес несколько фраз такого рода и доказал справедливость своих мнений), но в то время у меня орудовала мечта. Чтоб жгло бы внутри, вот... Я уж ждал не дождался, когда выучился читать, а выучился — и бросил школу... Потому мне стало скучно... У меня в голове одно, а вы, извините, как начнете пхать туда...

— Знаю, знаю! — сдавался я без боя. «Пхать»! — неизгладимо мелькнуло у меня в голове.

— Особливо помню под светлый день (ведь я ушел от вас под светлый день, на шестой неделе)... Мы все маль-

чики этот день любим,— сами судите, сколько тут чудес случилось. Так, бывало, сердце и изнывает, как начнешь думать об этом... Я думал, вы расскажете все-все подробно, а вы как начали пхать...

— Знаю! Помню! — второй раз сдался я и не без краски в лице представил себе этот урок, приноровленный заботливыми педагогами ко дню такого большого праздника.

Я представил себе, как ко мне собралась толпа детей, ждущих, что я расскажу им об этом празднике не так, как дома, в избе, рассказывает им старуха, а со всеми подробностями, со всеми чудесами, так весело гармонирующими с пробуждающеюся весной.

И что же делал я для удовлетворения желаний, с которыми пришли ко мне эти люди? По всей вероятности я, дорожа временем, рассказал всю историю в трех строках и, не удовлетворив сотой доли любопытства моих слушателей, перешел к извлечению из этих трех строк того обилия знаний и сведений, которыми никто не интересовался... А между тем мне надо было тогда знать, что делается в душе моих слушателей, я должен был бы ответить на вопрос этих душ, а не «пхать», как говорит Федя... Впрочем, припомнилось мне, ведь с часами в руках высчитано, что у этих мальчишек, будущих мужиков, решительно нет времени не разглагольствия...

Последнее соображение не убавило, однако, конфуза, который я испытывал под влиянием речей Феди. Кое-как замяв воспоминания его относительно урока, после которого он окончательно оставил школу, я поспешил просить его:

— Куда же ты делся, когда оставил школу?..

— Мне даже удивительно это сказать теперь вам, куда я делся... Как я выучился читать, то принялся за чтение. Отец меня, разумеется, колотил, я озлился... Дело было летом... Однажды я порешил, что больше дома жить не буду. Нельзя... И попадись мне в это время Андрюшка-вор... Что ж вы думаете? Сманил ведь! Мне было тринадцать лет, как я пошел с ним. Пошел я потому, что был сердит, а Андрюшка ежели воровал, то тоже не просто, а потому, говорит, что тоже «сердит» был. «Сегодня, говорит, вот куда пойдем — к Илюшке-кабашнику в Старые Хохлы,— я на него еще с прошлого года сердит». В ту пору мне представлялось, будто все его дела

справедливы, вот я и пристал к нему и приказания его исполнял. Потому верно выходило...

Такая школа, заменившая собою ту, которую Федя только что бросил, признаюсь, нисколько не разъяснила возможности появления в нем тех идей, какие он высказывал теперь на пароходе.

— Как же потом?

— Ну, а потом очень натурально попались в краже, попали в острог.

Я не удивился этому.

— Тут, я вам скажу, мне было вполне превосходно.

Этому я не мог не удивиться.

— В остроге — превосходно?! — воскликнул я.

— Редкостная была жизнь! Я говорю ведь правду, мне от вас скрывать нечего, я вам за азбуку век благодарен... Но верно говорю, отлично!..

— Да почему же? Что ж там кормят, держат хорошо?

— Вот — корм! Нашли что! Я говорю — весело. Это было мне в ту пору по душе. Как сам я шлялся с Андрюшкой, то я шлющий народ знал, я их так понимал, как себя... От этого они меня приняли хорошо. Конечно, я все перенес с первого началу, меня и били и на лицо мне садились, но я не сержусь, со всеми то же бывает... Это как экзамен... И главное, что мне было весело, это, я вам скажу,— фальшивая монета! Ей-ей. Весьма было интересно! В первый раз я тут занялся прилежно... Дома по хозяйству, признаться, меня не тянуло; ну, что за интерес целый день, например, вколачивать где-нибудь кол? — окроме, что измучаешься, ничего нет. Или в лес ехать,— вырубишь на гривенник, а проедешь туда да назад — сутки... Не по характеру мне это, потому пользы нет, хоть целый год изо дня в день езди в лес да колы вколачивай — все бедность... Ее лучинкой не подопрешь, не поправишь... Это я еще тогда чуял, от этого мне и скучно было... А тут, когда я при фальшивой монете состоял, совсем другое; тут я за свою братию стоял — первое, а второе, что наделаем пятиалтынных, всего накупим... Я так тогда понимал, что не грех обманывать лавочников, они богатые, и много народу, что в остроге сидели, были на них сердиты и меня подстроивали. А я в то время был согласен с ними... И они меня страсть как любили... Когда я вышел из острога...

Я подумал, что вот, наконец, где должна быть разгадка.

— ...Так заскучал, так зарыдал...

— Но как же ты,— не вытерпел я,— сделался таким, каков ты теперь?

— Да все же через фальшивую монету! Ежели бы не она, я бы, кажется, прямо в родительский дом ушел, был бы простым работником, возил бы воду, не имел понятия. Но через фальшивую монету я получил большую пользу.

— Это очень любопытно. Расскажи, пожалуйста.

— Это я вам сейчас скажу. Видите, когда мы подделывали мелочь, мы ее, надо говорить прямо, подделывали искусно. Это уж говорить нечего. Был один изъян в нашей работе — звон; звуку не было. Ежели так ее взять в руку, настоящая вполне, а ежели об стойку брякнуть, в ней тону нет. Видите. Когда я вышел из острога, мне и пришла в голову мысль, думаю: «Дай я поучусь тон подпускать да опять как-нибудь попаду назад,— то-то, думаю, мне обрадуются...» А еще в остроге слышал я, что очень хорошее средство — стекло пускать в свинец; мы пробовали пускать, только нет, не выходило... Вот я и принялся искать человека знающего. Долго ли, коротко ли, говорят мне: «Сходи вот к такому-то, он может...» Вот я и пошел. «Скажите, ваше благородие, сделайте милость, говорю я, не знаете ли, каким манером звон в свинце делать и сколько на какую часть свинцу класть?» — «А зачем это тебе, друг любезный?» — «А, говорю, в монету фальшивую...» Тот и обомлел. «Как в фальшивую монету?» И глаза вытаращил. А я, признаться, не совсем аккуратно понимал, что такое фальшивая, что не фальшивая... Мне хотелось нашей братии осторожной угодить. «Как, каналья этакая, говорит, в фальшивую монету? Да кто ты? Да что ты такое?» — «Я, говорю, из острога...» и все рассказал барину, а барин этот и есть Семен Сергеич... Как рассказывал я ему, он даже ни словечка не промолвил и не обругал... Вот он-то и перевернул у меня все в уме... «А что, ежели за твой пятиалтынный посадят, а то и в Сибирь сошлют невинного человека? Что ж, ты пользу этим ему сделаешь?» С этой точки он меня и пробрал... Я два дня, кажется, слез не осушал, как с мыслями сообразился да по-новому и деревенскую и острожную жизнь разобрал...

Федя замолк, молчал и я.

— Вот моя жизнь, Андрей Иваныч! — прибавил Федя.— Конечно, я дурное делал, но я не понимал; как

у меня душа говорила, так я и делал... А теперь всей моей душой не вред, но пользу хочу оказать, а зло искоренить... И искореню! — закончил он, сверкнув полными слез глазами.

V

Второй день моего путешествия и пребывания на пароходе подходил к концу. Остановились на гладкой поверхности возле плота и барки и стоим неподвижно; только широкий и высокий вал пароходной волны, незаметно подбежав под неподвижно стоящий плот, коробил его с одного угла на другой, вместе с десятком человек народу, усевшегося без шапок вокруг чашки с вечерней едой. Вылетавшие из пароходной трубы клубы дыма подолгу висели во влажном и начинавшем холодеть воздухе. На мачтах остановившихся на ночлег барж засветились огоньки... Хорош был этот вечер, потому особенно, что на душе у меня было тоже хорошо и покойно, чему особенно много способствовал рассказ Феди, разъяснивший мне и в моем прошлом и в том, на что я теперь, в течение этого дня, смотрел и что слушал,— очень многое.

Я не намерен здесь передавать в подробности все, что я переслушал, находясь с раннего утра до теперешнего тихого вечера в толпе. Я могу сказать положительно, что все рассказы и разговоры, слышанные мною в толпе, если не касались барышей, «дел» и т. д., блистали самою неподдельною дикостью и мракобесием; чего-чего только я не наслушался здесь! Если бы записать всю эту дикость и мракобесие, отделив тщательно от рассуждений о практических делах, то читатель бы подумал, что я представляю ему дом сумасшедших, а не обыкновенный пароход, наполненный обыкновенными пассажирами. Я знаю многих из очень развитых соотечественников, которые, проехав верст три-четыре тысячи по русской земле, чувствовали себя словно в дремучем лесу, не находили человека, с которым бы можно было сказать слово, хотя сотни тысяч народу прошло и проехало мимо них, и были рады-радешеньки, когда, наконец, где-нибудь в пустыне отыскивали нумер «Сына отечества», являвшийся при таких обстоятельствах истинным благодетелем, потому что в самом деле трудно себе представить, о чем только и как разговаривают эти сотни тысяч чуек,

армяков, лисьих шуб и т. д. Не говоря уже об дикости понятий, в которых к тому же и разобрать еще с непривычки ровно ничего невозможно: самый язык, которым говорят эти народы, преграждает всякий путь и надежду на какое-либо понимание их сумасшедшей чепухи.

Вот, например, кто-то из этих людей произнес слово «прокламация», а другой сказал: «с прокламациями» — и захохотал. Тот, кто захотел бы принять это слово в том смысле, какой оно должно иметь,— очень скоро должен бы был почувствовать себя не совсем ловко. «Где прокламации?» Отвечают: «В буфете!» В буфете сидят два купца, играют в шашки, один человек спит, один умывается,— а прокламаций нет как нет. «Где же они?» — «А вот,— говорит с затаенным смехом буфетчик, указывая на того, кто умывается,— он с самого утра так-то полощется; уж чего-чего не было: вынул этакие щипцы не щипцы, ножи не ножи какие-то, эво сколько,— как принялся выделывать эти самые прокламации,— боже милосердый!.. И в нос к себе лезет и за ногтем роется... Купец тут рядом с ним спал, так весь даже в мыле проснулся».

Вот каким языком разговаривают эти люди; но, несмотря на то, что язык этот — верх безобразия, что идеи переполнены дикости и мракобесия, вера в них и настойчивость, с которою они проводятся этими армяками, лисьими шубами и полушубками в жизнь, достойны полного удивления и доказывают, что между этими армяками, лисьими шубами и полушубками существуют массы сильных натур, могучих характеров. Как, например, последовательно осуществляет в жизни свои странные идеи старик, рассказывавший о неопалимой купине! С какой искренностью вспыхнули стыдом щеки девушки после того, как ее взгляды на казанского мещанина были разбиты вдребезги седеньким старичком! Глядя на эту искренность, можно было сказать с полной уверенностью, что после афронта, нанесенного девушке стариком, взгляды ее будут уж не те, что были, а несравненно лучше... Точно так же, если бы в жизни старика, так неразрывно сплоченной с указаниями неопалимой купины, произошло что-нибудь, разбивающее стройность и целость его теории, он не стал бы придумывать пустяков и софизмов, а, может быть, либо умер, зачах, не видя более почвы под своими ногами, либо взялся за что-нибудь другое, что точно так же уясняло бы ему все, как прежде уясня-

ла неопалимая купина. «Дай попробую, узнаю,— говорил он в своем рассказе: — сама она или не сама хочет ко мне? Как цена?» — «Два с полтиной».— «Руб хочешь — бери!» С него взяли рубль,— стало быть, сама! И действительно, все пошло как по маслу... Ну, а если бы преображенский батюшка запросил не рубль, а, например, рубль шесть гривен? Оказалось бы, что «не сама», что во всей этой истории есть какая-то фальшь, что-то неладно; оказалось бы, что и «в напутствие» и «в сретение» в сущности ровно ничего не значат, что подряд удачный попался не по божьей воле, а может быть, по наущению дьявола и т. д. и т. д. Я живо представляю себе состояние духа несчастного купчины после этого огорошивающего рубля шести гривен: все семейство его ходит на цыпочках, потому что он сердит; все ему «не так», потому что это «не так» сидит в нем; все домашние и служащие оказываются обманщиками и ворами потому, что он обманут сам и вполне надут дьяволом... Наконец — запой и появление уж настоящих бесов.

«Но,— приходило мне в голову,— все эти удивительные характеры, все эти люди с необыкновенно прочными верованиями веруют все-таки же в самую подлинную чепуху и, кроме непроходимого невежества, ничем в сущности не могу порадовать внимательный взгляд наблюдателя. Что же тут хорошего? При таком характере да при таком невежестве какой чепухи не сумеет сделать такой человек с своим ближним?» Такие соображения, не смотря на очевидную основательность, не особенно тревожили меня в настоящую минуту. Припоминая похождения Феди, я убеждался, что сфера невежества и дикости вовсе необязательна для хорошо сформированного характера. Мальчик, который ушел из школы воровать,— вор, сидящий в остроге, фальшивый монетчик; уж это ли не потерянное существо, уж это ли не человек, который более других способен наброситься на вас и схватить за горло? А на деле выходит совсем другое. Строго повинуясь указаниям своей мысли, он вышел сам собой на настоящую дорогу, прямо к свету... Этот путь к свету не заказан никому из массы чуек, армяков, лисьих шуб; этот путь даже неизбежен для всех их, и если области невежества и умственного вздора остаются для них обязательными, то причину необходимо искать не в них.

Рассказ Феди, хотя отчасти, указывает на эту причину. Выражения: «*мне* стало скучно, *я* хотел, *мне* не шло

в душу»,— выражения, которыми был переполнен его рассказ, невольно пришли мне в голову... Повинуясь этому настойчивому *я*, он бросает школу, учреждение несомненно полезное, особливо сравнительно с подделкой фальшивых пятиалтынных, и идет воровать. Как это могло случиться? Стоит только припомнить намерения, с которыми Федя шел в школу, и сравнить с теми, которые с своей стороны имела школа, чтобы понять, что общего между теми и другими не было ничего, что Федя должен был непременно бросить школу, если хотел сохранить свою самостоятельность, если не хотел пустить в душу того, что не шло туда само собой. Следовательно, путь к свету, предлагаемый школой, угрожал Феде потерею нравственной самостоятельности и заставил его уйти, быть вором, шататься по чужим амбарам, по острогам.

Что делать! Должно быть, только в этой темноте, в этих темных углах, где не видно ни капли свету, и возможна эта нравственная самостоятельность! Разве старик со своей купиной не напоминает филина на церковной колокольне, забившегося от людей в такую высь и такую трещину, куда до него не дохватит ни один камень? Быть может, и эта трещина сохраняет его нравственный мир таким, каким сам он считает его лучше и удобнее для себя. Иначе вообще почему же эти характеры прячутся по мурьям, по острогам, гнездятся где-нибудь в темном углу, как совы, которые видят только в темноте? Их тут не трогают и не мешают быть самими собою...

И опять образованные люди куприяновской свалки пришли мне на память. Все они, бесспорно, исповедывали лучшие идеи, чем эти чуйки, лисьи шубы, армяки; все они шли в своем развитии по более торным путям,— и что же? есть ли в них хоть тень той силы в своих убеждениях, какою обладают невежественные лисьи шубы? Вспомните процесс, и вы убедитесь, что он служит самым прочным доказательством отсутствия веры в эти убеждения. Неужели же в развитии их не было тех благоприятных условий, какие Федя нашел в своей странной жизни или купец-филин, воспитывающий себя в глухой трещине под колокольней? Я припомнил ход своего развития, развития моих знакомых и товарищей и убедился, что на торных путях к свету нет в нашей стране возможности сохранить характер и личность.

Федя ушел, как только ему «не пошло в душу»... Кто из нас, из всех этих «куприяновцев», уходил когда бы то ни было от этого «не идет в душу»? На торных путях нет никаких средств уберечь эту бедную душу на собственную свою пользу. Едва она попала сюда, как тотчас же начинаются над нею эксперименты, не ставящие ее в грош и имеющие в виду цели, ей вовсе посторонние. Находясь еще в школе, она приучается то думать об известных вещах, то не думать, потому что это кому-то нужно. И затем эти акции и реакции мысли, не зависящие от вас, начинают действовать без остановки во всю последующую жизнь. Поставленный в необходимость раз двадцать в жизни переменить направление мысли, человек теряет к ней всякий аппетит и может завещать своему сыну только то, что все эти мысли в сущности вздор, потому что не прочны, потому что завтра могут быть другие. И прочным и неизменным остается только то, что делает человека очень, очень маленьким.

Мне пришло в голову и припомнилось великое множество населяющих русскую землю людей, жертвы этих внезапных акций и реакций мысли, от самих людей не зависящих, и я бы непременно теперь же представил их читателю, если бы не произошло следующее.

Пароход, описывая полукруг и жалобно гудя в ночной тишине, стал подходить к какой-то пристани.

На склоне горы тёмнели бараки и белели церкви. Несколько огоньков светилось на пристани.

— Село Немудрово! — сказал капитан.

— Немудрово! — раздавалось по каютам, где лакеи будили заспавшийся народ, которому нужно было здесь вылезать.

Я не спал.

— Прощайте, Андрей Иваныч! — сказал, появляясь с узелком под мышкой, Федя.

— Куда ты?

— Я здесь вылезаю...

— Разве здесь твой Семен Сергеич?

— Как же, здесь... У того купца он на фабрике... У седова, что вы давеча слушали... Первый фабрикант и первый кровопиец... А вы куда едете?

Этот вопрос заставил меня подумать, куда собственно я еду. Оказалось, что, садясь на пароход, я не взял даже билета.

Удаление Феди и скука одинокой езды на пароходе,

притом еще неизвестно куда, навели меня на мысль сойти в Немудрове...

Я так и сделал.

И хотя это обстоятельство прервало на некоторое время нить моих мыслей, зато, ознакомившись с жизнью большого фабричного села, я могу теперь рассказать не только о старых моих знакомых, но и о положении целой деревни, испытывавшей на своем веку те же самые хоть и ненужные ей, но настойчиво приводимые в исполнение посторонние влияния.

ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

1

— Далеко ли же, собственно, едете-то?

— Да пока что хорошенько-то еще и не обдумали... Мало ли местов-то!.. Новороссийск — вот, говорят, теплое место приготовляется... В Батуме тоже, сказывают, не холодно... Екатеринодар... Ну да и Ростов нашего брата не обижает...

— А по какой же части-то вы?

— Да по какой угодно! Какая часть подвернется под руку, та и наша!.. Ха, ха, ха!.. Ты не гляди на меня, что я пока что в этаком виде. Это со мной сколько раз бывало, а потом попадешь в струю — и сам себя не узнаешь!

Разговор этот, между множеством всякого рода других разговоров, происходил на галерейке третьего класса одного из пароходов Зевеке, шедшего по Волге к Царицыну, в один из ясных и светлых дней нынешнего лета. Человек «в этаком виде», слова которого мне пришлось услышать, невольно обратил на себя мое внимание. Что-то чрезвычайно знакомое послышалось мне в его словах, и не столько в самых словах, сколько в манере, в тоне, которым они были сказаны. Не то чтобы я видел где-нибудь именно этого человека, находившегося «в этаком виде»,— я только вспомнил, благодаря его манере и тону разговора, что на моем веку мне уже не раз приходилось слышать эту манеру разговора и этот тон и что они почему-то меня интересовали. Не умея дать себе отчета в этом и все-таки интересуясь человеком «в этаком виде», я подошел к нему поближе и постарался рассмотреть повнимательнее.

Человек «в этаком виде» был то, что называется «верзило»; на обертках лубочных изданий Никольского рынка

в таком именно виде изображают обыкновенно фигуры «витязей»: шлем, под шлемом таинственные глаза и храбро расправленные усы; нос не всегда виден в этих рисунках, но всегда удачно изображенное истуканство общей фигуры не утруждает внимание зрителя мелочами, и, не замечая носа, вы все-таки видите, судя по усам и истуканству, что это, должно быть, непременно «витязь». С первого же взглядя на человека «в этаком виде» бросалось в глаза именно его истуканство, топорно приделанные под бесформенным носом топорные усы, таинственные бледно-серые глаза на широком, ничего не выражающем лице и весьма пространный рот; этот большой, весьма подвижной во время разговора рот, составляя существеннейшую черту всего истуканского облика человека «в этаком виде», делал понятным всю топорность, тяжеловесность и огромность его фигуры и был как бы указателем того, что в фигуре этой прежде всего надобно видеть «пасть», а уж все остальное само собой приходилось к ней. Не было на этом истукане шлема и воинских доспехов; на голове надета была плоская широкополая соломенная шляпа, а на теле — почти воздушная парусинная пара, уже приведенная в нищенское состояние и так же подходившая к этому исполинскому телу, как к волку вместо волчьей шкуры подходила бы нежная шерсть кролика. Во всяком случае это истуканное существо выделялось из общего уровня физических размеров, доступных современному обывателю, и, продолжая напоминать мне что-то уже знакомое, настоятельно требовало ближайшего с ним знакомства.

— Теперь я на что похож? У меня вон всего-навсего и имущества-то осталось: пара галош да зонтик, а я надеюсь на бога! Пойдет струя — и опять пошел в ход!.. Теперь на мне шапка, видишь, какая? А случись струя — хвать, и цилиндр на темя вскочил, а пожалуй, и шапокляк под мышкой зашевелился!.. Моя, брат, жизнь — тайна! Ежели мою жизнь описать, так это будет полный роман... Я уж пробовал писать, только все недосужно...

Истукан, сидевший за чайным столом с компанией попутчиков и собеседников, пивших чай и закусывавших хлебом и арбузами, проворно опустил руку в боковой карман, вытащил оттуда пачку каких-то бумаг и стал в них рыться.

— Всё адреса. Вот письмо князя Махоркина: «Любезный Мартын Петрович! не откажите мне в вашем бла-

госклонном содействии...» Всего бывало! Это вот от пароходного общества «Север» телеграмма: «Прошу покорнейше отправить двести пятьдесят тысяч...» Всего было! Всего не пересмотришь! Это вот купчиха: «Милый мой и неоцененный!..»

При этих словах вся компания осклабилась и весело захохотала:

— Хе, хе, хе! Ишь какие там у него!

— У меня, братцы, всего много! Я вот ищу начало романа... Моя биография... А, вот!

Он вынул какой-то лоскут, расправил его рукой, кашлянул и, спотыкаясь на каждом слове, прочитал:

«...Полулежа в третьем классе на моем плече и предавшись утомительному сну...

«Милая жена моя,— говорил я сам себе,— какова судьба наша!.. Сейчас ты выгнана из дому, захвативши прямо из печки мокрое белье в узле, но давно ли я был с тобою грациозен и в коляске парой вороных, по направлению к гостинице «Балканы» в Серпухове, с полутора тысячам рублям в боковом портмоне, и мы устремлялись из храма...»

— Так ты женат, стало быть? — спросили истукана.

— Женат, как же! Моя жена теперь в Москве остается. Жену я свою, можно сказать, вполне обеспечил. Она у меня обеспечена! А сам я, пока что, позволяю себе поискать чего поприятней... И вот как думаю: непременно попаду опять на струю! Это, что я читал, это только прискорбный эпизод. Но оно у меня всегда так... Кажется, вот пропасть, глядь — внезапно оказываешься в полном великолепии!

— Да ты из каких будешь-то? — довольно серьезно спросил истукана один из собеседников; все собеседники были хоть и маленькие, а деловые люди.

— Я-то? Я, братец мой, неизвестного происхождения. Маменька моя была просвирня... И про отца говорят, что будто убили на войне... Но я, по соображениям и постепенному наблюдению, вижу, что так как имение было князей Нагайских и как князь Нагайский захаживал в просвирню и гладил меня по голове, то ввиду этого нельзя отрицать и кровосмешения высшей степени крови. И я чувствую это и полагаю, что кровь сказывается и действует. От этого самого мне во всяком случае выходит предпочтение! И мне счастье идет с детских времен... Откуда, спрашивается, я имею дар слова? А ведь

у меня с детства блестящий слог! Однова я свою мать собственную два месяца, с дозволения сказать, так искусно надувал, что даже она понять не могла, пришла в удивление...

— Эко у тебя ум-то какой! Мать родную надул. Должно быть, что уж умен ты...

— Я тебе говорю к примеру. Маменька мне простила, удивилась... Чего худого? Дело детское, а ты поди попробуй: соври каждый день на новый манер, так и узнаешь, велико ли в тебе дарование... Нет, не соврешь! День соврешь, и два, и три... А ты два месяца ври, так на это надобно особенную кровь!

— Чего же ты врал-то?

— А в училище не ходил. Книги завяжу в узел, все как должно для школы приготовлю, а сам марш в поле, а ворочусь — расскажу, как что было и чему учили... Попробуй!

— Искусно!

— Так искусно, что когда мать-то дозналась да выдрала меня, так все-таки не могла налюбоваться на меня. Сама же мне и гостинцев накупила... «Недаром в тебе грациозная кровь!» И так всегда в моей жизни. Накажут — и сейчас же погладят и превознесут. Когда мать-то дозналась, что я ее обманываю, отдала меня дьякону — «теперь, говорит, будешь на моих глазах!» Попросила дьякона как можно строже смотреть. И точно: за волосы он меня первым делом отодрал крепко, а потом говорит: «На-ко, подержи ребенка, понянчай, мне некогда». А потом: «На-ко, покорми кашей ребенка!» И вышло так, что нет мне ученья никакого, никто не беспокоит, а сижу я с ребенком и всегда съем у него кашу... Целый горшок съешь и уйдешь. «Учились?» — «Учились, как же!» Ну, маменьке и спокойно, да и мне приятно — каша молочная... Подумаешь, как будто бы надо мной есть перст указующий. Как же: раз только попробовала меня маменька отдать в трактир «мальчиком». Больно мне не хотелось туда идти; плакал,— ну все-таки маменька отвела. Встречаю доброго человека, старого полового; полюбил меня, делает разные указания и говорит: «Когда будешь подавать чай в праздник и народу будет много, так ты, говорит, не все деньги хозяину за буфет отдавай, а понемногу бросай себе за голенище...» Сейчас я понял — и в тот же день набил голенища так, что ноги не двигаются; в одном сапоге на три с четвертью набросал,

а в другом — на четыре с лишком. Завязал я эти деньги в платок да ночью, богу помолясь, и упер к маменьке...

Веселым хохотом компания приветствовала повествование верзилы о его юношеских успехах, и, ободренный общим вниманием и интересом к этому повествованию, верзило воодушевился и принялся передавать публике эпизоды своей жизни, один блистательнее другого.

— Это что!.. То ли бывало! А вы вот что разберите: по семнадцатому году являюсь в Москву; иду куда глаза глядят; прихожу к дому — «ткацкая фабрика купца Орехова»; вхожу в контору: сидит за самоваром толстая женщина немолодых лет — хозяйка дома... «Чего тебе, говорит, мальчик?» — «Да вот, говорю, сударыня, ищу места».— «Какого же ты желаешь места?» — «Да какое случится...» А ведь я ни по какой части не происходил еще... Подумала, поглядела на меня прямо в глаза, помолчала, подозвала меня к себе, погладила по головке, еще поглядела прямо так в самое мое лицо — «ну, говорит, поцелуй меня и не беспокойся. Место тебе будет!» Н-ну...

Шумными одобрениями разразилась окружающая рассказчика публика.

— Так я как сыр в масле пять лет пребывал на этом положении — расстаться не может! Денег полны карманы; зайдешь в ресторан, выкинешь рубль серебром, хлопнешь лимонаду с коньяком,— сдачи не надо!.. Извозчик! Сел на рысака, подкатил куда повеселее, выбросишь рублевку — пожди, провел время на две красных... Это и внимания не составляло!.. И такое мне было райское житье, что, кажется, умри хозяйкин муж (хворый он был), быть бы мне полным хозяином. Да проведали об этих делах сродственники да какие-то попы старообрядческие, да и командировали для ревизии своего попа Гаврилу... Я не плохо скроен, а уж он — так и господь знает, что за монумент... Рыжий, огромный, суровый... Сижу я в конторе перед туалетом; вижу, входит монах этот самый. Вошел, помолился на образа. Молился он долго, на меня не смотрел и ни слова не говорил. Потом сделал земной поклон, встал, подошел ко мне и говорит: «Ты, говорит, состоишь с хозяйкой в таких-то, мол, предметах?» — «Состою!» Не говоря худого слова, хлоп меня по уху со всего размаха. «Вон! Сейчас вон отсюда!» Я очувствовался, говорю: «Хоть вещи... шапку...» — «Вон!» — и опять — раз! и в загривок дал таким родом,

что и не опамятовался, как уж за воротами очутился... А он за мной ворота на замок — и шабаш!.. Так я, братцы мои, из полного моего великолепия прямо на Хитров рынок свалился, да уж через месяц, никак не раньше, еле-еле швейцаром в меблированных комнатах местечко получил... Вот какие перевороты происходят!.. А все нет-нет — и вынырнешь!..

— И ничего вынырял-то? Ловко? — спрашивали любители всякого успеха.

— Да вот как выныврял: однова вынырнул я в струю, когда в Петербурге шли огромнейшие постройки... Тысячи домов строились... Тут я приткнулся — и получил высшее значение!.. Вот между этими самыми пальцами (истукан растопырил пятерню) прошли сотни тысяч... Доверия мне было сколько угодно; бывало, у меня в передней поставщики по полусуток ждут... И было бы хорошо, да сплоховал что-то антрепренер-то мой, поспешил он целый домище в пять этажей,— ан, он и ухнул, развалился. А с домом и мы с антрепренером-то развалились... А пожил, уж есть что вспомнить, да и меня помнят за это время во всех теплых местах в Петербурге...

— Как ты опять-то вынырнул?

— А опять я вынырнул по случаю освобождения Болгарии от мусульманского ига! Попал в отряд маркитантом... Было в моем распоряжении три тройки со всякою провизией, вина, сигары, карты — все! Трое кучеров у меня под командой, повара, два лакея, и я сам во главе! Вот это братцы мои ст-рр-у-у-й-я! Это вон так настояще выплыл, вынырнул! Первым делом началось еще в Питере... Пропечатал в газетах публикацию насчет желающих ехать на военный театр, то есть насчет поваров, кучеров, лакеев, и повалил ко мне народ... И что ж вы думаете?.. Каждый мне же сует в руки деньги, только возьми! Одна хорошенькая бабенка... «Что угодно! говорит, только увезите моего мужа, повара, на войну; я влюблена в другого!» Подумал, подумал, вижу, дело подходящее — увез ее мужа, сделал ей удовольствие!

— Обоюдно, значит?

— Уж это понимай как знаешь!.. А как потом пошла «заграница», так это надо два года рассказывать — не расскажешь всего! Золото, как дождь из ведра, в буфет лило!.. Вот карманы какие набухнут за день-то!.. А что касаемое жизни, как будто бы на облаках пре-

бывал!.. Бывало, остановится отряд в ночь, раскупорим ящики, достанем коньяку, шампанского, закусок — всю ночь!.. Кучера, и те шампанское дули, как воду! Только у меня и расправа была — ой-ой!.. Один пьяный кучеришко напоил меня однова таким чаем, что я сейчас не отчихался от него... Зачерпнул спьяна воды из колодца, поставил самовар, стали пить чай с коньяком, пьем как ни в чем не бывало, только что дух какой-то отзывает; подольешь полстакана финшампанского — и хлопнешь, а на утро оказывается — в колодце-то пятеро мертвых турок мокнут!.. Н-ну уж тут была расправа!.. Прямо полевым судом присудил и всю шкуру этому кучеру изодрал!.. Я тогда широко командовал! В Россию воротился, так у меня за пазухой две папиросных коробки из-под сотни были битком набиты золотыми-то!..

— Ловко ты, брат, выплыл!

— Бог даст, и опять выплывем в какую-нибудь хорошую струю... Н-ну, а тогда уж действительно была струя: уж я пошумел на белом свете!.. Поплавал!.. А уж жена, братцы, какая мне попалась!

И затем начался весьма обстоятельный рассказ о романическом знакомстве верзилы с его будущею женой и самая тщательная характеристика этой своего рода замечательной женщины, как бы самою судьбой посланной истукану для еще более широкого и разнообразного продолжения его широкой и разнообразной жизни. Женская фигура, постепенно выяснявшаяся в рассказе человека в «этаком виде», была действительно в такой степени типична для характеристики людей того самого сорта, к которому принадлежал и сам рассказчик, что я, прежде нежели возвращусь к продолжению его рассказа, скажу несколько слов вообще об этом сорте людей, весьма многочисленном в настоящее время на Руси.

Отрывки из автобиографии человека в «этаком виде», которыми он во всеуслышание делился с пароходною публикой, были для меня весьма достаточным основанием, чтобы отвести ему почетное место среди галереи портретов современного нам «вольного казачества», постепенно накопившихся в моих житейских воспоминаниях.

2

Существование в русском обществе «вольного казачества», в последнее время иногда составляющего предмет

газетных слухов и толков, возбуждающих в читателе какие-то сказочные мечтания, давно уже не подлежало для меня никакому сомнению, так как типы казацкой вольницы русская жизнь вырабатывала в огромнейшем количестве многие годы подряд и не перестает вырабатывать вплоть до настоящей минуты. Совершенно неправильно поступают те интересующиеся разнообразием русской жизни соотечественники, которые почему-то полагают, что «вольные казаки» существуют где-то в Азии, в камышах Каспийского моря или в Азиатской Турции и вообще в каких-то уединенных, неведомых и глухих местах соседних с нами государств. На наших же глазах самые, по-видимому, достовернейшие путешественники, увлеченные идеей о вольном казачестве, доходили до такого самообмана, что решились публично свидетельствовать в печати будто бы они сами, «собственными глазами» видели десятки тысяч таких наших «вольных казаков», их деревни, пашни и церкви в разных точно указанных местностях Азии, и затем, остынув от увлечения и проверив свои мечтания документальными данными, должны были также публично сознаваться, что в действительности ничего подобного с ними не бывало и что они никаких поселений и никаких казаков не видали. Не знаю даже, мог ли бы сам славный «добрый молодец», атаман Николай Иванович Ашинов, портрет которого в настоящее время красуется в одной фотографической выставке на Невском проспекте,— не знаю, мог ли бы он по чистой совести и положа руку на сердце указать с точностью те местности, где проживает вольное казачество, атаманом которого он, кажется, себя провозглашает? Едва ли он будет в состоянии указать не только в каспийских камышах, а буквально на всем земном шаре такой пункт, где бы мог сокрыться какой-то вольный человек, да еще российский, если только этот таинственный пункт не простой чердак или погребица, то есть временное прибежище беспаспортного человека, который рано или поздно непременно будет выдворен с чердака городовым и им же водворен в общество, нисколько не напоминающее вольницы.

А между тем самое появление на белый свет какого-то атамана, а главное, легенда о вольности, пущенная в публику при помощи газет, и эти неясные слухи и мечтания о каких-то самовольно образовавшихся общинах вольных русских людей, самовольно вступающих в поли-

тические связи с Абиссинией, самовольно воюющих с итальянцами,— все это полуфантастическое, недостоверное на деле, почти неосязаемое и неуловимое, тем не менее несомненно показывает, что в русском обществе еще жив дух «удалых добрых молодцев», еще не замерла мечта о лодочках с вольными людьми-разбойничками и что жажда пожить и погулять на свете вне стеснения какими бы то ни было формами общежития еще довольно сильно в обществе, весьма уже похожем по внешнему виду на европейское.

Очевидно, что в обществе нашем жива еще вольная казацкая фантазия, живо желание достигать своих жизненных целей помощью удалой казацкой уловки: притаиться, притвориться, выждать, подкараулить, броситься, «сцапать» и утащить, а потом уже пересмеять все это, всех и вся и с удовольствием наслаждаться плодами уловки в мирном и тихом уголке, за густыми камышами законных прав и преимуществ. И мне кажется, что не надобно идти ни в Персию, ни в Азию, ни в Абиссинию для того, чтобы с полнейшей ясностью убедиться, что «вольный казак» жив-живехонек и казацкая уловка в житейских делах нашей обыденной жизни не только не дремала или не зевала, но еще и дремать-то не думала.

На наших глазах «вольный казак» (иногда числящийся по весьма солидному рангу) не проморгал, например, той минуты, когда все черноморское побережье опустело после бегства горцев в Турцию, и захватил себе на льготных условиях не одну тысчонку земли за самую ничтожную цену и с десятигодовою рассрочкой. Захватить-то захватил, да потом и раскаялся — земля попалась такая, над которой надобно так же кропотливо работать, как кропотливо работает женщина, вышивая в пяльцах узор, то есть нужно было обрабатывать каждый вершок, а этого вольный казак не любит и денег на обработку тратить не похотел, во-первых, потому, что у него денег нет никогда; во-вторых, потому, что ему именно деньги-то и нужны. Конечно, он охотно бы продал эти тысячи десятин земли, да не найдешь, с позволения сказать, такого дурака, который бы купил. И вот на столбцах «уважаемой газеты» появляются легки лодочки с «удалыми добрыми молодцами». И говорят «добры молодцы» таковы ласковы слова: «И были мы у царя ефиопского, земельки он нам дал, обласкал и звал на житье... Царь ефиопский

добер, ничего, только что черный весь и голый, и бог у яво наш, как быть следовает, и угодники всякие есть также, сказать худова нельзя. И звал нас всех двадцать пять тысяч человек на свою землю...» Прочитав это милое, детски-наивное письмецо, не естественно ли всякому, любящему свое отечество и дорожащему его преуспеянием поднять и широко поставить вопрос о том, чтобы казна немедленно выкупила землю на побережье, поселила бы там все двадцать пять тысяч наших, «которых собственными глазами видели» такие-то и такие-то иностранные путешественники? Неужели можно эти тысячи наших сынов выбросить за пределы отечества, отдать какому-то черному и голому ефиопу? Ведь вместо десяти рублей, уплаченных в рассрочку, можно взять сто рублей за десятину! Можно ли давать маху? И вот на поверхность русской жизни выплывают легки лодочки; гребцы на этих лодочках поют удалые молодецкие песенки и, дружно налегая на весла, сквозь всякие административные камыши постепенно пробираются к сундучку.

Очень может быть, что в данном примере казацкие мелодии не увенчаются успехом; но на наших глазах тысячи самых поразительных примеров, как нельзя лучше доказывающих, что мелодии не всегда оставались мелодиями, а, напротив, самым широчайшим образом осуществлялись на деле. Что же, прозевал ли «вольный добрый молодец» башкирские земли? Польские земли? Прозевал ли он и проглядел ли банки, концессии, поставки на армию и подряды? Нет и нет! Он везде совершил предопределенное ему дело по самому широчайшему плану. Расхищение миллионов десятин башкирских земель не подлежит сомнению, и всякий, познакомившийся с этим делом подробно, может только удивляться необычайной живучести «добрых молодцев» и их молодецких идей, планов, целей, а главное, их поистине молодецких приемов, с помощью которых они въявь и воочию сумели совершать дела, исполненные самого образцового беззакония. Ни сенаторская ревизия, ни законнейшие требования генерал-губернаторской власти, ни справедливейшие требования власти губернаторской, ни, наконец, окончательные и бесповоротные решения высших правительственных инстанций, направленные решительнейшим образом против вожделения «добрых молодцев»,— ничто не попрепятствовало им совершить колонизацию пустопорожних пространств именно по тому плану, который

был ими задуман, и вопреки тем указаниям, приказаниям, категорическим решениям, строжайшим мероприятиям, какие предпринимались против их планов всеми родами законной власти. Несколько лет подряд законная власть не могла восторжествовать над исполнением желания «добрых молодцев» и только тогда оказалась имеющею значение, когда желания «добрых молодцев» были осуществлены ими.

Не проглядел своего «удалый добрый молодец» и в Польше. Н. И. Пирогов в своих мемуарах весьма ясными чертами рисует нам наиболее распространенный в смутное время Западного края тип обрусителя, в котором нельзя не узнать тех же черт обитателя «легкой лодочки», то есть черты «удалого доброго молодца». Будучи в собственном своем отечестве завзятым крепостником и зачуяв освобождение крестьян, он, этот «добрый молодец», чутьем поняв предстоящее положение дел, всеми способами старался поддержать в своих крестьянах веру в легенду о том, что «земля отойдет мужикам вся», что не надобно бросать наделов и лучше всего от них отказаться, довольствуясь наделом нищенским. Утвердив крестьян в этом убеждении, «удалой добрый молодец», получив в собственность всю свою землю полностью, тотчас же продавал ее и, по обычаю «добрых молодцев», истратив вырученные деньги, прятался со своею легкою лодочкой в камыши, в неизвестность, и выслеживал, откуда дует ветер, доносящий запах съестного. Дует ветер из Западного края; «добрый молодец» выезжает на лодочке из камышей, переезжает Днепр и здесь, являясь в роли обрусителя, формулирует свои молодецкие желания в такой уже форме: «Ребята,— говорил он мужикам, указывая на панский за́мок,— это все ваше!» — и при помощи таких идей сам становился обладателем панской усадьбы, которую, конечно, тотчас же и переуступал в руки жида и, промотав вырученное, опять скрывался в камышах и выжидал.

И выждал он банки, железные дороги, войны и победы — и везде ни разу, ни на одно мгновение не проглядел своего куска. Достаточно самого поверхностного воспоминания о широте на Руси банковых операций и о размерах банковых крахов, чтобы видеть, что все это были не финансовые предприятия, а то самое, что поется в песне: «под Саратовом разбойнички шалят!» Кто из людей, не причастных к компаниям наших «добрых мо-

лодцев» и наблюдавших явления русской жизни не из чащи камышей, в которых любят таиться «добрые молодцы», а при свете белого дня,— кто из таких более или менее беспристрастных людей, читая банковые отчеты, составленные, кажется, по всем правилам финансового благоприличия, не чувствовал и не был убежден, что вместо всех этих цифр, итогов, кредитов, дебетов следовало бы написать только одно: «Сарынь на кичку!», вместо слова: «директора» — «ушкуйники», а вместо подписи коммерции советника Ивана Доримедонтовича Огурцова — славное имя Степана Тимофеевича, по прозванию Стеньки Разина. Конечно, в конце концов наиболее выдающиеся из этих добрых молодцев-атаманушек перебывали почти все «на славной Красной площади», но сущность совершенных ими финансовых операций, если читатель припомнит их во всей полноте, с полным беспристрастием, положительно та же самая, что и сущность предприятий, очерчиваемых песнею в коротких словах: «под Саратовом разбойнички шалят!» Сосчитайте, припомните, какие удивительные подвиги по этой части совершались на наших глазах в последние двадцать пять лет, какое торжество удалого молодецкого ума обнаружено обществом в разработке финансовых операций на Руси,— и вы увидите, что искать вольных людей где-то в Азиатской Турции или в Абиссинии нет никакой надобности и ни малейшего основания. Да и что бы там, в Абиссинии-то, могли сделать наши «добрые молодцы»? Там песок да голый человек, а тут под боком у нас со всех сторон благодать: и банки, и леса, и земли, и «недра» — всё! Разве в Абиссинии или в каспийских камышах найдешь хороший интендантский подряд, и разве там можно устроить так, чтобы по ветру разлетелось триста тысяч пудов сена или пропало бы несметное количество муки, и притом от одной только маленькой мыши, которая была схвачена на месте преступления? Ничего такого в Абиссинии «вольный добрый молодец» не найдет, и ему самое лучшее дело — сидеть дома и выслеживать добычу, что он, как мы видим, и делает поистине неустанно, с беспримерною последовательностью и поистине с художественным совершенством. Сравните любое из больших общественных дел нашей жизни с любым делом «добрых молодцев» и вы непременно отдадите предпочтение «работе» «добрых молодцев» перед работою просто добрых людей; возьмем для примера такие

два, близкие друг к другу, дела — переселения и расхищения — и спросим себя: которое из этих дел обделано лучше? Двадцать пять лет закон печется о переселенцах, и двадцать пять лет он же противодействует «хищному элементу». А на деле выходит, что хищный элемент настроил себе дач, заводов, мукомолен, лесопилок и живет припеваючи, а нехищный элемент — лапотник продолжает шататься по свету как бы в забытьи, толкаясь по ошибке то в Кавказский хребет, то в океан и вообще не находя себе мало-мальски надежного пристанища. Нет, жив «вольный казак» и жив Степан Тимофеевич, Стенька Разин по прозванию... И «пока что» — право, везде, повсюду, на всех путях его опытов и предприятий — его сопровождал непрерывный успех. Успел он в Азии, в Башкирии, в Западном крае, в банках, в интендантствах; не без успеха проникал и за пределы отечества, объявлялся в Абиссинии, в Сербии, в Болгарии и почти везде, несмотря на кратковременные посещения, сумел оставить о себе самое определенное впечатление. Вот только в Болгарии что-то не вышло, по крайней мере временно, но было молодцу не укор, надо потерпеть, выждать, а «пока что» — и Россия не клином сошлась и здесь еще могут быть благоприятные для «добрых молодцев» моменты, когда опять можно будет с веселым сердцем выехать из камышей на легких лодочках и провозгласить: «Сарынь на кичку!» в виде каких-нибудь грандиозных финансовых предприятий, имеющих целью «оживить» мертвые богатства. Много этих мертвых богатств и много живых «добрых молодцев» — словом, есть кому и есть где разгуляться.

Но нельзя не удостоверить того не подлежащего сомнению факта, что первые крупные предприятия «добрых молодцев», предводимых первыми крупными атаманушками, не так часто возможны в настоящее время, как это было несколько лет назад; теперь необходимы некоторые перерывы в деятельности «добрых молодцев», промежутки в несколько бездейственных лет, и вот почему вся та бесчисленная на Руси вольная казатчина, которая в недавние кипучие казацкие времена была при деле, теперь вынуждена маяться, томиться ожиданиями по нескольку лет и прикладывать свои руки из-за куска хлеба ко всякому делу, лишь бы не умереть с голода. Иной будущий атаман скромно сидит в ожидании момента где-нибудь в суфлерской будке или состоит комиссионером при гос-

тинице. Что сулит этой вольнице будущее, я предугадывать не буду,— я только хочу обратить внимание читателя собственно на размеры, в которых этот тип вольного казака распространен в нашем обществе. На скамьях подсудимых, или, как сказано в песне о Разине: «на славной Красной площади», читатель видит только отборных деятелей удалых предприятий, но ведь ими далеко не исчерпывается весь тот контингент второстепенных участников, без которых немыслимы большие операции, оканчивающиеся Красною площадью. Чтобы, например, более или менее успешно похитить, положим, участок башкирской земли, предпринимателю нужно развратить, в видах достижения своих целей, множество народу всякого звания, состояния и положения, начиная с подкупа башкирского старосты, продолжая подкупом волостного писаря и так далее через все инстанции, а ведь это значит заразить идеями удальства бесчисленное множество народу. Развращение идет не на одном только бумажном, канцелярском поприще — нет, в операции участвуют все человеческие страсти; без шампанского, без женщин, без «дам» и без арфисток там нельзя обойтись. А ведь чтобы все это обделать, как должно, надо множество рабочих рук третьего, четвертого и пятого разрядов, и вот эти-то второстепенные деятели хищений, эти случайно полакомившиеся сладким куском, случайно допившие остатки из бутылок с шампанским,— эти-то люди, знающие вкусы в удовольствиях и удачах жизни,— они-то и составляют наше вольное казачество, таящееся не в камышах, а в самом обществе, в толпе. «Вольный казак» такого типа беспрестанно мелькает решительно везде, где хоть мало-мальски пахнет каким-нибудь съестным ароматом. Он пешком пробирается по шоссейным дорогам, то побираясь Христовым именем, то пристраиваясь в обожатели к кабатчице, пока не накладут в загривок, то попадая в кафешантанные певцы, то вдруг превращаясь в хозяина гостиницы в самом бойком приморском или ином торговом городе. На железных дорогах, на пароходах, в особенности летом и в особенности на юге, всегда и в великом множестве встречается этот бродячий тип, ищущий «авось что-нибудь навернется»,— человек, говорящий исковерканным языком, приметный нескладным костюмом и замашками, и всегда с особенным, «вольному добру молодцу» свойственным выражением лица: не то он подсматривает, как бы что-

нибудь стащить у вас, не то хочет попросить милостыню.

Но этим типом человека, разлакомленного сладкими объедками и сладкими опивками роскошных пиршеств крупного хищничества, далеко не исчерпываются характеристические черты современного бродячего по Руси «доброго молодца». Не подлежит сомнению, что разлакомленный объедками хищнических пиршеств — самый многочисленный тип в пестрой и рваной толпе вольницы и что стремление уловить «струю», которая бы привела к сладкому объедку, самое приметное из стремлений вообще всякого «добра молодца». Но надобно принять во внимание, что хорошо обставленное хищническое дело требовало весьма разнообразных способностей со стороны людей, в нем участвовавших; если вот этот человек годен для того, чтобы споить башкира или подкупить писаря, то не его ума было дело спихнуть с места хорошего и добросовестного чиновника, искоренить вредного человека, заткнуть рот обличителю и вообще устранить с пути к достижению хищных целей нравственные препятствия. Нужны были люди с значительными умственными способностями и с таким пониманием господствующих веяний времени, чтобы настрочить хороший, дельный донос, положим, на губернатора, препятствующего хищничеству, и чтобы поставить доброго, честного и совестливого человека в безысходное положение. Здесь надобно много ума и таланта, много тонких знаний в области зла, подвоха и всякого ехидства; для выполнения таких сложных операций требовалось развращение людей умных, требовалось уже развращение не только утробы, падкой до объедков, но и совести; здесь подкупалась и развращалась душа человеческая, и вот, после того как хищнические предприятия позатихли и между ними начались большие антракты и перерывы, то и отражения этих антрактов на людях, развращенных хищническим периодом русской жизни, стали выражаться несколько иначе, чем вообще у «доброго молодца», томящегося только о куске. Временно скомканная, развращенная, исковерканная в горячечные моменты хищничества совесть, пользуясь долгим перерывом и не находя материала для новой кляузной практики, стала вновь просыпаться у некоторых из субъектов, затянутых в хищническое течение. Стала (чаще всего от какой-нибудь неожиданной случайности, вдруг освещавшей помрачен-

ную душу) выпрямляться, приходить в себя и, разумеется, ничего, кроме ужаса, как перед собой, так и перед всем, что сделано, что видано, слышано, ничего иного в результате пробуждения совести быть не могло. Человек, весь погрязший в грехе, вдруг начинал с поразительною ясностью видеть весь ужас всего греха и своего подлого дела, начинал разбирать в себе происхождение этой язвы, переходил к разработке тех общественных влияний и коренных причин, которые воспитали в нем эту язву, окунули его всего, с головой, с душою и телом, в грязь и грех, и вот этот тонкий и умный зверище переполнялся безграничною ненавистью ко всему, что обвиняла его проснувшаяся совесть и пробужденная мысль. Весь грязный, виноватый, подлый, он до глубины души проклинает всю свою грязь, вину, подлость, он знает зло во всевозможных источниках, видах и оттенках,— и проклятие его производит потрясающее впечатление на толпу, куда, конечно, загнала его так же пробудившаяся совесть, просветлевшая мысль. Злой и скверный, грязный знаток всякого зла, греха и всякой своей и чужой подлости, сам же проклинающий эту свою и общую подлость,— вот и еще весьма приметный тип в толпе бродячих по Руси вольных людей, «добрых молодцев», порожденных периодом хищничества на Руси.

3

В моих воспоминаниях до такой степени живо сохранилось впечатление встречи с одним раскаявшимся в собственной греховной мерзости типом, что я решаюсь сделать небольшое отступление и рассказать об этой встрече. На дворе стоял один из тех последних дней осени, в которых уже ясно чувствуется пришествие зимы: холодный ветер несет хоть и редкие, но острые, как иглы, снежинки; довольно плотным слоем прозрачного, как стекло, льда покрылись пруды, озера и еще вчера мокрые лужицы и болотца; кое-где сохранившая еще признаки зелени трава поседела и припала к земле.

В такую пору по большой дороге из Петербурга, которая видна из окон моей комнаты, плетется обыкновенно масса всякого нищего народа: это большею частью запоздалые рабочие, пропившиеся в Питере и идущие домой без копейки,— люди, которым нет в Питере пристанища или простой возможности где-нибудь приткнуться,

так как полиция давно уже гонит их за неимение паспорта; несомненно, что в числе этой рваной толпы есть немало людей, добровольно улепетывающих от полиции или от какого-нибудь темного дела. Все это во всяком случае народ, не имеющий копейки за душою, не имеющий одежды, сапог,— словом, народ, который вынужден идти сотни верст пешком, не имея возможности продать что-нибудь, чтобы доехать до места или даже только проехать две-три станции вперемежку с пешим ходом. «Подайте, Христа ради!» — просьба одежи, сапог, хлеба слышится под окном в эту пору года довольно часто; часто хлопает калитка, и иззябший прохожий проворно мелькает мимо окна, направляясь в кухню.

Вот в такую-то пору прибежал, в буквальном смысле слова, в кухню ко мне и тот прохожий, о котором я хочу рассказать. Это был огромного роста человек, лет под пятьдесят, одетый, конечно, нищенски; седая голова была острижена под гребенку, и щетина могучих усов и бороды давала возможность предполагать, что борода это когда-то знала бритву. Но во всем этом нищенстве и запустении «человека» особенно останавливало внимание его лицо: разбойничий размах бровей, напряженная, как в сжатом кулаке, сдержанность перекошенных скул и глаза, производившие темное и страшное впечатление темных кружков двухствольного ружья, подкарауливающих удобную минуту убийства,— все это делало лицо «прохожего» необыкновенно страшным. «Разбойник, душегубец!» — так, наверное, с ужасом во всем существе, определила его кухарка в первый момент появления его в кухне, да такое впечатление он, наверное, производил на всякого. Но в этом ужасном лице было еще нечто более ужасное, чем то, что бросалось в глаза с первого взгляда: ужасное, злобное лицо это как бы беспрерывно рыдало, все признаки истерического рыдания, готового разразиться сейчас, сию минуту, были запечатлены на этом лице: от угла разбойничьего глаза по щеке и в углах губ шла едва заметная, но непрестанно-истерическая черта рыдания, черта неподвижная, точно проведенная резцом скульптора по неживому материалу камня.

— Только щец, щец горяченьких, Христом богом умоляю!.. Погреться-с, а то во всех моих делах — полное великолепие! В великолепнейшем состоянии все дела! Только погреться-с... Не откажите!

Черта неподвижно застывшего на лице истерического

рыдания именно во время этой речи и стала мне вполне ясно видима и ужаснула меня более, чем ужасное разбойничье лицо; когда он говорил о щах, лицо это старалось принять как бы просительное выражение, но неподвижная черта, как железная сетка, сквозь которую видно какое-то другое движущееся лицо, лежала на нем.

— Россия — страна христианская, православная... Сам Христос исходил ее всю, благословляя... В тарелке щей отказу, вероятно, не будет, а во всем прочем я имею полные документальные данные... Щец-с!..

Щи, поставленные на стол, однако, не сразу привлекли его внимание, как это могло казаться ввиду сильного голода, который он, по-видимому, испытывал.

— Это я ожидал! Щей в России дадут-с... Велик бог земли русской! — бормотал он хриплым и неприятным голосом.— И защита бедному обиженному — полная!.. Благословенная богом земля... Полная защита! Никакие враги не одолеют меня с ней! Защита у меня — вот!

Быстро опрокинув назад и набок голову, он поднял к потолку руку и, потрясая «перстом», говорил:

— Там высшая инстанция у принятия прошений, и резолюция положена: «утвердить!» Великолепное дело и неопровержимое!

— Щи-то простынут! — осторожно заметила ему кухарка, разглядев в нем, кроме разбойника, еще и несчастного.

Замечание это подействовало на него, и он стал лихорадочно глотать ложку за ложкой; но это продолжалось недолго, и прохожий скоро заговорил опять:

— Храм Николы Морского, угодника божия, известен вам-с?

— Как же! — ответил я.

— Близ театров и Никольского рынка? Посредине площади?

— Я знаю.

— Так вот-с. Подан ему мною третьего числа полный апелляционный документ по моему делу, с приложением прошений — митрополиту, в комиссию, комитет, министерства, синод, сенат, прокурору, Третьему отделению, господину обер-полицмейстеру, всем чинам и всему капитулу и храброму воинству. Все переписано в копиях и с приложением гербовых марок. И следовательно, имею полное право возвратиться к моим нищим сиротам, успокоить их словесно впредь до получения решения...

Все это было очень похоже на бормотание сумасшедшего.

— Кому вы подали бумаги? — переспросил я его, пытаясь убедиться, сумасшедший он или нет.

— Николе Морскому-с! Угоднику божию Николаю чудотворцу-с!

Теперь лицо его было жестоко и в самом деле ужасно. Ответив мне, он смотрел на меня неподвижными дулами ружья и молчал.

— Как же ты ему подавал-то? — улыбаясь и в то же время, очевидно, «до смерти» испугавшись нелепых слов прохожего, спросила кухарка.

— Очень просто. Святитель в ризе и имеет вокруг головы сияние... Ну я и возложил ему все документы этак за сияние и поклонился в землю. В храме никого не было...

Мы не знали, что говорить и что спросить, но прохожий мог еще кое-что сообщить нам:

— Следовательно, сторож ли, или священник, но обязаны от угодника божия принять прошение с документами. Они только слуги божии, а он — угодник! При этом случае не может быть упорства, должны принять и дать ход! И вот посмотрим-с!.. Я не подаю больше-с! Не касаюсь! Угодник божий Николай чудотворец входит вместо раба своего сам и говорит... Одним словом, посмотрим-с, как-то они, инстанции-то, закряхтят-с!

Под каким-то предлогом я ушел из кухни — так было нестерпимо и слушать и смотреть на этого человека, находившегося, очевидно, в каком-то ужасном состоянии. Но при всем моем нежелании бесплодно мучить себя, слушая непонятные, кабалистические речи прохожего, я знал и видел, что он страдает, что у него на душе есть что-то ужасное,— и меня тянуло к нему за этою тайной, и казалось даже, что отпустить его, не дав ему возможности сказать все, что у него на душе, будет делом жестоким. С полчаса отдохнув от первого удручающего впечатления, я не выдержал и опять пошел в кухню, но в сенях мы оба столкнулись с прохожим: он поел и собирался уходить.

— Что такое мучает вас? — как-то неожиданно и резко сорвалось у меня с языка.

Прохожий остановился, вперил в меня свой убийственный взгляд и несколько мгновений стоял молча и не-

подвижно. Вдруг, как ключ из камня, из его неподвижных темных глаз закапали слезы.

— Я сам мучил людей,— медленно выговорил он.— Я сам душегуб и кровопийца!.. Не меня мучили, я мучч-ил люд-дей!..

Последние слова он сопровождал медленными прикосновениями сжатого кулака к сердцу и неожиданно ослабел, не сел, а опустился на лавку, стоявшую в сенях; не будь этой лавки, он непременно бы свалился с ног.

— Я грешник! Я кровопиец!

Прижав к груди сжатый кулак, он замолчал, отвернулся и плакал... Мало-помалу он заговорил и по-прежнему, все с теми же странными оборотами речи, никаким образом, по-видимому, не желавшими сделаться ясными, определенными, перемешанными к тому же с текстами священного писания, полными кротости и любви, но всегда дающими возможность подразумевать, что они адресуются к какому-нибудь непременно злому человеку, которому эти тексты придутся очень не по нутру,— все это делало речь прохожего нестерпимо-утомительною и запутанною. Мысль отказывалась следить за этою скрытною, постоянно чем-то заволакиваемою речью, и я начинал уже чувствовать боль в висках, когда прохожий прервал свой запутанный монолог, остановился на минуту, кашлянул и довольно тихо произнес:

— Звали ее Франциска Станиславовна... полька!..

Тут только я начал соображать и понимать кабалистические речи моего собеседника. И вот что оказалось.

Нищий-прохожий весьма недавно занимал довольно значительное, по силе и могуществу власти, место в одном из отдаленнейших и глухих уголков Сибири. Дикая, волчья, необузданная натура, подкрепленная правом не ограниченной никакими пределами власти над местным населением, развернулась в этой глуши до последних пределов широты звериных требований. Глушь, отдаленность административных центров, уловка понимать и провести начальство, звериный опыт предшественников, остававшихся безнаказанными целые десятки лет,— все это сделало из грубой и чувственной натуры нашего героя существо во всех отношениях бесцеремонное и бесчувственное. Разврат, пьянство, хищничество, разбойничьи нападения на глухие деревни инородцев для получения контрибуций всякого сорта и качества, и опять разврат, подкуп, интрига против недруга, и опять пьян-

ство, и опять распутство — вот круг жизни этого человека в течение многих лет. И вот такой-то распутный зверь наметил себе, своим звериным глазом, жертву. Это была жена одного поляка, сосланного после 1863 года. Зверь ни перед чем не задумался; два года он убил на то, чтобы слопать лакомый кусок, и, конечно, слопал; муж несчастной женщины был сослан в глубину какой-то непроходимой тундры, а жена, промучившись с тираном полгода, отравилась и умерла... Зверь «замял дело» и притих до новых подвигов, но в один зимний день в его берлогу вошла какая-то женщина и сказала такие слова:

— А как же, господин начальник, с девочками-то быть?

— С какими девочками?

— Да ведь опосля *ее* две девочки остались... Нешто ты не видал их?

Зверь вспомнил, что «видал» девочек тогда, когда «сокрушал», тогда, когда «торжествовал», но не думал о них и при таких обстоятельствах, а тем более после того, как случилась беда и когда пришлось употребить много средств и много ума на то, чтобы замять дело.

— Где же они? — спросил зверь.

— Да где ж им быть? Куда они денутся?.. Как жили у меня с матерью, так и живут... А воля ваша, мне кормить их нечем!

Женщина, не окончив речи, вышла в сени, но тотчас же воротилась оттуда и привела с собою двух девочек, десяти и восьми лет, одетых в лохмотья, в опорки, иззябших и робких.

— Едва я взглянул на этих малюток,— пристально глядя в пол и точно стараясь лучше рассмотреть какое-то непонятное и странное явление, говорил прохожий,— на их ноги... лица... как они рукавом утирают свои обтаявшие лица... я почувствовал себя в полной их власти... Их положение, участь, будущее — все это сразу овладело мною; я увидел, что я обязан, именно я непременно обязан взять их и посвятить им всю жизнь... Когда случилась беда и мне пришлось отписываться от начальства, я также чувствовал всем моим существом, стремившимся к самосохранению, что мне нужно отписываться. Мой распутный ум указывал мне, что делать, как говорить, что писать... И точь-в-точь то же случилось теперь, только совсем, совсем иначе... Я почувствовал, что имен-

но я должен их вырастить, защитить, укрыть и сохранить от зла, от погибели... Как вторглись в меня такие мысли, не знаю. Но я никогда не жил такими обязанностями, и они проснулись во мне сразу... Я слышал какие-то неслышные голоса их мертвой матери, их мертвого отца, я чувствовал, что где-то в могиле, в мерзлой земле дрогнуло чье-то сердце, что оно стало теплое,— и мое сердце тоже пробудилось... Вот с этой минуты и начинается мое полное разорение, расстройство, моя гибель, мое немолчное душевное терзание.

Зверь, который целую ночь бьется около овчарни, царапает когтями о ворота, перегрызает плетень, ломает жерди,— делает все это потому, что перед ним овчарня, запах овечьей шерсти, овечьего мяса. Пустой сарай он ломать не будет, его чутью нужен аромат снеди, возбуждающий все его умственные и физические силы. Вот такой-то аромат возбуждал умственные и физические силы и нашего зверя-рассказчика. Но пришли две девочки, с которыми он был связан преступлением, заставили его ощутить некоторую с ними связь, и умственные силы его пробудились в совершенно ином, незнакомом ему направлении. Не подлежащая сомнению связь его с сиротством девочек возбуждала в нем не звериные инстинкты, но чувство сострадания, а потом и сознание виновности, преступности и злодейства, кровопийства и кровопролития. Он пришел в ужас от самого себя. Положение девочек и лежащая на нем нравственная относительно их обязанность охватили все его существо. Он откопал бумаги, принадлежавшие родителям девочек, и, узнав, что у них был какой-то крошечный фольварк почти на границе Польши, задумал возвратить этот фольварк, попробовал хлопотать, ходатайствовать за детей тех самых людей, которых он погубил, и с каждым мгновением убеждался только в собственном ужасном нравственном падении; он натыкался на собственные свои доносы и понять не мог зверства, которое находил в них. Оно становилось для него невыносимым, и вместе с тем он не мог выносить и тех лиц, с которыми он раньше был в союзе и в дружбе. У него было новое дело, и он отдался ему с тою же зверскою страстью. Грубость, дерзость, обычные ему, перенесены были на другую почву и направлены против того, что было ему опорою. И этот переворот прежде всего отозвался на нем же самом. Прежде его любили, как умного взяточника и плута; теперь стали

ненавидеть, как разлюбившего плутовство и взяточничество. Против него сразу было поднято множество замятых дел; вся эта грязь со всех сторон шла на него, расточая его достояние, приводя к нищенству, к полному разорению, грозя судом, тюрьмой, каторгой... Но он уже не мог остановиться: девочки для него с каждой минутой становились единственным лучом света; он с каждым мгновением все больше и больше привязывался к ним; без них вся его жизнь — тьма, разврат, кровь и тюрьма. Нет, ему нельзя расстаться с ними; он спасет их, выхватит их из ужасов жизни, выберется сам с ними на свет,— он найдет!

И вот он со всею энергией устремился к своей цели; он просудил все, что у него было, ожесточился на все прошлое и на все, что помогало ему жить в прошлом такою ужасною жизнью. Страх погибнуть именно за это прошлое доводил его до отчаяния, и в таком состоянии он, распродав все, что у него было, и устроив девочек у той же самой женщины, у которой они жили после смерти матери, уехал в Петербург хлопотать. Здесь он «подавал» во все места, рвался, добивался, выходил из себя и везде только терял от своего грубого, дикого нрава, от своего скверного вида, от своего скверного прошлого, которое раскрывалось, пил с горя, попадал в участки, был бит, выгоняем в шею, опять смирялся, писал прошения с текстами архиереям, опять ожесточался и, в конце концов, полусумасшедший, голодный, рваный опять бежал пешком домой, к девочкам, которые давно уже голодают.

— Грабителя, подлеца, зверя, развратника, попирателя божеских и человеческих законов поддерживали, хвалили, руку жали и угощали!.. А когда меня посетил бог, когда во мне бог, сам бог...

Скуластое лицо его все в слезах, и сжатый кулак глухо колотит в измученную грудь.

Не думаю, чтобы девочки могли погибнуть; некоторая доля благотворительности обязательна в настоящее время почти для каждого русского захолустья. Не думаю также, чтобы могли даром пропасть и монологи зверообразного прохожего: он пройдет (если только пройдет) тысячи верст, и все, что он скажет встречным и поперечным о своем прошлом величии и своем прошлом злодействе, будет поучительно.

Таким образом, в бродячей русской толпе, взращенной обилием возможностей не только поддерживать в человеке, а и развивать в нем до громадных размеров хищные инстинкты, слышатся не одни только воспоминания о лакомых кусках, но иной раз и жестокая критика путей, которыми это лакомство достается человеку.

4

Что касается нашего «истукана», с которого началась наша речь и к которому мы теперь на минуту возвратимся, то он, по-видимому, совершенно далек от самомалейших попыток сомневаться в доброкачественности тех лакомых кусков, которые он уже отведал и которые с непоколебимою уверенностью предвидит в будущем.

— А уж жена у меня, ребята, попалась, так это, кажется, только во французских романах может быть возможно! Как приволок я из Болгарии с собой деньжонки, то и думаю: как бы мне время провести поприличнее? Нанял себе около Серпухова дачу, мезонин... Купаюсь, хожу на станцию в буфет, покупаю газеты, букеты, завожу знакомства. Сижу однажды в трактире (около станции большая деревня выросла, пять трактиров), пью портер; садится против меня мастеровой; сел, потребовал пива, вынул из кармана целый пучок писем и давай читать вслух. А уж, надо сказать, пришел он во хмелю, в порядочном заряде. Читает письма и что дальше, то больше, на весь зал: «Ангел мой прекрасный! Я в тебя влюблена! Я вся пламенная женщина! Отчего ты не можешь соответствовать? Я родителей нисколько не боюсь! Не бойся, не будь глуп. Как ты не можешь понять своего счастия?» И таким родом оказывается, что привлекает она его, а он, балбес, упорствует. «Чего же ты, дурак, говорю, ломаешься?» — «Боязно; отец у нее — хозяин здешней гостиницы, вон, говорит, за буфетом стоит... Он узнает, сотрет с лица земли. У него урядник знакомый!» — «Да тебе-то какое дело, когда она сама не опасается?» И стал я его подхрабривать, потому что эти дела я очень обожаю... Постановил я ему коньяку с лимонадом,— дай, говорю, письма почитать. Читаю письма, окончательно прихожу в восхищение! Такая непоколебимая девица, вольная, удалая — в жизнь не видывал! Раззадорили меня ее письма, стал я этого фабричного ругать, трусом его, дураком обзывать, да постепенно его

и довел. «Не боюсь, говорит, никого! (Коньячищу он осадил порядочно, пока я чтением-то занимался.) Не боюсь никого! Экая беда, что хозяйская дочь в меня влюблена... Не боюсь и хозяина! Хозяин, а хозяин! вот твоя дочь мне любовные письма пишет, а я тебя, дурака, не боюсь!» Пошел по зале шум; услыхал хозяин, испугался, выскочил из-за буфета, схватил у мастерового письма, позвал людей, проводили его в шею, а там околодочный на улице подхватил... Хозяин как выхватил письма-то да прогнал любовника, так и ушел куда-то. А мальчишка, который порции подает, бегает по трактиру: «Ну, говорит, будет теперь дело!» А меня очень подмывает узнать, что за девица такая хозяйская дочь. Подозвал мальчишку, стал его допытывать и все как есть узнал. Хозяин женат на второй; от первой жены у него две дочери и сын, но они не живут с ним в доме, потому что от мачехи нет житья никому, потому что это сущая ехидна. Длинная, худая, больная, жадная; думаешь, каждую минуту кончится, умрет, а она все родит, злится и всех поедом ест. Вот отец-то и отделил двух взрослых дочерей, которые тоже очень, вишь, характерные и мачехе спуску не давали. Отец нанял им флигель на другой стороне улицы и поселил их с своею матерью-старухой; обед, чай носят к ним из трактира. А сын-то от первой жены и есть тот самый мальчонка-половой, который мне все это рассказал. «А что, спрашиваю, хороша твоя сестра, которая письма мастеровому писала?» — «Первая, говорит, красавица!» Захватило меня что-то за сердце, говорю: «Сделай милость, устрой знакомство!» Вынул ему две золотеньких штучки. «Вот, говорю, ей-богу, твои будут!» — «Что ж, говорит, могу!» Уговорились, когда прийти, все честь-честью. Прихожу, как сказано, узнаю от мальчонки, что мастерового и след простыл, что сестра его очень рада и чтобы я сейчас шел мимо их флигеля, а она будет смотреть, а потом пришлет записку с ответом. Пошел... Сидит... Ну, одно сказать... ноги у меня подкосились... Развязная, просторная, в блузе... глаза, коса... Н-ну, окончательно нет слов высказать! Еле приплелся в гостиницу, послал мальчишку за ответом,— в то же мгновение возвращается. «Колька вам объяснит, как поступать, а я очень вам обрадовалась!» Колька мой и отрапортовал. В первом часу ночи прямо в окно. Старухе дадут водки, и дворнику, который в кухне, также водки, другая сестра ляжет в сенях, а я,— братишка-то сам говорит,— дом

на замок запру и отцу ключ отдам... Жду, не дождусь ночи. Наконец...

Рассказчик передохнул.

— Н-ну, с этой ночи в аккурат две недели каждый божий день... и все великолепно. Это надобно описать, и то не опишешь всего нашего блаженства. Я свои деньги на водку для матери и дворника давал, не допускал ее до расхода. Все хорошо — и вдруг, братцы мои, скандал! Прямо, ни свет ни заря, накрыли! Отец, мачеха, мать — все!.. Что тут было, не приведи бог, но моя Шанька и тут меня обворожила. Как начали на нее наступать, так она первым делом в одну руку — стул; ногой дала мачехе прямо в грудь, а рукой здоровую оплеуху залепила отцовой матери... «Я, говорит, его люблю, и я в таком положении, и никто не смей!» — «Нет тебе благословения!» — «И пускай, и так обойдемся; а ежели, говорит, моего жениха тронете, так я всех вас, как клопов, выжму...» Разбросала всю родню, как прах, во все стороны. Ну, этого дела мне не пришлось досмотреть, пришлось убираться подобру-поздорову. Поселился я на другой станции. Пошел орудовать телеграммой; она тоже по телеграфу: «Не тужи, все облажу!» И точно. Не дают ей ни денег, ни приданого. Позовет татарина, наберет на триста целковых: «Приходи, говорит, за расчетом к отцу в воскресенье!» Отца все знали — первый трактир. «Хорошо, приду». А она товар в узел да на станцию, с передачею мне. «Прими букет!» Получаю телеграмму и бегу на станцию. Я уж знаю, какой букет. Получишь, спрячешь, даешь ответ: «Убил зайца» или что-нибудь в этом роде. Так все и оборудовала. Два салопа на лисьем меху заказала, получила и скрыла...

— Ну, а как же отец-то? — в недоумении спросил кто-то из слушателей. — Ведь, чай, догадался, узнал?

— А как же не узнать? Татарин-то ведь скажет, чай.

— Так как же ей-то?

— Ей? Вот ты, следовательно, и не понимаешь, кто она такая. Ей вот что: взяла безмен — и жарь, подошла мачеха, стала ругаться — она в нее утюгом. Пришел отец, она говорит: «Подожгу весь дом!» Стала реветь и ругаться бабка — она ее скалкой. Она вот какая, братец ты мой! Копье стальное, неустрашимое! Вот у нее какая ко мне любовь! Она теперь вот, пока что, в кафешантане в Нижнем действует, сопраной числится. Погляди-кось, как там за ней стали увиваться, а я уж верно

знаю, что она меня не променяет. Она только так, между прочим, струю свою ищет, а забота только обо мне... Вот я и не робею. Знаю, что за моею спиной — стена каменная... Теперь я вот в каком состоянии, и то мне покойно, и я не спешу... Сегодня худо, завтра будет хорошо. А выжду время, замечу где-нибудь хороший кусок, свистнул, ан моя Сашка и тут!

— Да теперь-то ты отчего так ослаб?

— Ну, стоит разговаривать! Сегодня ослаб, а завтра опять шапокляк под мышкой! Чего там? Стоит рассказывать!

И точно, рассказанного, кажется, достаточно для того, чтобы читатель сам мог догадаться о неминуемости успеха в жизни этой любопытной пары, раз только судьба даст ей возможность «попасть в струю». А в недостатках такого рода «струй» русская жизнь, кажется, обвинена быть не может.

Из этого легкого намека на элемент происхождения «вольных добрых молодцев» можно все-таки видеть, что появление на Невском проспекте фотографий, изображающих каких-то вольных атаманов, имеет несомненное основание в современных условиях русской жизни. Хотя в то же время нельзя не видеть, что кроме газетных выдумщиков ни один настоящий казак, ни один настоящий атаман не пожелает признать подлинности их казачества.

АВТОБИОГРАФИЯ

«Ф. Ф.! Вы хотите иметь от меня биографические сведения обо мне самом. Не раз уже я получал предложения от составителей разных биографических словарей, иногда даже с приложением таблиц, разграфленных как участковые листки: «Лета. Где родился. Звание. Место учения. Давно ли почувствовал стремление» и т. д. И, при всем моем желании, я никогда не мог удовлетворить желаний господ составителей словарей. Не знаю, могу ли исполнить и Ваше желание, так как никаких мало-мальски определенных и кратно выраженных подробностей моей нравственной жизни никаким образом невозможно изложить в краткой заметке; надобно перебрать все, что я написал, указать каждую страницу, объяснить, отчего она написана так, а не иначе, чтобы видеть, какие условия жизни заставили меня и жить и думать именно так, как я думал и как писал. Личные подробности моей биографии, в роде того, что родился я 14 ноября 1840 г. в Туле и там учился до 56 года, после чего переехал и поступил в черниговскую гимназию, оттуда в 61 году поступил в с.-петербургский университет, откуда перешел в московский, где благополучно курса и не окончил,— такие подробности, с присовокуплением сведений о моей жизни в семье, в семейной обстановке, все это, рассказанное во всех подробностях, решительно не имеет в себе даже и зародыша того, из чего сложилась моя литературная жизнь. Вся моя личная жизнь, вся обстановка личной жизни лет до 20-ти обрекала меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неиссякаемое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал 61 год», взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из моего личного прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли забыть все это прошлое, истребить в себе внедренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди

которой пришлось жить мне годы детские и юношеские; надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезали со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, чтó в них есть и чем они жили,— неправда и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из прошлого нельзя и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания; ничем из этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое «будет», но которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии, а затем и личная жизнь и жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно собственными средствами. В опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, чтó во всех смыслах противоречило неправде; каждая «малость», которая радовала душу, где бы я ее ни нашел— попадала теперь непременно в мою новую душевную родословную. Лицо, которого я мог не видеть никогда, но облик и сущность которого я чувствовал всем сердцем — мой родной, родственник, друг. Чтó бы ни случилось, я знаю, что «он» есть, а стало быть, не надо и робеть. Личная душевная жизнь и неразрывная с ней литературная работа поддерживались во мне и подкреплялись долгие годы без всякой личной или нравственной с чьей-нибудь стороны поддержки, и так было до 68 года, когда я уже стал ощущать и нравственную поддержку добрых и симпатичных мне людей. Но лет семь — с 62-го по 68-й — во мне было упорное желание не ослабеть в неотразимом сознании, что у меня никакой прошлой биографии нет... Одиночество в этом отношении было полное. С крупными писателями я не имел никаких связей, а мои товарищи — люди старше меня лет на десять — почти все без исключения погибали на моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди были уже известны в литературе, и, живи они в наше время, когда можно на полной свободе «пленять своим искусством свет» — они бы написали много изящных произведений; но захватила их новая жизнь, такая, что завтрашний день не мог быть даже и предвиден, и талантливые люди почувствовали, что им не угнаться за толпой, начинающей жизнь без всяких литературных традиций, должны были чувствовать в этой оживавшей толпе свое полное одиночество... Сколько ни проявляй искусства в поэме, романе — «они» даже и не почувствуют... Спивавшихся с кругу талантливейших людей было множество, начиная с такой потрясающей в этом отношении фигуры, как П. И. Якушкин. В таком виде впору было «опохмелиться», «очухаться», очувствоваться — и какая уж тут «литературная школа»! Похвальбы в пьяном виде было много,

посулов — еще больше, анекдотов — видимо-невидимо, а так, чтобы от всего этого повеселеть — нет, этого не скажу. Даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели русской интеллигенции ни у кого решительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

Созидание собственной своей новой духовной жизни привело меня к мысли, что мне нечего делать среди этих талантливых страдальцев. Положим, что я хлопочу около какого-нибудь действительно талантливого человека, провожая его домой и усаживая «со шкандалом» на извозчике или обороняя его от «грубого дворника» и уговаривая не делать мордобития; но ведь это уже в двадцатый раз и может надоесть наконец... Положим, что вот и этот знакомый писатель тоже человек огромного дарования; но чтó же мне-то делать, если я, придя к нему поговорить, вижу, что он «не в себе».

— Слышишь,— спрашивает талантливый друг: — как меня такой-то редактор ругает?

Редактор, который ругает, живет на Сергиевской, а тот, кто слышит его ругательства,— в Дмитровском переулке...

— Ишь лает! А небось до сих пор восьми рублей не отдает... Ух, как зашумел!..

Еще две-три фразы — и вы видите, что человек в белой горячке. Надобно идти к доктору, тащить его в больницу и лечить... А вылечится — жена не пускает приятелей к мужу. Да и он боится их, как огня, и сам не идет никуда, боясь запить.

Несомненно, народ этот был душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болезнь, похмелье и вообще расслабленное состояние, известное под названием «после вчерашнего», занимало в их жизни слишком большое место. Не было у них читателя, они писали неизвестно для кого и хвалили только друг друга... Одиночество талантливых людей вело их к трактирному оживлению и шуму. Ко всему этому надобно прибавить, что в годы 1863—1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось. «Современник» стал тускл и упал во мнении живых людей, отводя по полкниги на бесплодные литературные распри, а потом и был закрыт. Закрыто и «Русское Слово», и вообще мало-мальски видные деятели разбрелись, исчезли. Начали появляться какие-то темные издания с темными издателями... Один из них, например, когда пришли описывать его за долги, стал на глазах пристава есть овес, прикинувшись помешанным (Артоболевский). Когда наконец в 1868 г. основались новые «Отечественные записки», первые годы в них тоже было мало уюта... Все, чтó собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконец дело не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить в неустановившемся и неуютном обществе большей частью до последней степени изломанных писателей (с новыми я едва встречался еще) не

было никакой возможности, и я уехал за границу. За границей я был два раза в 1871 г., после Коммуны, причем видел избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями город, видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я проживал там подряд два года, по временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился, много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда... Затем, прямо из Парижа, я поехал в Сербию и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к источнику, т. е. к мужику. По несчастью, я попал в такие места, где источника видно не было... Деньга привалила в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь, в течение полтора года, не знал ни дня ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать источник всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно одну подлинную важную черту в основах русского народа — именно власть земли.

Таким образом вся моя личная биография, примерно до 1871 г., решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я жил лично. Таким образом вся моя новая биография, после забвения старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет. Много это или мало — судить не мне».

Глеб Успенский

ПРИМЕЧАНИЯ

«Нравы Растеряевой улицы» впервые как целостное произведение напечатано в издании Ф. Павленкова «Сочинений» Г. Успенского в 1883 году (т. 1).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 1. М., ГИХЛ, 1955.

«Земной рай» — очерк из цикла «Разоренье». Повести, составляющие этот цикл, как самостоятельные произведения публиковались в журнале «Отечественные записки» (1869—1871). В дальнейшем, при подготовке собрания сочинений (в 1883 году) Успенский объединяет «Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения одного лентяя» в единый цикл — «Разоренье» с подзаголовком «Очерки провинциальной жизни».

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. II. М., ГИХЛ. 1955.

«Чудак-барин» — очерк из цикла «Непорванные связи». Первоначально очерк назывался «Непорванные связи», а весь цикл — «Из деревенского дневника». Впервые цикл опубликован в журнале «Отечественные записки» в 1880 году (№ 9). В ходе работы над собранием сочинений Успенский дал название циклу «Непорванные связи», а очерку – «Чудак-барин».

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. IV. М., ГИХЛ, 1956.

«Власть земли», «Народная интеллигенция», «Земледельческий календарь», «Теперь и прежде» — очерки из цикла «Власть земли», впервые напечатанного в журнале «Отечественные записки» в 1882 году (№ 1—3).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. V. М., ГИХЛ, 1956.

«За малым дело». Впервые произведение под названием «Грамотный» напечатано в журнале «Пчела» в 1877 году (№ 4).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. III. М., ГИХЛ, 1956.

«Выпрямила». Впервые произведение напечатано в журнале «Русская мысль» в 1885 году (№ 5) в цикле «Через пень-колоду». Позже, при работе над вторым изданием собрания сочинений, Успенский включил его в цикл «Кой про что».

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. VII. М., ГИХЛ, 1957.

«Заграничный дневник провинциала». Впервые произведение опубликовано в газете «Русские ведомости» (1876, № 156).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. III. М., ГИХЛ, 1956.

«Письма из Сербии». Впервые печатались в газете «С.-Петербургские ведомости» в октябре — декабре 1876 года (№ 285, 291, 313, 320, 343).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений в 14-ти т. Т. IV. М., АН СССР, 1949.

«Очень маленький человек» (Страницы из одних записок). Первые три главы опубликованы в 1874 году в журнале «Отечественные записки» (№ 2). Пятый номер, в котором шли четвертая и пятая главы, по постановлению цензуры был уничтожен. Эти главы под названием «Хорошая встреча» Успенский опубликовал в газете «Русские ведомости» (1874, № 288, 289).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. II. М., ГИХЛ, 1955.

«Вольные казаки». Впервые очерк напечатан в журнале «Русская мысль» в 1877 году (№ 10).

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. VII. М., ГИХЛ, 1957.

«Автобиография». Впервые напечатана в тексте статьи Н. К. Михайловского (журнал «Русское богатство», 1902, IV).

«Автобиография» написана по просьбе Ф. Ф. Павленкова, готовившего собрание сочинений Г. И. Успенского. В обычном понимании этого слова автобиографии не получилось, и книгоиздатель не счел возможным поместить ее в собрании сочинений писателя.

«Ф. Ф.» — инициалы Флорентия Федоровича Павленкова.

Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений в 14-ти т Т. XIV. М., АН СССР, 1954.

СОДЕРЖАНИЕ

Успенский Г. И.

У-77 Власть земли / Сост., предисл., примеч. А. П. Ланщикова.— М.: Сов. Россия, 1988.— 400 с.

Писатель-демократ Глеб Иванович Успенский начал свою литературную деятельность во второй половине XIX века.

Сборник включает наиболее известные произведения как городского, так и деревенского циклов, получившие в свое время горячее одобрение демократической критики: «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли», «Заграничный дневник провинциала» и другие. Сборник составлен в хронологическом порядке, снабжен вступительной статьей и примечаниями.

Р1

У $\frac{4702010100-193}{М\text{-}105(03)88}$ 100—1988 г.

ISBN—5—268—00531—6

Глеб Иванович Успенский

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Редактор В. М. Курганова
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор И. И. Павлова
Корректоры А. З. Лазуткина,
Л. М. Логунова, Э. З. Сергеева,
С. В. Мироновская

ИБ№ 4383

Сдано в набор 23.06.87. Подп. в печать 30.11.87. Формат 84×108/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,31. Уч.-изд. л. 20,88. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—400 000 экз.). Заказ 1716. Цена 1 р. 80 к. Изд. инд. ЛХ-217.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

1 Р. 80 К.

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·